

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО •  
ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения и балканистики

# Славяноведение

5  
1995

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

СЕНТЯБРЬ •

ОКТАБРЬ •

Содержание

## СТАТЬИ

- Шевченко И. И.* (Кембридж, США). У истоков русского византиноведения: переводы стихотворений Мануила Фила (XIV в.) Евфимием Чудовским  
Конференция «Литература стран Восточной Европы 70—80-х годов. Тенденции развития. Проблемы изучения» 3 24
- Пономарева Н. Н.* (Москва). Преодоление «барьера». Болгарская проза и драматургия 70—80-х годов 25
- Гусев Ю. П.* (Москва). Диссидентская и эмигрантская литература в Венгрии 70—80-х годов 30
- Середа В.* (Москва). Феномен «новой прозы»: смена парадигм в венгерской литературе конца 70-х — начала 80-х годов 33
- Гугнин А. А.* (Москва). Литература ГДР в предчувствии исторических перемен 1989—1990-х годов 36
- Адельгейм И.* (Москва). К вопросу о «смысловых вариациях» романа Анджея Щиперского «Начало, или Прекрасная пани Зайденман» 40
- Мышко Д.* (Гродно). «Антифинальная» позиция С. Лема в научно-фантастических романах 60—80-х годов (к проблеме типологии фабулы) 45
- Хорев В.* (Москва). Под знаком эссеизма 50
- Цыбенко Е. З.* (Москва). Роман Ежи Анджеевского «Месиво» и польская «возвращенная проза» 56
- Фридман М. В.* (Москва). Литературная борьба на первом этапе «эры Чаушеску» (1965—1971) 60
- Мещеряков С. Н.* (Москва). Жанровое своеобразие сербского исторического романа 1980-х годов 65
- Шешкен А. Г.* (Москва). Изменение повествовательной модели в сербском модернистском и постмодернистском романе (на примере романов Б. Щепановича и Д. Киша) 69
- Богданов Ю. В.* (Москва). Прерывность/непрерывность в литературном процессе (на материале словацкой литературы 70—80-х годов) 74
- Широкова Л.* (Москва). Словацкая драматургия 1970—1980-х годов: место в литературном процессе Словакии 78
- Старикова Н.* (Москва). Словенская «молодая проза» 80-х годов 80
- Ильина Г. Я.* (Москва). Критическое начало в хорватской прозе 70-х годов 84
- Шерлаимова С.* (Москва). Жанровые разновидности чешского романа 70—80-х годов 89

## СООБЩЕНИЯ

- Даниш М. (Братислава). Словаки в гусарских полках российской армии во второй половине XVIII века . . . . . 94

## МАТЕРИАЛЫ КАРПАТСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

- Николаев С. Л. (Москва). Вокализм карпатоукраинских говоров. 1. Покутско-буковинско-гуцульский ареал (продолжение) . . . . . 101

## ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

- Чуркина И. В. (Москва). Славянские съезды XIX—XX вв. . . . . 128

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

- Белова О. В. (Москва). Международный симпозиум «Переход от язычества к христианству у славян (духовная культура, комплексное источниковедение, археология, лингвистика)» . . . . . 130
- Левкиевская Е. Е., Гринцер Н. П. (Москва). Конференция «Языковая и этнокультурная история Балкан и Восточной Европы» (Балканские чтения-3). . . . . 133
- Шубарич А. П. (Москва). К 500-летию начала книгопечатания у южных славян . . . . . 136
- Новые издания Института славяноведения и балканистики РАН . . . . . 140
- Маковецкая Т. Весела Александрова Чичовска . . . . . 144

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. И. РОГОВ (главный редактор), М. А. ВАСИЛЬЕВ (отв. секретарь),  
Г. К. ВЕНЕДИКТОВ, В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА, А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ,  
М. С. КАШУБА, В. И. КОСИК, Г. Ф. МАТВЕЕВ, Г. П. МЕЛЬНИКОВ, В. В. МОЧАЛОВА,  
С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, В. Я. ПЕТРУХИН, М. А. РОБИНСОН,  
Л. А. СОФРОНОВА (зам. главного редактора), В. Н. ФЛОРЯ,  
Т. В. ЦИВЬЯН (зам. главного редактора)

Зав. редакцией И. И. Бизяева

Сотрудники редакции: Авакова Л. А., Веслова И. Ю.,  
Кошкина Е. А., Масленникова Е. Н., Осипова М. А.

Рукописи представляются в редакцию в двух экземплярах объемом: статьи — не более одного авторского листа (24 стр. машинописного текста через 2 интервала); сообщения — до 16 стр.; рецензии, заметки о научной жизни и т. п. — до 6—7 стр. машинописи. Рукописи, оформленные без учета принятых в журнале требований, к рассмотрению не принимаются; рукописи не рецензируются. В случае отклонения рукописи автору возвращается один экземпляр, другой остается в архиве редакции.



© 1995 г. ШЕВЧЕНКО И.И.

У ИСТОКОВ РУССКОГО ВИЗАНТИНОВЕДЕНИЯ:  
ПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЙ МАНУИЛА ФИЛА (XIV в.)  
ЕВФИМИЕМ ЧУДОВСКИМ\*

С точки зрения общей культурной истории Восточной Европы, вторая половина XVII в. — это захватывающе интересное поле для исследований. Еще интереснее этот период для историка русской культуры, поскольку именно тогда Московская Русь (а позже и Россия) принимала решение, в каком направлении развивать свое образование, делая выбор между ориентацией на Запад и путем, ведущим обратно, в византийскую систему ценностей.

В общих чертах мы знакомы с теми спорами, которые в конце XVII века вели между собой грекофильская и латинофильская партии, существовавшие в русском образованном слое.

В этой статье речь пойдет о доселе неизвестном аспекте в деятельности одного страстного представителя грекофильской партии, книжника, который часто упоминается в литературе, посвященной истории XVII века, но который лишь

---

Шевченко Игорь Иванович — заслуженный профессор византийской истории и литературы Гарвардского университета (Кембридж, США) и президент Международной ассоциации византинистов.

\* Хочу здесь выразить благодарность ряду лиц, способствовавших мне при подготовке настоящей статьи. Первым долгом, Ольге Б. Страховой, которая посоветовала мне просмотреть сборник БАН, 16.14.24 (и, таким образом, сделала возможной мою находку), снабдила меня некоторыми библиографическими и рукописными данными и участвовала в редактировании статьи. Я также выражаю благодарность Елене М. Шварц (Российская Национальная Библиотека, Санкт-Петербург), Елене В. Афанасьевой (Библиотека Российской Академии Наук, Санкт-Петербург) и Елене И. Серебряковой (Государственный Исторический Музей, Москва) за предоставление мне сведений и доступа к рукописям, а Сергею А. Иванову (Москва) за помощь в переводе статьи на русский язык. Кроме того, я благодарю профессора Эриха Траппа (Trapp) (Бонн), любезно отвечавшего на мои частые запросы относительно материалов, собранных им для готовящегося к публикации словаря (*Lexikon zur byzantinischen Gräzität*). — Настоящая статья является расширенной версией доклада, прочитанного мною на конференции «Российское византиноведение, итоги и перспективы», состоявшейся в Государственном Эрмитаже 24—26 мая 1994 года. Переводы всех поэм Фила будут опубликованы в томе, посвященном итогам конференции “Slavic Medieval Literary Culture between Byzantium and Rome”, состоявшейся в Castel Ivano (Trento, Италия) 24—25 сентября 1993 года. Том редактирует профессор Sante Gracciotti (Рим).

недавно начал получать заслуженное им внимание. Его имя — Евфимий, прозвание — Чудовский, ибо он был иноком московского Чудова монастыря.<sup>1</sup>

Евфимий был учеником и восторженным последователем Епифания Славинецкого, эллиниста, получившего образование на Украине, приехавшего в Москву из Киева в 1649 году и умершего там же в 1675 году.<sup>2</sup>

Правда, недоброжелатели вроде Сильвестра Медведева и Петра Артемьева пренебрежительно называли Евфимия самоучкой без систематического образования, однако это был большой начетчик и весьма плодотворный автор, подвизавшийся в антикатолической и, шире, в анти-западной полемике. В 1652 году патриарх Никон назначил Евфимия справщиком Московского Печатного Двора, и следующие сорок лет (с десятилетним перерывом) он провел среди книг, готовившихся к печати Московским Печатным Двором, которые он правил, редактировал и сопоставлял с их греческими оригиналами. Среди церковнославянских творений святых Отцов, над которыми работал Евфимий, мы находим и Слова Григория Назианзина. Евфимий не только сопоставлял, но и сам переводил с греческого в широком диапазоне, от патристики до сочинений греческих полемистов XVI и XVII веков.

Ниже мы остановимся на его переводах поздневизантийских стихов. Кроме того, мы обсудим высказанное некоторыми учеными предположение о том, что он написал по крайней мере одно оригинальное стихотворение по-гречески; а в другом месте<sup>3</sup> мы собираемся поставить вопрос о том, не сочинил ли он (или его современник) греческий рифмованный перевод составленного им самим славянского оригинала.

Евфимий был так глубоко вовлечен в работу по формированию церковнославянского языка своего времени на греческий манер, что в 1690-м году, т.е. при патриархе Адриане (последнем патриархе до-Петровского времени), он был отрешен от должности справщика по причине “нововодных странных речений”. В контексте того времени это означало, что его сочли реакционером, настолько ориентированным на греческий, что это приводило к насилию над духом славянского языка. Он был реакционером также и в другом отношении: он

<sup>1</sup> О Евфимии, см., например, издание *Словарь книжников и книжности древней Руси*, вып. 3. (XVII в.), ч. 1, А—З (СПб, 1992, но подписано к печати в июне 1993 г.), 287—296 (статья Т. А. Исаченко-Лисовой). Тут же хочу выделить несколько недавно опубликованных работ по данному вопросу: В. Г. Сиромеха, “Книжная справа” и вопросы нормализации книжно-литературного языка Московской Руси во второй половине XVII в. (недоступная мне кандидат. дис., МГУ) (Москва, 1980); Т. А. Исаченко-Лисовая, *Лексика кормчих книг второй половины XVII века* (недоступная мне кандидат. дис., ИРЯ РАН) (Москва, 1986); Она же, “Перевод и толкование в ‘эллинославянской’ школе Евфимия Чудовского (на материале ‘Кормчей’ V-ой редакции)”, *Герменевтика древнерусской литературы*, Сборник 2, XVI—начало XVIII веков (Москва, 1989), 192—205; Она же, “О переводческой деятельности Евфимия Чудовского”, в Н.Н. Покровский, изд., *Христианство и церковь в России феодального периода (Материалы)* (Новосибирск, 1989), 194—210; А. С. Елеонская, “Социально-утопический трактат XVII века (‘О милости: и кии просящих достойни суть милости и кии же ни’)”, *Герменевтика* (см. настоящее прим. выше), 179—191; Ю. А. Лабынцев, “Греко-славянские” эпитафии Евфимия Чудовского”, *Советское славяноведение*, 1992, № 2, 102—108; Л. И. Сазонова, “Поэтическое творчество Евфимия Чудовского”, *Slavia*, 56, 3 (1987), 243—252; Она же, “Евфимий Чудовский - новое имя в русской поэзии XVII в.”, *ТОДРЛ*, 44 (1990), 300—324; Paul Bushkovitch, *Religion and Society in Russia. The Sixteenth and Seventeenth Centuries* (Нью Йорк-Оксфорд, 1992), *passim* (несколько неточностей) и две работы Ольги Б. Страховой: “Пятая и шестая редакции Жития Алексия митрополита, московского чудотворца”, *Palaeoslavica*, 2 (1994), 125—188 и ее докторская диссертация о Евфимии, представляемая к защите в Brown University (США). — Мои общие данные о Евфимии базируются на старой, но отличной работе А. Флоровского, “Чудовский инок Евфимий. Один из последних поборников ‘греческого учения’ в Москве в конце XVII века”, *Slavia*, 19, 1-2 (1949), 100—152.

<sup>2</sup> О Епифании см. *Словарь книжников* (как в прим. 1 выше), 309—313 (статья А. М. Панченко).

<sup>3</sup> В томе, упомянутом в прим.\* выше.

высказывался против связей с иностранцами, от которых, по его мнению, проистекали пожные воззрения. Враждебно относился он и к свободомыслящей молодежи и к курению табака (впрочем, в этом смысле его сегодня сочли бы прогрессивным).

Основным тезисом Евфимия была концепция превосходства греческого языка. Он считал, что “великоросский народ” должен учить как греческий, так и славянский (“грекославенский”) языки, но держаться в стороне от латинской образованности, “опасной для души и веры”.

Греческий, по мнению Евфимия, это столь выдающийся язык, что Септуагинта имеет преимущество перед древнееврейской Библией, не говоря уже о Вульгате, автор которой, святой Иероним, ошибочно ожидал просвещения от “богоубийц-евреев”. Евфимий также считал нужным отвергать сочинения украинских богословов и полемистов, поскольку они были заражены латинским духом и противны учению святых Отцов.

Все эти филиппики не помешали Евфимию обратиться к сочинениям киевского митрополита Петра Могилы, *Требник* которого он то использовал в работе, то хулил. Кроме того, факт, как кажется, до сих пор неизвестный, Евфимий перевел по крайней мере одну страницу полемического труда Петра Могилы “Лифоса” (ΛΙΘΟΣ, або kamien, [Киев, 1644]), — перевод, сделанный с польского в свободной манере.<sup>4</sup>

Евфимий был начитан в трудах и других, в принципе, подозрительных киевских авторов, таких, как Иннокентий Гизель, Иоанникий Галятковский и Лазарь Баранович. А однажды Евфимий пометил для памяти на полях перевода Кирилла Иерусалимского: “Спросить Симеона Полоцкого”. Кроме того, он знал Барониевы *Анналы* (в оригинале либо в польском переводе Петра Скарги) и участвовал в переводе латинской Мессы.<sup>5</sup> Очевидно, что даже такой пламенный грекофил, как Евфимий не мог более опираться на одни лишь греческие источники. И тем не менее, Греческая Мудрость была той нерушимой стеной, из-за которой он оборонял свою Истину.

Коль скоро это так, современные исследователи обязаны поставить вопрос, насколько широк был доступ Евфимия к Греческой Мудрости. В практическом плане этот вопрос стоит следующим образом: насколько Евфимий был знаком с греческим языком, особенно с греческим языком Священного Писания, отцов церкви и (предмет особого нашего интереса) с византийским греческим? Моя попытка ответить на этот вопрос будет основываться на данных материалов, на которые я случайно наткнулся во время своих занятий в Библиотеке Академии Наук в Петербурге в 1992 году. Я имею в виду находящийся в рукописи-автографе (БАН, 16.14.24, лл. 247—254 об.)<sup>6</sup> доселе неизвестный<sup>7</sup> перевод Евфимия семнадцати или,

<sup>4</sup> См. БАН, 16.14.24, л. 657: ‘И<sup>3</sup> книѣи зовѣмыйа ка́мень, Стра’ни<sup>Ц</sup> ѿс. и ниже на том же листе: На страницѣ ѿз. Оригинал действительно находится на стр. 76—78 издания Λίθος’a 1644 года (= стр. 85—87 переиздания 1893 года). См. приложение в конце настоящей статьи. — Экземпляр Λίθος’a находился в библиотеке Евфимия, см.: А. Е. Викторов, “Опись библиотеки иеромонаха Евфимия”, *Летописи русской литературы и древности*, 5 (Москва, 1863), 52.

<sup>5</sup> См. ГИМ, Синод. 433, лл. 128—142. Чинъ миссы си е<sup>с</sup> латїнскїа службы. Перевод буквальный.

<sup>6</sup> Порядок листов в этой части сборника нарушен. Описание рукописи см. в: А. И. Копанев, М. В. Кукушкина, В. Ф. Покровская, *Исторические сборники XV—XVII вв. Описание рукописного Отдела Библиотеки Академии Наук СССР*, том 3, вып. 2 (Москва-Ленинград, 1965), 263—269. На стр. 266 там сказано о лл. 203—254 между прочим следующее: “... отрывки толкований, стихи на греческом языке в переводе их на русский язык. Автограф Евфимия”.

<sup>7</sup> В ценной статье Б. Л. Фонкича “Греческое книгописание в России в XVII в.”, появившейся в мае 1994 года в сборнике *Книжные центры Древней Руси. XVII век. Разные аспекты исследования* (Санкт-Петербург), на стр. 47 мы обнаруживаем информацию о наличии стихов Фила в сборнике БАН 16.14.24 (за сообщение об этом факте Б. Л. Фонкич благодарит Л. И. Сазонову) и о рукописи

быть может, девятнадцати стихотворений Мануила Фила, византийского придворного поэта первой половины XIV века, автора тридцати тысяч стихотворных строк, сочиненных им на разные случаи.<sup>8</sup> Я также упомяну тут двуязычные тексты, в которых Евфимий мог быть автором одновременно греческой и славянской половины. Я могу заранее сказать, что материал, которым мы в настоящее время располагаем, свидетельствует, что знание Евфимием греческого языка заслуживает нашей похвалы, хотя его переводческая техника и страдала от “идеологической” предвзятости.

То, что в рукописи БАН Евфимий сознательно копировал и переводил стихотворения Мануила Фила, явствует из его собственноручных заметок: “Стіхї Філієвы на словеса̀ во с(вя)тыхъ ѡ(т)ца̀ н(а)шего̀ Григоріа б(о)гослова” (л. 253 об.) и “Стісі Філи, на словеса̀ во с(вя)тыхъ ѡ(т)ца̀ на́шего̀ Григоріа б(о)гослѡва” (л. 247).

На листах 253 об. и 247 об. рукописи Евфимий написал (по-гречески и по-славянски) заглавие, упоминающее 16 Слов Григория Богослова, истолкованных митрополитом Ираклийским Никитой “Серрѡν”,<sup>9</sup> т.е. родственником митрополита Серрского (Серре [Σέρραι] — город в Греческой Македонии). Таким образом, греческим источником Евфимия являлась рукопись стихотворений Мануила Фила на 16 Слов Григория Богослова, стихотворений, включенных в комментарий на эти слова Никиты Ираклийского, писателя конца XI—начала XII веков.<sup>10</sup> Но где искать и как найти эту рукопись?

К счастью, в 1985 году была составлена (до сих пор неизданная) работа о византийских эпиграммах, посвященных Григорию Назианзину, в которой одна из глав рассматривает эпиграммы Фила,<sup>11</sup> а в 1992-м году вышел в свет список всех известных рукописей Фила.<sup>12</sup> Следовательно, мы знаем все его рукописи, содержащие стихи на все Слова Григория Богослова, все рукописи со стихами Фила на корпус из 16 Слов этого отца церкви (это — так называемые Λόγοι ἀναγλυψοκόμενοι,

---

ГИМ, Синод. греч. 155 как о вероятном источнике стихов Фила в сборнике БАН. Жаль, что я не узнал обо всем этом от самого Б. Л. Фонкича, когда рассказывал ему о моей находке и о ГИМ № 155 как об источнике Евфимия при нашей встрече в Вене в мае 1993 года.

<sup>8</sup> О Мануиле Филе см., напр., вступительную часть книги Гюнтера Штиклера *Manuel Philes* (как в прим. 12 ниже).

<sup>9</sup> Форма Серрѡν, передающая буква в букву, но с опущением артикля, τοῦ Σερρῶν (род. мн.ч.) оригинала, свидетельствует о том, что Евфимий не понял, что речь шла о родственнике (обыкновенно, — племяннике) Серрского митрополита. Во отпущение греха Евфимия замечу, что связь Σερρῶν с именем Никиты Ираклийского являлась головоломкой и для современных ученых. См. следующее примечание.

<sup>10</sup> О Никите Ираклийском см.: F. Lefherz, *Studien zu Gregor von Nazianz...* (Бонн, 1958), *passim*, особ. стр. 139—140, 195—196; Χρ. Θ. Κρικῶνη, *Συναγωγή Πατέρων εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον ὑπὸ Νικήτα Ἱρακλείου (κατὰ τὸν κώδικα Ἰβήρων 371)* [= Βυζαντινὰ κείμενα καὶ μελέται, 9] (Салоники, 1973), 17—25 (на стр. 20—21 автор считает Никиту сыном какого-то овдовевшего митрополита Серрского); Radu Constantinescu, *Nicetae Heracleensis Commentariorum XVI Orationum Gregorii Nazianzeni Fragmenta...* (Бухарест, 1977), особ. стр. 23—25, 37—39; *Oxford Dictionary of Byzantium*, 3 (1991), 1481. — При этом вопрос о тождестве Никиты был решен уже в заметке J. Darrouzès, “Notes de littérature et de critique. I. Nicetas d'Héraclée ὁ τοῦ Σερρῶν”, *Revue des Etudes Byzantines*, 18 (1960), 179—184. Никита, церковник конца XI—начала XII веков, был племянником митрополита Серрского по имени Стефан, профессором Патриаршей академии при Св. Софии и корреспондентом Феофилакта Охридского; впоследствии он стал митрополитом Ираклийским. См. также P. Gautier, изд. *Théophylacte d'Achrida, Lettres* [= Corpus Fontium Historiae Byzantinae XVI/2] (Салоники, 1986), 94—96.

<sup>11</sup> G. Kalamakis, *Epigrammes byzantines en l'honneur de Saint Grégoire de Nazianze: état de la question et présentation critique des textes* [= Mémoire de licence Лювентского католического университета] (Louvain-la-Neuve, 1985). Критическое издание эпиграм Фила (по пяти рукописям) на стр. 80—100.

<sup>12</sup> Günter Stickler, *Manuel Philes und seine Psalmenmetaphrase* [= Dissertationen der Universität Wien, 229] (Вена, 1992). Список рукописей Фила на стр. 209—242.

т.е. те проповеди, которые читались в церкви и по монастырям) и, наконец, все рукописи Никиты Ираклийского, содержащие его комментарий на 16 Слов Григория Богослова, в которых, вдобавок, находятся стихи Фила на эти Слова.

После устранения неподходящих нам рукописей у нас остаются два самых надежных кандидата на титул греческого рукописного источника переводов Евфимия Чудовского. Оба кандидата находятся, естественно, в российских собраниях: первая из рукописей принадлежит БАН (шифр Q № 10),<sup>13</sup> вторая — Синодальному собранию ГИМа. Эта вторая рукопись второй половины XIV века, № 155 по каталогу архм. Владимира, привезенная в Москву Арсением Сухановым,<sup>14</sup> и является бесспорным и прямым источником Евфимиевых переводов Фила. Евфимий держал эту рукопись в руках и пользовался ею в процессе правки славянского перевода Слов Григория Богослова. Неудивительно, что греческий текст стихотворений Фила, который мы обнаруживаем в рукописи БАН 16.14.24, был переписан Евфимием непосредственно с Синодальной рукописи.

В доказательство вышесказанного приведу всего два примера: 1) Евфимий переписал — и перевел — слово в слово титульный лист Синодальной рукописи;<sup>15</sup> 2) в местах, в которых греческий текст Синодальной рукописи поврежден (разрыв бумаги, etc), список Евфимия содержит конъектурные восстановления или пробылы (см. рис. 1 и 2).<sup>16</sup>

Таким образом, мы в состоянии (и это — редкая возможность для исследователя-византиста, даже для исследователя поздней Византии) проследить шаг за шагом, как работал древний книжник над своей моделью.

Как греческий палеограф Евфимий был полностью адекватен. Он правильно понимал, независимо употреблял и частично копировал сокращения и раскрывал, а иногда и повторял, титла и *nomina sacra*. Но, как почти все иностранцы, он делал довольно много ошибок в ударениях, иногда ставя их

<sup>13</sup> Относительно БАН Q № 10, см. И. Н. Лебедева, *Описание рукописного отдела Библиотеки Академии Наук СССР*, том 5. Греческие рукописи (Ленинград 1973), 53—55 и Stückler, *Manuel Philes* (как в прим. 12 выше), 223.

<sup>14</sup> Относительно ГИМ, Синод. греч. 155, см. архм. Владимир, *Систематическое описание рукописей Московской Синодальной (патриаршей) библиотеки*, ч. I, *Рукописи греческие* (Москва, 1894), 156—158 (отличное описание). См. также дополнения к *Описанию Владимира* в книге: Б. Л. Фонкич, Ф. Б. Поляков, *Греческие рукописи Московской Синодальной библиотеки...* (Москва, 1993), 62—63 и Ioannes Sajdak, *Historia critica scholiastarum et commentatorum Gregorii Nazianzeni, pars prima* (Краков, 1914), 138. — Помета Арсения Суханова (ἀρσένιου θι) находится на нижнем поле л. 5 рукописи.

<sup>15</sup> См. Синод. греч. 155, л. 3 об.: Τοῦ ἐν ἁγίοις π(α)τρ(ο)ῦς ἡμ(ῶν) ἀρχ(ι)επισκόπ(ου) κωνσταντινουπόλ(ε)ως, γρηγορίου τοῦ θεολόγ(ου) λόγ(ο)ι | ις '. ἐρμηνευθέντες. ὑπὸ τοῦ μακαριωτάτου (καὶ) ὑπερτίμου μ(η)τροπολίτου | ἱρακλείας κυ(ρ)οῦ ἐκκ(η)τ(η) τοῦ σερρ(ῶν)+ Сравни БАН, 16.14.24, л. 253 об. (рукой Евфимия): Τοῦ ἐν ἁγίοις π(α)τρ(ο)ς ἡμ(ῶν) ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Γρηγορίου | τοῦ [sic] θεολόγου, Λόγ(ο)ι | ις '. ἐρμηνευθέντες ὑπὸ τοῦ μακαριωτάτου κ(αὶ) ὑπερτίμου | μητροπολίτου ἱρακλείας κυρίου Νικήτα τοῦ Σερρών. Славянский перевод на л. 247 об.: "Иже во стѣхъ оца нашего Архїепскапа константїнополскаго Григорїа Бгдслѡва, словеса ѿ Претолкована | ѡт блжєннѣйшаго ѿ прѣчстнаго Митрополїта Ираклїйскаго Гсдна Нїкїты Серрѡн.

<sup>16</sup> Первая поэма Фила в *Гякле* поэм на 16 Слов Григория [= Mi II, 340; раскрытие сокращения см. в прим. 24 ниже] посвящена первому слову этого отца церкви [= Migne PG, 35, col. 396 и след.]; она читается на л. 3 об. Синодальной рукописи № 155. Там последнее слово второй строки (ἀνηγμένος) повреждено (дырка в бумаге); это заставило Евфимия (л. 254 рукописи БАН) предположить ἀνηγμένης, что было почти правильно и лучше, чем чтение ἀνη[γεμένος] у Миня (PG, 36, col. 955 B), у которого получалось 13 слогов в строке! Источник Миня, Ch. F. Matthaei (см. прим. 24 ниже), был осторожнее и написал только ἀνη.... (стр. 6, изд. 1780 г.). Возможно, однако, что во времена Евфимия дырка на этом месте была меньше. В третьей строке слово νοῦς полностью не читается, так как там образовался разрыв в бумаге, и после *vo* видна только небольшая часть финальной *s*; Евфимий воспроизвел только две буквы слова: *vo*.



неправильно, иногда забывая их поставить, а иногда не различая между обличенным и острым ударением.<sup>17</sup>

Судя по выражениям “στίχι Φίλιεви”, “στίσι Φίλι” и “τοῦ αὐτοῦ Φίλι” или “Φίλι”, которые мы встречаем в рукописи БАН, Евфимий понимал, что он переводил стихи какого-то поэта; но мы не вправе утверждать, что он знал, кем был и в какое время жил этот самый Фил.

Задание, которое взял на себя Евфимий, было достаточно сложным. Фил писал на вычурном языке, его словарь содержит много редких слов (в том числе и несколько гапаксов) и многочисленные аллюзии; в нем довольно много темных мест, вызванных частично тем, что наш стихоплет сочинял свои стихи нередко в спешке. Понимание поэзии Фила местами затруднительно даже и для современных ученых. Что же касается Евфимия, у которого отсутствовало даже подобие современного научного аппарата, — хотя, как мы сейчас увидим, он и обладал некоторыми пособиями, — то он был иногда беспомощен. Так, например, Евфимий часто был не в состоянии понять аллюзии Фила к тексту Григория Богослова; однако и современные византилисты еще не провели такой работы над сопоставлением стихотворений Фила с текстами Григория. Несмотря на все это, Евфимий вложил много труда в свои переводы и добился неплохих результатов.

В связи с выбором Евфимия славянских эквивалентов для переводимых им греческих слов и форм, возникает вопрос о пособиях, которые находились в его распоряжении. Одним из таких пособий должен был быть *Трехязычный Греко-Славяно-Латинский Словарь* идола Евфимия — Епифания Славинецкого. В 1697 и 1707 гг. два иерарха московской церкви — патриарх Адриан и митрополит Новгородский Иов — носились с идеей об издании *Словаря* Славинецкого печатью. Из этих планов ничего не вышло.<sup>18</sup> К сожалению, я смог только бегло, в течение нескольких часов,

<sup>17</sup> 1. Правильно поняты и раскрыты Евфимием [= E] сокращения: ГИМ, Синод. греч. № 155 [= S]: θαλάσσ(αs), βροντ(ήν), π(ῶs), π(αv)σόφω, ναμ(ά)τ(ων) S л. 3 об.: θαλάσσας, βροντήν, πῶs, πανσόφω, ναμάτων E л. 253 и 253 об.; но συνθλιβ(είs) S л. 3 об.: συνθλιβής (по слуху) E л. 253, и χαλάζ(αs) вместо χαλάζ(ηs) E л. 252 об. 2. Сокращения у E, отсутствующие в S: τ(ήν) E л. 251; τήν S л. 301. 3. Сокращения S, скопированные у E: τ(ῶν) E л. 253 об и S л. 3 об.; κ(αί) E л. 254 об. и S л. 72. 4. Раскрыты титла модели у E: θεῶ E л. 251; θῶ S л. 129 об. 5. Скопированные титла модели у E: ἄν E л. 254 и S л. 71 об.; πέρ E лл. 252 об. и 254 об. и S лл. 356 и 87. 6. Неправильные ударения: Φίλι E лл. 251 и 251 об. (семь раз). 7. Отсутствие ударений: αv, δη л. 253; του л. 253 об.; ἡμερομενην, ὑπερτερον, проваисе, πασχα л. 254. 8. Путаница между обличенным и острым ударениями: ισχύν E л. 251: ισχύν S л. 180; δεῖ (подразумевалось δεῖ) E л. 252 об.: δῆ S л. 356; κλίμαξ E л. 253 об. (правда, E только скопировал ошибку модели, ибо в S л. 3 об. тоже читаем κλίμαξ); τοῦ E л. 253 об.; κλήσιν E л. 253 об.: κλήσιν S л. 3 об.; θάττον E л. 254: θάττον S л. 71 об.; τοῦs E л. 254; πάσα E л. 254: πάσα S л. 71 об.

<sup>18</sup> Мне известны три списка *Трехязычного словаря* Епифания Славинецкого. 1. ГИМ, Синод. собр. гр. 488, см. архм. Владимир, *Систематическое...* (как в прим. 14 выше), 716; Фонкич - Поляков, *Греческие рукописи...* (как в прим. 14 выше), 158; Фонкич, “Греческое книгописание...” (как в прим. 7 выше), 25—26; см. также подробный анализ *Трехязычного словаря* в статье С. Брайловского, “Филологические труды Епифания Славинецкого”, *Русский филологический вестник*, 23 (1890), особ. стр. 241—249. 2. МГУ, греч., 6 = 9 Вi 45; это — копия, сделанная с первой упомянутой рукописи в 1766 г. См. Фонкич, “Греческое книгописание...” (как в прим. 7 выше) 26—27; эту рукопись я не видел. 3. ГНБ (ныне: Российская Национальная Библиотека) Фонд № 779 (= собрание А. А. Титова), 1683(67) и 1684(68); см. А. Титов, *Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании...* А. А. Титова, том 5, Сборники (Москва 1906), 493—496. На рукопись обратила мое внимание О. Б. Страхова. По-видимому, двухтомная рукопись Титова до сих пор не вошла в научный оборот. Это жалко, так как именно этот, тщательно исполненный экземпляр XVII века (водяные знаки: герб Амстердама, герб семи [голландских] провинций, голова шута с семью бубенцами — середины 1680-х — начала 1690-х годов), заслуживает особого внимания. Возможно, что это именно тот список, который имеет в виду Б. Л. Фонкич в статье “Греческое книгописание...” (как в прим. 7 выше), стр. 26, прим. 22. Список из собрания Титова — в отличном состоянии и мог бы стать основой для необходимого факсимильного воспроизведения словаря.

ознакомиться с двумя рукописями *Словаря* в мае-июне 1994 года. Однако, исходя из сделанных за это короткое время наблюдений, я могу с большой долей вероятности утверждать, что Евфимий действительно пользовался *Трехязычным Словарем* Епифания.<sup>19</sup> Помимо *Словаря* Славинецкого, в своем издании стихотворений Фила в переводе Евфимия я обращаюсь также к трем печатным книгам: во-первых, *Лексикону Славено-латинскому* Славинецкого-Корецкого-Сатановского (ок. 1649—1653

Двухтомная рукопись Титова является, по-видимому, беловым экземпляром рукописи ГИМа. Эта последняя кажется черновиком автора. Она переплетена в один том и находится в плохом состоянии, начиная с развалившегося переплета. Тетради рукописи ГИМа — сенионы. Первый номер тетради рукописи — на л. 1, который начинается первой статьей Словаря: ἄλφα *Первое греческое письма* и т.д.; начало или конец тетради 84 (пд') — на стр. 510. Таким образом, во время нумерования тетрадей в рукописи ГИМа не было титульного листа; я подозреваю, что его там, как в авторском черновике, никогда и не было. Если это так, то и в начале рукописи Титова, также открывающейся непосредственно статьей ἄλφα, нет никакого пробела. Поверхностное сравнение статей ἀυαλέος [sic], ἐξισωτήης или ἐξισωτής [sic], κρότος, κρότημα, τάχα обеих рукописей показывает, что они, в целом, идентичны (только в статье τάχα ГИМ, л. 673 об. а чтение festinato лучше Титова, л. 1162 об. б, где читаем festinatio). — О неосуществившихся планах издания *Трехязычного словаря* см. статью Брайловского, упомянутую мною в начале этого прим., особ. стр. 249—250, и заметку того же “Заметка о Греко-Славено-Латинском словаре Епифания Славинецкого”, *Русский филологический вестник*, 24 (1890), 231—233. P. Bushkovitch, *Religion and Society* (как в прим 1 выше) утверждает (стр. 154), что до нас не дошел греческий словарь времен Епифания, который можно бы было сравнить с латинскими словарями “Славинецкого и Сатановского”. Это утверждение тем более удивительно, что автор цитирует (на стр. 250) работу Брайловского “Филологические труды” (как в начале этого прим.), вторая часть которой посвящена *Трехязычному Греко-Славено-Латинскому Словарю* Епифания.

<sup>19</sup> Привожу примеры из переведенного Евфимием в БАН 16.14.24. анонимного вступительного стихотворения в честь всех Слов Григория Назианзина (этр стихотворение я тоже приписываю Филу). Далее Eg = греческий текст Евфимия на л. 253; Es = славянский текст Евфимия на лл. 247 и 247 об. (оба с указаниями на строку); T = *Трехязычный Словарь* Епифания по списку из собр. Титова (с указанием на листы). 3 Eg ἐξάτη: Es *изводитъ*: T л. 401 об. б 'Εξάτη, μ: ξω, π: χα, извожду educo etc.; 4 Eg κερματίζη: Es *дробить* (исправлено из *раздробляе<sup>m</sup>*): T л. 674 б Κερματίζω, μ, ιω, π, ικα, дробю comminuo etc.; 6 Eg χύσιν: Es льяне: T л. 1300 а-б Χύσιν [sic], εως ή λιάνη, литие fusio; 7 Eg ἀκένυτος: Es *неуштомяя*: T л. 43 об. б 'Ακένυτος ου ό κ(αί) ή неуштоень πο(η) exinanitus etc.; 8 Eg πλημμυρήσει: Es *наводнитъ*: T л. 980 а: Πλημμυρέω μ ηρω π ηχα, .... наводняю inundo; 11 Eg δαπανοῦν: Es *изнуряющъ*: T л. 259 об. а Δαπανῶ, ω, μ ηρω π. ηκα .... изнуряю .... со(n)sumo etc.; 12 Eg αἰθεροδρόμος: Es *еверотечная* (исправлено из *евротечная*): T л. 34 об. а Αἰθεροδρόμος ου ό воздухотечный, воздухотеча per aetherem surgens (тут Евфимий “превосходит” Епифания); 15 Eg ἀκουσμάτων: Es *слышаний*: T л. 47 об. а "Ακουσμα ατος τδ слухъ auditus, слышание auditio etc.; 16 Eg εὐθυβόλως: Es *правовержно*: T л. 509 об. а Εὐθυβόλως правомерно, правоверно recto jactu; 18 Eg σωστικῶν: Es *сп(а)сительныхъ*: T л. 1156 а Σωστικός ου ό .... спасительъ salvaticus etc.; 18 Eg σπουδασμάτων: Es *тщательствъ*: T л. 1093 об. б Σπουδασμα ατος τδ, тщание cura etc.; 19 Eg τύπος: Es *образы*: T л. 1198 об. а Τύπος ου ό ... образъ forma etc.; 19 Eg ἀτερεῖς: Es *некрасны*: T л. 194 об. б—195 а 'Ατερεῖς εος ό κ(αί) ή .... некрасень inelegans. Примеры из других переводов стихотворений Фила: Eg л. 254 об. δορκάδων: Es л. 248 об. *сернь* (гlossa *козь* на полях); T 312 а Дорκάς αδος, ή, серна dogas, лани, ланя, dama, коза, сарга etc.; Eg л. 251 ἐξισωτήη: Es л. 249 *сравнителя*: T л. 419 об. б 'Εξισωτής [sic; в экземпляре ГИМа, л. 260 ἐξισωτής без ударения] ου, ό изравнитель exaequatоr сравнитель; Eg л. 252 об. прутаѳеіон: Es л. 249 об. *питалище*: T л. 1044 об. а Πρυταѳеіон ου τδ, прѳтаніонъ prytanium, питалище locus [sic] nutritionis etc.; Eg л. 252 σχέσιν: Es 249 об. *имство*: T л. 1153 а Σχέσις εως ή, ймство, ймущество habitudo etc. См. также прим. 28 ниже. — Евфимий был владельцем *Трехязычного Словаря* Епифания, см. Викторov, “Опись библиотеки” (как в прим. 4 выше), стр. 52. Кроме того, в ГИМ, Синод. 473, между лл. 21—24 Евфимий (от лица патриарха Адриана) утверждал, что в его переводе *Православного исповедания веры* (Петра Могилы) был использован *Еллино-славено-латинский Лексикон* Епифания Славинецкого. См. статью О. Б. Страховой “Пятая и шестая” (как в прим. 1 выше), стр. 146.

гг.);<sup>20</sup> во-вторых, *Лексикону Трєязычному Федора Поликарпова* (1704 г.),<sup>21</sup> т.к. именно Поликарпову были поручены выполнение окончательного списка и подготовка к печати *Трєязычного Словаря* Славинецкого; в-третьих, *Lexicon Graecolatium* Иоанна Скапулы (Ioannes Scarula),<sup>22</sup> т.к. Скапула являлся главным источником *Словаря* Славинецкого, а сам Евфимий был владельцем экземпляра Скапулы.

Кроме этого, в собрании Евфимия находились два или три греческих словаря, экземпляр 11-язычного словаря Амвросия Калепина, возможно, *Аделфотис* и четыре греко-латинских грамматики, включая популярнейшую в его время грамматику Алвара (Emmanuele Alvarez).<sup>23</sup>

Чтобы дать представление о технике и возможностях Евфимия как переводчика, я приведу ниже, по рукописи БАН, 16.14.24, одно из стихотворений Фила и его славянский перевод. Речь идет об одной из двух поэм Фила на знаменитое 44-е Слово Григория *На Фомину неделю*, содержащее похвалу весне. Предлагаемый материал состоит из а) греческих стихов, переписанных Евфимием [=Е] по Синодальной рукописи № 155 [=S] (см. рис. 2 б); б) славянского перевода этих стихов, сделанного Евфимием (см. рис. 3); и в) моего перевода тех же греческих стихов в копии Евфимия на современный русский язык. Каждый из публикуемых текстов воспроизводит правописание и знаки препинания оригинала и сопровождается критическим аппаратом.<sup>24</sup>

[Fol. 254<sup>r</sup> = S 71<sup>v</sup>] Εἰς καινὴν Κυριακὴν Στίχοι Ἰαμβικοί.

3

Ἄρτι προΐσχει πάσα τέρψις χαρίτων  
 πάν ἐστιῶσα τὸ ἐν αἰσθήσει γένος  
 Ἦρους γάρ αὐτὴν τὴν ἀνάστασιν λόγος  
 ἴν δεξιούται πάν καλὸν συνεισφέρω

<sup>20</sup> Изд. В. В. Німчук, *Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського* [= Пам'ятки української мови XVII ст.] (Киев, 1973).

<sup>21</sup> См. описание Лексикона: Т. А. Быкова и М. М. Гуревич, *Описание изданий, напечатанных кириллицей 1689—январь 1725 г.* (Москва-Ленинград, 1958), № 35 = стр. 103—106. Факсимильное изд. и предисловие Н. Keipert, *F. Polikarpov, Lexikon trejazyčnyj. Dictionarium trilingue ...* [=Specimina Philologiae Slavicae, 79] (Мюнхен, 1988).

<sup>22</sup> *Lexicon graecolatium novum ... Ioannis Scarulae opera et studio ... editio secunda, ex diligenti auctoris ipsius recognitione ...* Basileae ... M.D.XXCIX [=1589]. Мне также были доступны издания 1600 и 1628 гг.

<sup>23</sup> О Скапуле как о главном источнике *Трєязычного Словаря* Епифания, см. Брайловский, "Филологические труды" (как в прим. 18 выше), 244—247. Брайловский, следуя законам русской редукции, называет Scarul'u Скопулой или "Scorulae". Позднейшие исследователи копируют эту ошибку вызывая таким образом подозрение, что не держами в руках самого оригинала. — В 1677 году Евфимий продал ряд своих книг, среди которых находилась "книга Лексиконъ Скапула греколатинской въ дєсть, дана 3 рубли". Евфимий мог пользоваться Скапулой, так как проданные им книги были "отданы въ Правильную полату". — Среди других книг, проданных Евфимием, были "Книга Калепинъ на одинадцать языковъ, въ дєсть же дана пять рублевъ; Книга Дамаскинъ греколатинской въ дєсть дана 3 рубли; Книга грамматика греко-славенская въ четверть [= Львовский *Аделфотис* 1591 г.(?)] дана рубль; Книга Алваръ греко-латинской, въ четверть, дана 13 алтынъ 2 денги; Книга грамматика греко-латинская, въ четверть, дана 16 алтынъ, 4 денги; Книга грамматика греко-латинская, въ четверть, дана 5 алтынъ". См. А. А. Покровский, "Древнее псковско-новгородское письменное наследие. Обзорение пергаменных рукописей Типографской и Патриаршей Библиотеки в связи с вопросом о времени образования этих книгохранилищ", *Труды XV Археологического съезда в Новгороде*, 2 (Москва, 1916), 427.

<sup>24</sup> В аппарате (кроме обозначений Е [= Евфимий] и S [= ГИМ, Синод. греч. № 155]) применяются следующие сокращения: K = Denis Kalamakis (как в прим. 11 выше); Ma = Christianus Fridericus Matthaei, *S. Gregorii Nazianzeni binae Orationes graece et latine ...* (Москва, 1780), 3—10, перепеч. у Migne PG, 36, coll. 933—936; Mar = Ae. Martini, *Manuelis Philae Carmina inedita...* [= Atti della Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti 20, supplemento] (Неаполь, 1900); Mi = E. Miller, *Manuelis Philae Carmina ...* I—II (Париж, 1855—1857, перепеч. Амстердам, 1967).

6	πόλον δι' αὐτὴν καλληλαμπῆ φωσφόρον τὴν γῆν πολύχρουν ἡρινῶν ἐξαιθέων ἄρδην θάλατταν πᾶσαν ἡμερομενην
9	τὸ μείζον αὐτοὺς εὐσταλεῖς τοὺς ἀέρας πηγὰς ποταμοὺς πᾶσαν ἅμα τὴν κτίσιν ἀν(θρωπ)ε λοιπὸν εἰς ὑπερτερον βίον
12	ὡς ἀγχείους προβαίνε θάττον μὴ φθάσαν τὸ τοῦ τέλους πρόστιμον ἀρπάξεις ἡμεῖς δὲ ταῦτα νῦν φράσαντες ὡς σθένος
15	ὑψηγορικῶν ἐγκαινισμάτων λόγους
[Fol. 254 <sup>v</sup> ]	γράφοντες ἔνθεν ἀνυμνοῦμεν τὸν λόγον

1 στίχοι ιαμβικοί: это все, что сохранилось в самом тексте S, но на левом поле стихотворения читается + εἰς τ(ῆν) καιν(ῆν) | κυριακ(ῆν):~ 2 πάσα: пᾶσα в S правильно 3 τὸ: τῶν в S правильно; E грамматически связал τὸ с γένος 4 ἡρους ESMa и другие рукописи: ἡρος исправлено KMi 6 δι' αὐτὴν: διαυγῆ MaKMi правильно (прочтение подтверждено параллельным οὐρανοῦς διαυγέστερος у Григория, *Or.* 44, Migne PG, 36, col. 617 C): рукопись S здесь не читаема на микрофильме; видимо, E неправильно угадал это неразборчивое место в S καλληλαμπῆ E: чтение S на микрофильме не поддается расшифровке; καλλιλαμπής 'прекрасносияющий' засвидетельствовано за пределами данного пассажа лишь однажды, в *Хронике* Манассии, строка 131 (= p. 9 Bonn) 7 ἐξ ἀνθέων S правильно 8 ἡμερομενην без ударения E 9 τοὺς E по ошибке 11 ἀνῆ ES ὑπερτερον без ударения E 12 προβαίνε без ударения E θάττον: θάττον S правильно 13 ἀρπάξεις: ἀρπάξειε σε (се читаемо) в S правильно: E прочел се как s и интерпретировал получившуюся в результате форму как 2-е лицо ед. числа оптатива 15 ὑψηγορικὸς засвидетельствовано за пределами данного пассажа лишь однажды в *Житии Афанасии* (святой, жившей в IX веке), изд., например, L. Carras в *Maistor* (Canberra, 1984), 223, 39—40; там слово тоже связано с λόγος ἐγκαινισμάτων: слово представляется очень редким; здесь оно использовано Филом вместо ἐγκαινισμός или ἐγκαίμια из метрических соображений

\* \* \*

[Fol. 248 <sup>r</sup> ]	На нѡвую н <sup>д</sup> лю. стісі іамвічестіи Ннѣ пре <sup>д</sup> крѣпоствуе <sup>т</sup> всяка красота блгодатей всякъ учреждаючи еже в' чувствѣ рѡдъ весны бѡ самое во <sup>с</sup> крєненіе слѡво ннѣ дєснствуетъ всяко добрѡ совносящо нбо ради тогѡ добротосіятелно свѣтоносно зѣмлю многшарну весненны <sup>х</sup> из' цвѣтѡвѣ кѹпнѡ мѡре всѣ укροщѣаемо бѡлшее сѡмыя блгоцвѣтны въздѹхи истѡчники рѣки всю кѹпнѡ твѣрь члѣе прѡчее в' превышшую жизнь нѡкѡ ѡстроѹмный пре <sup>д</sup> шєствуй, лѹчшее недостигшо ѣже концѡ придчєстное похити. мы же сїѹ ннѣ рѣкше, нѡкѡ мѡщъ высокоглѣвыхъ ѡбновлєній словєсѡ
[Fol. 248 <sup>v</sup> ]	Піищує ω <sup>т</sup> скѹду воспѣвѣаємъ слѡво

1 Атрибуция Филу отсутствует, поскольку нет ее и в S 3 учреждаючи сопровождается двумя отсылочными знаками ~~, указывающими на питающая на

полях как вариант перевода ἐστὶ ὠσα, 'предлагающая угощение' 4 слову *βοσκῆρνιε* соответствует ἀνάστασιν в греческом. Оно сопровождается тремя отсылочными знаками <sup>1</sup>, указывающими на *станіе* на полях; таким образом, предлагался вариант <вос>*станіе*. Поскольку Е должен был знать, что ἀνάστασις значит "воскресенье" в контексте стихотворения, выбранное им <вос>*станіе* скорее всего было "идеологическим" жестом в пользу системы поморфемного перевода. Что это именно так, явствует из ГИМ, Синод. 473, л. 88, где Е перевел Иоан. 5:29 εἰς ἀνάστασιν ζωῆς как *в' востаніе жизни*, тогда как в стандартном церковнослав. переводе это звучит *въ воскр(е)шеніе живота* 6 *ради тогѡ*: неизбежный перевод, так как Е прочел δι' αὐτὴν вместо διαυγῆ, трудно читаемое в S. Кажется, что его не слишком смутил тот факт, что его прочтение не имело смысла *добротосіятельно*: хотя καλλιλαμπῆς — большая редкость, однако оно сформировано стандартным образом (обратный словарь Buck-Petersen'a насчитывает тридцать одну словарную статью с -λαμπῆς); следовательно, Е, переводя поморфемно, получил удовлетворительный результат *свѣтоносно*: это — перевод φωσφόρον, который Е принял за имя прилаг. и связал с πόλον *небо*, сред. рода; *свѣтоносно* — один из возможных переводов, но если мы обратимся к параллельному месту у Григория (Or. 44, Migne PG, 36, col. 617 C), мы увидим, что там после слов νῦν οὐρανὸς διαυγέστερος (ср. πόλον διαυγῆ у Фила) следует νῦν ἥλιος ὑψηλότερος καὶ χρυσοειδέστερος (ср. καλλιλαμπῆ φωσφόρον у Фила); таким образом, καλλιλαμπῆ φωσφόρον мы должны перевести как 'прекрасносияющее солнце'. Правда, слово φωσφόρος как имя существительное обычно используется в значении 'планета Венера, денница', но в текстах некоторых византийских авторов XII—XIII вв. (Феодор Продром, Евстафий Солунский, Николай Ириник) оно обозначает и 'солнце'; у самого Фила φωσφόρος как имя существительное встречается восемь раз, исключительно в значении 'солнце'. Ср.: Маг 2:26, 15:17, 76:129, 79:90 (буквально); 6:4, 68:10, 22:1, 87:4 (метафорически). *Свѣтоносно* как эквивалент φωσφόρος вписывается в систему поморфемного перевода, принятую Е; ср. предложенный им перевод 2 Петр. 1:19 (ГИМ, Синод. 473, л. 54 об.) ἕως οὗ .... φωσφόρος ἀνατείλη как *дондеже .... свѣтоносица возсіаетъ*, тогда как в стандартном церковнослав. тексте это место читается *дондеже .... денница возсіаетъ* 7 *многошарну*: слову *многошарный*, т.е. 'многоцветный' соответствует πολύχροος в *Лексиконе* Поликарпова (л. 171<sup>Г</sup> = р. 357 факсимиле, изд. W. Keipert) 8 *купно* сопровождается двумя отсылочными знаками <sup>2</sup>, указывающими на вариант *весма* на полях. Е должен был испытывать некоторые трудности с пониманием слова ἄρδην, 'совершенно, полностью'. В *Лексиконе* Поликарпова ἄρδην не зафиксирован как эквивалент ни для *купно*, ни для *весма*, хотя в *Греко-Славяно-Латинском Словаре* Славинецкого (РНБ, собр. Титова, 67 [1683], л. 171 об. а) читаем: "Ἀρδην ὠβίλνω affatim. *весма* [см. вариант Е!] | omni: nō. ω<sup>Т</sup>нюдь penitus. *высоко* al-ite. зѣлѡ vehementer. легѣ. leviter" 9 *благоцвѣтны* является надстрочным исправлением к слову *бл(а)гоплѡдны*, написанному в строке; глосса на полях, очевидно, к этому слову, гласит *стѡйны*, т.е. <благо>*стойны*. У Е были проблемы с пониманием слова εὐσταλεῖς 'милые, тихие' греческого оригинала; он, по-видимому, произвел -σταλεῖς от ἵσταται, а не от στέλλω; однако оба перевода суть только его остроумные догадки. *Греко-Славяно-Латинский Словарь* Епифания Славинецкого (РНБ, собр. А. А. Титова, 67 [1683], л. 524 об. а) не помог Е в переводе. Под Ἐυσταλῆς [sic] εὐς ὁ κ(αὶ) ἦ мы там читаем: "бл(а)гоудѣжный *bonas stolas habens* бл(а)гоустроенъ *benè instructus* бл(а)гоупрятный бл(а)гошкутанъ *bene succinctus* бл(а)гоготовъ *benè paratus*" 12 *лучшее* как перевод θάττων, 'скорее, быстрее', — неуклюжесть или ошибка; *Лексикон* Поликарпова передает *лучшее* как κρείττων (л. 163<sup>V</sup> = р. 343 факсимиле, изд. Keipert); не послужил источником Евфимию и *Греко-Слав.-Лат. Словарь* Епифания. Ср. там (лл. 555 об. б и 556 а) θάσσων *скѡрше citius*; θάσσων, ονος ὁ κ(αὶ) ἦ, *скѡршый, velocior*; и θάττων ονος ὁ κ(αὶ) ἦ: *тѡжде* ἕже θάσσων *недостигшо* как перевод μὴ φθάσαι 'дабы ... не пришел' ошибочно, даже если Е правильно угадал связь между

φθάω и достигаю: один из эквивалентов для последнего в *Лексиконе* Поликарпова как раз φθάω (fol. 93<sup>r</sup> = p. 201 факсимиле, изд. Keipert) 13 *придчестное*: сначала Е написал *предчестнишее*; передавая τὸ πρῶτον 'наказание, штраф', Е переводил поморфемно. Его начальное *пред-* показывает, что сначала он разделил слово как πρῶ-τον; и только потом он разделил его как πρῶ-τον и использовал префикс *при-*, свой обычный эквивалент для πρῶς. Что же касается -д-, то оно осталось, очевидно, по недосмотру. Второй компонент -честное показывает, что Е связал -тон с τιμή 'честь', а не с τιμή 'цена' и, таким образом, понял значение слова неверно. Прῶτον встречается один раз в Септуагинте (2 Макк. 7:36); и Фил мог заимствовать это слово отсюда. В Острожской Библии (1581) τὰ πρῶτα (там же) переводится как *муки*. Слово отсутствует в словаре Скапулы (1578 и 1589 гг. издания) *похίτι* подтверждает, что Е понимал свое чтение ἀρπάξεις как 2-е лицо ед. числа оптатива в смысле повелит. наклонения 15 *высоког(а)ливыхъ обновлений* переводит ὑψηλοῦρκῶν ἐκαισιμάτων. Оба слова являются большой редкостью; однако Е, в очередной раз переводя поморфемно или руководствуясь более знакомым ἐκαίμα, получил удовлетворительный смысл для каждого из них. Сомнительно, однако, отдавал ли Е себе отчет в том, что ἐκαισιμάτων является аллюзией на первое слово в Проповеди Григория на Фомину неделю (ἐκαίμα)

\* \* \*

На Фомину неделю. Ямбические стихи.

- 3 Ныне предстательствует всякая радостная Красота,  
Предлагающая угощение для всех созданий,  
воспринимаемых чувствами;  
Ибо Слово [*т.е. 44-е Слово Григория*] приветствует  
само Воскресение весны,  
Привнося всякое добро и красоту:  
6 Небо ради нее [?], прекрасносияющее солнце,  
Землю, многоцветную от весенних цветов,  
Море, все полностью укрощенное,  
9 Более того, сами Ветры тихие,  
Родники и Реки, все Создания вместе.  
О человеке, итак к высшей жизни  
12 Последуй быстро, ибо ты изощрен,  
Дабы ты не похитил предвосхитившее наказание Конца.  
Мы же, возгласив, насколько способны, сие,  
15 <А именно>, слова высшего Обновления,  
Мы поэтому воспевает Слово в писаниях [?]

6 'Небо ради нее' переводит δι' αὐτήν, ошибочное у Е; с правильным διαυγῆ строка Фила читается 'небо чистое' 'солнце': это предлагаемый перевод φωσφόρον; см. выше аппарат к переводу Е этого места 13 'дабы ты не похитил предвосхитившее наказание Конца': этот перевод лишен смысла, но он вызван ошибочным прочтением Е ἀρπάξεις; с правильным в S (и у Фила) ἀρπάξει σε, строка читается 'дабы наказание Конца не пришло раньше и не похитило тебя' 15—16 смысл строк не ясен: м.б. 'пишучи высокопарные слова обновления, таким образом воспевает Слово'.

Если считать Григория Назианзина ранневизантийским поэтом, то стихи Мануила Фила не были единственными произведениями византийской поэзии, которые переводил Евфимий. Ему принадлежат переводы, по крайней мере, еще трех стихотворений Григория. Два из них — переводы *Car. I, Poemata moralia*, 19 [= Migne, PG, 37, col. 787—788] под заглавием Περὶ τῆς αὐτῆς (т.е. ζωῆς ἀνθρωπίνης) и

*Carm. I, Poemata moralia*, 39 [там же, col. 967—968] под заглавием Εἰς τύχην καὶ φρόνησιν. В версии Евфимия эти заглавия звучали: *Святого Григория Теолога о житии человечестем и Тогъ же нá получѣние и мудрость*.<sup>25</sup> Подробнее я рассмотрю оба перевода в другой статье. Тут только отмечу, что в них присутствуют черты, характерные для поэтических переводов Евфимия: склонность к буквализму с сохранением смысла оригинала и использование *Трехязычного Словаря* Елифания Славинецкого.

\* \* \*

Перехожу к греческим стихотворениям, автором которых, возможно, является Евфимий. Ему приписывают две двуязычных эпитафии: одну на Епифания Славинецкого, другую на митрополита Сарского и Подонского Павла.<sup>26</sup> Я коснусь здесь вкратце только окончательной и наиболее классицизирующей версии эпитафии Епифанию, написанной элегическими дистихами. Вот ее греческий текст и славянский перевод Евфимия (с соблюдением правописания, системы ударений и знаков препинания оригинала), снабженный моим русским переводом:

Ἐπίγραμμα εἰς τὸν σοφὸν Ἰερομόναχον ἐπιφάνιον.

Ἐνθάδε μὲν κεῖται ἀνὴρ ἐπιφάνιος ἄκρος  
 σλοβαῖδι γλώττῃ, ἑλλάδι, λατινίδι.  
 ἔρμηνεὺς πανάριστος, ὑπερσοφος [sic]· ἔξοχα πάντων  
 ἐν κυκλοπαιδείῃ, ἐν τε θεηλογίῃ [sic?]  
 εἰσορόων τοίνυν τόδε μῆμα σεμνοῦ ἱερέως,  
 εἰπέ γένοιτο μένειν πνεῦμα σὸν ἐν μακάρων.

ἐν ἔτει κοσμοποιίας ζρπδ ἀπὸ δὲ χριστοῦ γεννήσεως ἐν ἔτει | αχῶε'  
 μηνὶ νοεμβρίῳ ἡμέρα ἐνεακαίδεκάτῃ ἀπέδωκε | τὸ κοινὸν χρέος τοῦ βίου.

\* \* \*

Напи<sup>С</sup> на мудраго ієромонаха Епіфанія |

©Здѣ убо лежи<sup>Т</sup> мужъ Епіфаній крайній ©славе<sup>Н</sup>скому \языку/  
 Елли<sup>Н</sup>скому, Лати<sup>Н</sup>скому | ©толковникъ всеизящнѣишъ, премудръ,  
 ѳзимушественноу всѣхъ | ©в' кружнонаказаніи, и в' бг̃ословіи ж  
 ©взирая убо гробъ же ч<sup>С</sup>тнаго ієреа | ©рци, буди пребывати дх̃  
 твой в бл'же<sup>Н</sup>ни<sup>Х</sup>

<sup>25</sup> Два перевода изданы в статье Л. И. Сазоновой “Евфимий Чудовский” (как в прим. 1 выше), стр. 323—324. Судя по ссылкам самого Евфимия на полях: “fol. 155” и “fol. 156”, наш переводчик пользовался одним из изданий трудов Григория Назианзина, напечатанных в двух томах в Париже Jacques de Billy de Prunay (= Iacobus Billius Prunaeus; точные данные об изданиях 1609—1611 и 1630 годов см. в статье Страховой, “Из истории” [как в прим. 35 ниже], стр. 154), где оба стихотворения, в самом деле, помещены на стр. 155—156. Форма “Теолога” (вм. Θεолога или Богослова) в заглавии первого перевода свидетельствует о польско-украинском влиянии на Евфимия. — Относительно указания на третий перевод стихов Григория Евфимием, см. статью Л. И. Сазоновой (как в этом прим. выше), стр. 304, прим. 23.

<sup>26</sup> Лично я книг и рукописей, содержащих эти эпитафии, не видел. Воспроизвожу тексты по фотографиям, помещенным в двух работах Ю. А. Лабынцева: 1. *Улица 25 Октября, 15* (Москва: Московский рабочий, 1986), см. одну из илл. между стр. 32—33; 2. “Греко-‘славенские’ эпитафии” (как в прим. 1 выше), 104, рис. 3.

в' лѣто мїротворенїа зрїд о<sup>Т</sup> хр<sup>С</sup>това же рожденїа в' лѣто | а<sup>х</sup>ое м<sup>С</sup>ца  
ноемврія въ \днѣ/ девято/надесат<sup>Н</sup>ый ѿ<sup>Т</sup>даде ѡб<sup>ы</sup>щїй | долгъ житїя.

\* \* \*

### Эпиграмма на мудрого иеромонаха Епифания

Здесь лежит Епифаний, муж выдающийся  
в языке славянском, греческом, латинском.  
Превосходный переводчик, мудрейший паче всех  
в общем образовании и также в богословии.  
Итак, взирая на сию могилу почитаемого жреца,  
Скажи: да сбудется, чтобы дух твой пребывал  
среди блаженных.

В год от Сотворения мира 7184, а от Рождения Христова в год 1675,  
месяца ноября в девятнадцатый день, отдал <он> общий долг <своей>  
жизни.

В нашем распоряжении имеются также два черновика той же надписи. Первый черновик состоит из а) восьми строк греческого текста, написанного прозой (по крайней мере, мне не удалось обнаружить в них метрический принцип; это, по-видимому, первоначальная версия эпитафии); б) рифмованного виршами славянского перевода предыдущего текста, выполненного дважды (двумя почерками?) с разночтениями; и в) славянского перевода прозой слово в слово 8-строчного греческого текста. Второй черновик эпитафии Епифанию сохранился в другом конвое. Там он назван "Подпись на камени". Его греческая часть очень близка к окончательной версии, так как и она состоит из элегических дистихов. Правда, в ней только два дистиха, тогда как в окончательной версии — три. Кроме того, дата смерти Епифания, которая завершает эпитафию и написана прозой, указывает только на год от Сотворения мира, в то время как окончательная версия содержит указание еще и на год от Рождества Христова. Наконец, черновик в дистихах датирует смерть Епифания 20-м, а окончательная версия — 19-м ноября.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Первый черновик, см. Лабынцев, "Греко-'славянские' эпитафии" (как в прим. 1 выше), 103: а) ἀνθρῶπτε παροδίτα [sic] στὰς ὠδε [sic] μοι ἐνατενίζε [sic] etc.; б) Преходяй члче здѣ стáвъ дá взираеши etc.; в) Члче препутниче стáвъ здѣ мй позрї etc. Надо отметить, что стихи "Преходяй члче" были опубликованы (с некоторыми ошибками) В. Аскоченским в книге *Киев с древнейшим его училищем Академиею*, ч. 1 (Киев, 1856), 340, прим. 237 как надпись, "положенная" над могилой Епифания. Автор не указал на свой источник. Текст, опубликованный Аскоченским, был перепечатан в антологии *Українська поезія. Середина XVII ст.* Упоряд. В. І. Кречотень и М. М. Сулима (Киев, 1992), 39, 587. Этот же текст цитируется (без ссылки на источники) в статье А. М. Панченко, *Словарь книжников* (как в прим. 1 выше), 313, где он приписывается Симеону Полоцкому. Однако этот текст не совпадает ни с одной из известных версий эпитафий, сочиненных Симеоном "Преподобному отцу Епифанию Славинецкому". См. *Симеон Полоцкий. Вирши* (Минск, 1990), 356, 431, где эпитафии печатаются впервые, и рукопись БАН, Арх. 100, лл. 122—122 об. Второй черновик, см. Лабынцев, там же, 105: подпись на камени. | ἐνθάδε μὲν κεῖται | ἀνὴρ ἐπιφάνιος ἄκρος etc.; здѣ лежить © іеромонахъ 'Епіфанїй | славенскомъ языку etc. — В конвое второго черновика находится, между прочим, текст перешедшего в унию Кирилла Транквилиона-Ставровецкого и греческие двенадцатисложные стихи на пророка Давида, типа помещавшихся в начале рукописей греческой псалтыри, нач. Τοῦ πν(εύματος) τὰ θεῖα τόξα, κ(αὶ) βέλη. Эти стихи встречаются в не меньше, чем пятнадцати рукописях, самая древняя из которых восходит к IX—X вв., и иногда приписываются некоему Игнатию (Никейскому?). См. E. Follieri, "Un carme giambico in onore di Davide", *Studi bizantini e neoellenici*, 9 (1957), 106—108. Стихи изданы у J. B. Pitra, *Analecta Sacra*... II (1884), 440—441, строки 6—12 (с ошибкой φροντίδας вм. φροντίδων; у



Славянский перевод второго черновика с двумя дистихами значительно свободнее перевода окончательной версии. Вот один пример: слова ὑπέροφος ἔξοχα πάντων | ἐν κυκλοπαίδειῃ, ἐν τε θεολογίῃ в черновике переведены как “и паче многих м(у)дрѣйшій в’ философїи | ѿ ѳеологїи”, тогда как в окончательной версии это место звучит более натужно: “премудръ, ѳизумщественноу всѣхъ | в’ кружнонаказанїи и в’ б(о)гословїи ж”. Слово κυκλοπαίδεια, не засвидетельствованное в словарях ни классического, ни византийского греческого языка, выступает в *Трехязычном Словаре* Епифания Славинецкого и является неологизмом, придуманным под влиянием латыни.<sup>28</sup> Наличие в дистихах неологизма κυκλοπαίδεια, включенного Епифанием Славинецким в *Трехязычный Словарь*, и тот факт, что и у Епифания, и в дистихах этот неологизм переводится одинаково как *кружнонаказанїе*, позволяют полагать, что дистихи эти были созданы (и уж, во всяком случае, переведены) в среде, близкой Епифанию или, по крайней мере, знакомой с его Словарем.<sup>29</sup>

Итак, появление элегических дистихов в Москве конца 70-х годов XVII столетия — бесспорный факт. Однако, насколько мне известно, этот факт не имеет параллелей в московской “коренной” среде этого времени. Единственная известная мне более или менее современная “славянская” параллель ведет нас на Запад: или во Львов (правда, православный), или в саму Венецию. Это — греческое четверостишие в элегических дистихах с гомерическими отзвуками, которое, возможно, надо приписывать “Кур Григорїю Кїрницкому въ Россїѣ Львовскїа земля ѳбывателю”.<sup>30</sup> Более того, не имеет параллелей в московской среде начальная фор-

---

Евфимия — правильное чтение). Три других строки, нач. Τέττιγξ προφήτων, следующие во втором черновике под заглавием Неспон et illa, тоже посвящены пророку Давиду. Изданы они у Pitra, там же, стр. 441, по Vat. Barber. gr. 340, л. 14.

<sup>28</sup> В противоположность античному термину ἐγκύκλιος παιδεία, слова ἐγκυκλοπαίδεια и κυκλοπαίδεια — неологизмы, созданные в западной гуманистической среде конца XV-го века как результат конъектур к текстам латинских авторов Плиния и Квинтилиана. Κυκλοπαίδεια — термин, который впервые засвидетельствован в 1493 году и объяснен как *circularis doctrina*. Ср. Jürgen Henningsen, “Enzyklopädie”. Zur Sprach- und Bedeutungsgeschichte eines pädagogischen Begriffs”, *Archiv für Begriffsgeschichte*, 10 (1966), 271—362, особ. стр. 280—281; он же, “‘Orbis doctrinae’: Encyclopaedia”, там же, 11 (1967), 241—245. Латинская форма *cyclopaedia* встречается (впервые?) у Эразма Роттердамского *De pueris instituendis* 514 b = *Opera Omnia D. Erasmi...* I, 2 (Амстердам, 1971), стр. 76, строка 2. Указаниями на статьи Henningsen'a и на соответствующее место из Эразма я обязан профессору Классену (S. J. Classen) (Гёттинген). Небезынтересно заметить, что Епифаний Славинецкий был знаком с сочинениями Эразма. — В *Словаре* Епифания (РНБ, Собр. Титова, л. 726 об. б) интересующая нас статья имеет следующую форму: Κυκλοπαίδια, ας, ἡ — кружноученїе, doctrina circularis, кружнонаказанїе [см. такой же перевод этого слова в окончательной славянской версии эпитафии Епифанию!], disciplina circularis. У Скапулы встречается лишь форма ἐγκυκλοπαίδεια, см. стр. 891 всех трех доступных мне изданий. Следовательно, статья Епифания заимствована из какого-то другого словаря, который, в свою очередь, восходит к словарям, таким, как, например: *Lexicon Graecolatium...* (тип. Gérard Morthe, Париж, 1530); *Lexicon Graecum* (тип. Ioan. Walder, [Базель] 1539); *Lexicon graecolatium iam recens in lucem editum*. Parisiis apud Fran. Gryphium [= Greiff], 1540, в которых читаем: Κυκλοπαίδια, ας, ἡ. disciplina circularis. Как курьез добавлю, что κυκλοπαίδια как “неправильно вм. ἐγκύκλιος παιδεία” засвидетельствовано однажды в современном словаре Димитракоса.

<sup>29</sup> Оставляем в стороне проблему авторства “первого черновика” (см. прим. 27 выше). Здесь можем только сожалеть о том, что ссылки на источники отсутствуют и в локализации надписи, сделанной Аскоческой, и в атрибуции этой версии Симеону Полоцкому, сделанной Панченко.

<sup>30</sup> В дистихах Кирницкий просил св. Георгия покровительствовать греческой общине Венеции (с центром в церкви Св. Георгия; сегодняшнее название — San Giorgio dei Greci) и благодарил греков за “венец”, т.е. за стипендию, с помощью которой он приобрел степень доктора философии Падуанского университета. Четверостишие содержалось в ныне утраченной брошюре, напечатанной по-украински в Венеции в 1641 году. Брошюра была переиздана трижды, см.: Я. Головацкий, “Библиографические находки во Львове”, *СОРЯС Имп. Академии Наук*, том X, № 7 (1873), 23—27 (греческие стихи на стр. 24); К. Студинский, “Три панегірики XVII віку”, *Записки*

мула ἐνθάδε ... κεῖται в первой строке эпитафий, формула, которой начинаются многие позднеантичные и византийские надгробные надписи на камне и в литературе (напр., Греч. Антология, 7:94); не имеет параллелей и наличие (в конце строки) в обеих версиях этих дистихов фразы из эпической поэзии ἔξοχα πάντων 'более всех' (мы находим три примера этой фразы в Илиаде Гомера: 14:257; 24:113; 24:134 [см. также Одисс. 4:170], стоящей во всех случаях в конце строки); не имеет параллелей и появление в последней строке окончательной версии формулы ἐν μακάρων 'в блаженных' без добавления νήσοις 'островах'. Такое опущение слова 'острова' не известно лексикографическому материалу, собранному в компьютере *TLG* (*Thesaurus Linguae Graecae*), находящемся в городе Irvine в Калифорнии. Но, с другой стороны, конструкция ἐν μακάρων имеет соответствие в гомерическом εἰν, εἰς, ἐξ 'Αἴδαο или 'Αἴδος 'в Ада' с опущением δόμοισιν, δόμον, etc. 'палатах, палаты'. Даже так "по-христиански" звучащее γένοιτο последней строки эпитафий (см. слова Богородицы в Лук. 1:38), встречается у Гомера значительно чаще, чем в Ветхом и Новом Заветах вместе взятых.<sup>31</sup>

Был ли сам Евфимий способен к применению таких утонченных приемов по-гречески? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. С одной стороны, мне представляется, что почерк элегических дистихов окончательной версии несколько отличается от греческого почерка текстов, несомненно принадлежавших руке Евфимия; но, с другой стороны, среди книг Евфимия находились Гесиод, Эсхил и Лукиан,<sup>32</sup> а наличие экземпляров Гомера, печатных и рукописных, засвидетельствовано в его среде.

На настоящем этапе наших знаний целесообразно отложить ответ на вопрос об авторе греческих дистихов окончательной версии надгробной надписи Епифанию. Однако, на мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что самая идея и славянский перевод этих дистихов принадлежит Евфимию. Этот вывод основывается, между прочим, на сходстве перевода дистихов с фразеологией заглавия *Книги словес* Епифания Славинецкого, которое принадлежало перу Евфимия. Там Епифаний назван "муже<sup>М</sup> многоученнымъ, не токмоу грамматики, и риторики, но и философии, и самыае оеологѣи извѣстнымъ испытателемъ и искуснѣйшимъ разсудителемъ и шпаснымъ претолковникомъ гречекагоу, латинскагоу, славенскагоу и полскагоу діалектовъ".<sup>33</sup> Что же касается других версий эпитафий Епифанию, для которых имеются греческие параллели, то в рукописи БАН, Арх. 100, л. 123 об. славянские стихи первого черновика "Преходяй чловѣче здѣ ставъ да зриаеши" почти бесспорно приписываются Евфимию.<sup>34</sup>

*Наукового Товариства ім. Шевченка*, XII, 3 (1896), 3—5 и 19—22 (греческие стихи на стр. 20); антология *Українська поезія* (как в прим. 27 выше), стр. 199—201, ср. также стр. 599 (греческие стихи на стр. 199). Греческий текст во всех трех изданиях изобилует опечатками, затрудняющими его реконструкцию. — Гомерические отзвуки: Μήδεο 'думай, заботься о' в начале первого стиха; (Μακρά) κέλευθα '(далекые) стези, пути' в конце третьего стиха.

<sup>31</sup> О ἐν, εἰς, ἐξ с родительным падежом, см., например, E. Schwyzer-A. Debrunner, *Griechische Grammatik* ... II (Мюнхен, 1950), 120. — Γένοιτο встречается 37 раз у Гомера, 27 раз в Священном Писании. Но ср. употребление μή γένοιτο с инфинитивом в Послании к Галатам 6:14.

<sup>32</sup> Ср. "Книга Эсхилова въ полдестъ, дана 10 алтынъ ...., Книга Исѣодова, въ четверть, дана 10 алтынъ ....; Книга Лукіана Самосатскаго въ четверть, дана 16 алтынъ 4 денги", см. Покровский, "Древнее псковско-новгородское наследие" (как в прим. 23 выше), 427.

<sup>33</sup> Наукова бібліотека Академії Наук України, № 290/145, л. 1.

<sup>34</sup> Об этом черновике см. стр. 13 и прим. 27 выше. Эпитафия Павлу, митрополиту Сарскому и Подонскому, нач.: 'ωτѣъ сирѣтъ вдвоиць же и нищихъ питатель (см. снимок у Лабынцева "Греко-славянские" эпитафии", как в прим. 1 выше, стр. 106) в рукописи БАН, Арх. 100, л. 123 выступает *expressis verbis* как "Твореніе оца 'Евѣміа". Стихи же черновика "Преходяй чловѣче" (см. Лабынцев, стр. 103) следуют в рукописи БАН на л. 123 об., где они озаглавлены "Препѣбноу оу 'Епѣанію".

Сегодня, когда мы празднуем столетие “Византийского современника”, мы смотрим на Евфимия как на своего раннего коллегу, работающего по сходным с нашими методами,<sup>35</sup> чье владение греческим языком мы оцениваем достаточно высоко. В его выдержках из “Суды” и его переводах из Фила мы можем усматривать зачатки ученого интереса к византийской литературе в Московской Руси, хотя мы и понимаем, что Евфимий был более заинтересован в Григории Назианзине, чем в поздневизантийском стихотворце.

В широком масштабе, однако, усилия Евфимия были обречены на неудачу: они не имели продолжения, а сама борьба между грекофилами и латинофилами не имела будущего. В конце концов обе партии проиграли. Когда закладывался фундамент для будущего величия русской культуры, строительным материалом не послужили ни греческая патристика, ни латинизирующее барокко, т.е. привозные элементы, занесенные — заново или впервые — в Москву XVII века через белорусские и украинские территории Речи Посполитой. Основным материалом для новой постройки был импортирован непосредственно с современного той эпохе светского Запада.

К этому времени труд Евфимия устарел, как в наши дни устарел для практических целей роскошный Восточный Экспресс. Но какое удовольствие сегодня отправиться в короткое путешествие на Восточном Экспрессе!

*Addendum* к стр. 14-15: Хотя элегические дистихи в честь Епифания Славянского пока не имеют параллелей в творчестве московской “коренной” среды 70-х годов XVII столетия, мы можем с уверенностью предположить о знакомстве этой среды с греческими элегическими дистихами. Предположительными источниками этого знакомства были, с одной стороны, — греческие печатные издания XVII века, известные в Москве этого времени, вступительные статьи которых содержали элегические дистихи, а с другой, — ученые греки — клирики и иерархи, — которые жили в Москве. Некоторые из них сочиняли элегические дистихи, порою обращаясь к лексикону Гомера. В качестве примера источников первой категории приведу семь эпиграмм Герасима Влаха, две эпиграммы Арсения Каллуди, Проскинитарий которого Евфимий переводил, и четыре другие эпиграммы, помещенные в Словаре Герасима Влаха *Ἡρασιμὸς ... τετραγύλωστος* (Венеция, 1659), — книге, известной и трижды переведенной в Москве; см. E. Legrand, *Bibliographie hellénique ... des ouvrages publiés ... au XVIIe siècle ...* (Париж, 1894-1896), № 434, стр. 115-119. См. также эпиграммы Каллуди в честь Влаха в книге *Ἀρμονία ὀριστικῆ* (Венеция, 1661), Legrand, ук. соч., № 443, стр. 137-138; и, наконец, стихи Влаха и того же Каллуди в издании Максима Исповедника, подготовленном François Combefis’ом (Париж, 1675), Legrand, ук. соч., № 526, стр. 315-317. В качестве примера “живых” источников нам послужит пресловутый митрополит Газский Паисий-Пантелеймон Лигарид, который известен как автор четырех классицизирующих греческих эпиграмм, написанных элегическими дистихами; см. Legrand, ук. соч., № 251, стр. 339-340 (Рим, 1636) и № 254, стр. 343-346 (Рим, 1637). Правда, Лигарид писал эти эпиграммы в молодости

<sup>35</sup> Итак, Евфимий, который переводил и переписывал Слова и Послания Василия Великого (см., например, БАН 16.14.24., лл. 90—95; ГИМ, Синод. III; Синод. 346; Синод. 716), выписал для собственной информации статью о Василии из византийской энциклопедии X-го века, так называемой “Суды” (БАН 16.14.24, лл. 245—246: “ωτ̄ суд̄а. Βασίλεῑ κ̄esar̄ī κ̄απ̄αδοκ̄ωβ̄ ἐ̄π̄κ̄σ̄π̄” etc.). Энциклопедия “Суда” упомянута в 1705 году в списке тех книг, которые Евфимий взял под расписку из Патриаршей казны для работы, составленном после его смерти: “Κ: Λεξ̄ικο̄<sup>н</sup> Суд̄ω̄в̄ в’ доска<sup>х</sup> etc.”. См. О. Б. Страхова, “Из истории древнерусских описей книг: Дополнения к ‘Описи библиотеки иеромонаха Евфимия’”, *Palaeoslavica*, 1 (1993), 149—160, особ. стр. 151. Автор предполагает, что Евфимий пользовался либо миланским изданием Суды 1499 г., либо венецианским (Aldo Manuzio) 1514 г., либо, наконец, базельским 1544 г.

и находясь на службе у католиков, но мог оставаться знатоком дела и в пожилом возрасте. Если Евфимий нуждался в помощи при составлении эпитафии Епифанию, то Лигарид мог посодействовать ему советом, ибо находился в Москве в начале 1676, а, возможно, и в конце 1675 года; см. Н.Ф.Каптерев, *Характер отношений России к православному Востоку...* (Сергиев Посад, 1914), стр. 204-206.

Эпитафия Епифанию вписывается в этот греческий фон. Формы трех ее слов имеют параллели в текстах, написанных учеными греками, жившими в Москве, или встречаются в книгах, там известных. Так, форму  $\sigma\lambda\omega\beta\alpha\iota\delta\iota$  (т.е.  $\gamma\lambda\omega\tau\tau\eta$ ) эпитафии можно сравнить с фразой Дионисия Ивирита  $\acute{\epsilon}\kappa\ \tau\acute{\omega}\nu\ \Sigma\lambda\alpha\beta\alpha\iota\kappa\acute{\omega}\nu\ \beta\iota\beta\lambda\iota\omega\nu$ , см. Όλγα Αλεξανδροπούλου, *Ο Διονύσιος Ιβηρίτης* ... (Ираклион, 1994), стр. 27; форму  $\lambda\alpha\tau\iota\nu\iota\delta\iota$  - с  $\lambda\alpha\tau\iota\nu\iota\delta\iota\ \gamma\lambda\omega\tau\tau\eta$  из упомянутого стиха Каллуди в честь Combefis'a, см. Legrand, ук. соч. № 526, стр. 317; форма  $\kappa\upsilon\kappa\lambda\omicron\upsilon\pi\alpha\iota\delta\iota\alpha\kappa\eta\varsigma$  (без  $\acute{\epsilon}\gamma$ -) встречается в четверостишии, написанном Григорием Мелиссином в честь Герасима Влаха (см. уже упоминавшийся словарь Влаха  $\Theta\eta\sigma\alpha\upsilon\rho\acute{\omicron}\varsigma$  ...  $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\lambda\omega\sigma\sigma\omicron\varsigma$ , Legrand, ук. соч., № 434, стр. 118; наконец,  $\theta\epsilon\eta\lambda\omicron\gamma\iota\eta$  из эпитафии Епифанию можно сопоставить с  $\theta\epsilon\eta\lambda\omicron\gamma\iota\eta\varsigma$  из эпитафии Лигарида в честь Аркудия, см. Legrand, ук. соч., № 252, стр. 246.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Перевод отрывков из Λίθος'а Петра Могилы. Автограф Евфимия. БАН, 16.14.24, л. 657.

И<sup>3</sup> книги, зовѣмыя камень,  
страниц<sup>Ц</sup> о̅з. |

В' преждед̅щеннѣи л̅тург̅и, по-  
гр̅шѣн̅е въ глагола̅н̅и сл̅ов̅ъ, въ пр̅и̅ят̅е  
сты<sup>Х</sup> та̅ин̅ъ, [и̅н̅ы̅м̅ъ л̅тур̅|г̅и̅ам̅ъ сове̅р̅шен̅-  
ным̅ъ прил̅ичных̅ъ] е̅гда и̅<sup>3</sup> пот̅ира с̅щ̅е̅|  
ник̅ъ вин̅о в' кро̅вь Гд̅с̅ню не ѡс̅щ̅енное  
вкуша̅ет̅ъ, | воспомина̅еши на страни̅ц̅ъ  
к̅и, |ако в' ново<sup>М</sup> служ̅ебник̅ъ с̅уть по-  
лож̅енна.

Уже с̅е̅ па̅стыр̅е̅ на̅ши ѡс̅мотрив̅-  
ши̅ исп̅ра̅ви̅ша, | та̅мо̅же чин̅овн̅ъ лист̅ы  
н̅ѣк̅и̅я препеч̅ата̅вш̅е. | ѡ̅ ч̅есо<sup>М</sup> ты̅ а̅ще и̅  
добр̅ъ в̅ѣси, об̅а̅че ка̅иновым̅ъ | ср̅д̅це<sup>М</sup>, да  
въ смят̅ен̅е наро̅д̅ъ ро̅с̅с̅и̅ск̅и̅й по̅щри̅-  
ши, | не ключим̅ъ басносл̅ови̅ши.

На страни̅ц̅ъ о̅з. Да ѡ̅види<sup>Т</sup> ѡ̅б̅о зд̅ѣ  
к̅и̅жд̅о, | ко̅л̅ико̅ е̅сть тво̅е неч̅е̅ст̅е̅, е̅гда  
гл̅еши: |ако̅ кро̅вь | Гд̅с̅на к̅ъ т̅ѣлу Гд̅с̅ню  
вл̅я̅на, вонич̅то̅же е̅сть, По̅|н̅е̅же, |ако̅же  
ѡ̅на ча̅стица ѡс̅щ̅ен̅ны̅я ж̅ерт̅вы, | ю̅же  
ξ̅ен̅д̅з в' пот̅ир̅ъ в' ла̅га̅ет̅ъ, ч̅р̅ез̅ъ пре̅ло̅-  
ж̅е̅н̅е̅ | и̅ ра̅створ̅е̅н̅е̅, е̅сть ѡ̅ рим̅лян̅ъ  
сп̅с̅ит̅ел̅на̅го̅ пре̅из̅я̅щ̅ества, и не ни ко̅я  
ц̅ѣ̅ны̅ | Та̅ко̅же и̅ кро̅вь вл̅я̅ная до̅  
ѡс̅щ̅ен̅на̅го̅, и в' т̅ѣло Гд̅с̅не пр̅ет̅вор̅ен̅на̅го̅  
хл̅ѣ̅ба, подоб̅ны̅я ц̅ѣ̅ны̅ сподоб̅ля̅ет̅ся.

[Петр Могила], ΛΙΘΟΣ̅ abo kamien  
z procy prawdy cerkwie swiętej prawosławney  
ruskiej... wypuszczony... (Киев, 1644) стр.  
76—78; (= Архив Юго-западной России,  
ч. I, т. IX [Киев, 1893], 85—87).

*W Prezdeświaszczenney służbie*  
omyłkę w mowieniu słow do pożywania  
*KRWIE PAŃSKIEJ* (inszym służbom *sower-*  
*szennym należnych*), gdy z kielichá káptan  
wino w Krew Páńską niepoświęcone pożywa,  
wspominasz *pag. 28*, że w nowym służebniku  
są położone: Już to Pasterze nászy,  
postrzegszy, poprawili, Támże karty według  
słuszności przedrukowawszy. O czym choć  
iuz ty wiesz, przecię iednak Káimowskim [sic]  
sercem, byteś [sic] národ Ruski do ohydy  
przyprawił, o tym gdacziesz.

Niech się tu każdy przypatrzy, ieżeli  
nie iest twoia wielka niezbożność, gdy  
mowisz że *KREW PANSKA* która iest wlaná do  
*CIAŁA PANSKIEGO nullius Valoris est*, álbo-  
wiem iáko ona *particula* poświęconey Hostiey,  
którą xiądz do kielichá kładzie, przez odmiane  
y rozplýnienie się, iest u PP: Rzymian  
*salutaris momenti* á nie *nullius valoris*: ták y  
*KREW*, wlaná do poświęconego y <w> *CIAŁO*  
*PANSKIE* przemienionego chleba, *eiusdem*  
*valoris* zostae.

**Иллюстрации к статье И. И. Шевченко “У истоков русского  
византиноведения”**

Рис. 1. ГИМ, Синод. греч. 155, л. 3 об. (нижняя часть листа). Заглавие и Поэма Мануила Фила на 1-е Слово Григория Назианзина. Источник рукописи БАН, 16.14.24, л. 254

Рис. 2а, б. БАН, 16.14.24, л. 254. а) Поэма Мануила Фила на 1-е Слово Григория Назианзина. Копия рукописи ГИМ, Синод. греч. 155, л. 3 об. Рука Евфимия Чудовского; б) Поэма Мануила Фила на 44-е Слово Григория Назианзина. Рука Евфимия Чудовского

Рис. 3. БАН, 16.14.24, л. 248. Поэма Мануила Фила на 44-е Слово Григория Назианзина, славянский перевод. Рука Евфимия Чудовского

От редакции: статья И.И.Шевченко публикуется с авторского оригинал-макета.

Статья Ф.Б.Подякова “Eufimij Cudovskoj und die Moskauer Barockdichtung seiner Zeit”, вышедшая в сборнике *Slavistische Studien zum 17. internationalen Slavisten-Kongress in Pressburg/Bratislava* (ред.: Karl Gutschmid и др.; Кельн, 1993, стр. 337-349) частично затрагивает тематику моей работы “У истоков русского византиноведения”. К сожалению, я ознакомился с этой статьей уже после окончания “Истоков”.

И.И.Шевченко



Εἰς τὸν ΠΙΛΟΝ ΠΛΑΣΧΑ καὶ εἰς τὴν Βοσπόδηντα .

Εἰς τὸν ΠΙΛΟΝ ΠΛΑΣΧΑ καὶ εἰς τὴν Βοσπόδηντα  
ἔστιν ἡ ἀνάστασις ἀνθρώπων  
εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ εἰς τὴν ψυχὴν ἡμῶν λόγων  
ὁ ἱερεὺς πρὸς αὐτὸν ἀνδραγαθῶς

Εἰς καινὴν Κυριακήν Στίχοι Ἰαμβικοί .

Ἄρτι προΐσχει πάσα τέρεφι χαρίτων  
πᾶν ἐσιῶσα τὸ ἐν αἰθέρι  
Ἦθους γὰρ αὐτὴν τὴν ἀνάστασιν  
νῦν διέξεται πᾶν καλὸν σμειοφύρον  
πόλον δὲ αὐτὴν καλλιλαμπῆ φωσφόρον  
τὴν ἑνὴ πολύχρωμον ἡρινὸν ἐξανθείων  
ἄρδην θαλάτταν πᾶσαν ἡμελίουμένην  
τὸ μείζον αὐτῆς βυβαλεῖ τοῦσι αἴρας  
πηλαί ποταμοῖσι πᾶσιν ἅμα τὴν κτίσιν  
αἱ λοιπὸν εἰς ὑπερτερον βίον  
ὡς ἀχίνες προβαίνει θαλάσσης μὴ φθάσαν  
τὸ τὸ τέλος πρῶτον ἀρπάξειεις  
καὶ εἰς τὰ πάντα νῦν φεράσαντες ὡς εἶπεν  
ὑψηλοῦς ἐγκαινισμάτων λόγων .

3  
154

Спши Фили . на цоцеса во стихъ оца нашего  
Григоріа вѣдлова

На пѣвѣ Поевѣ , и на Косности

Иже стивилъ Мертва , пѣи испавшии  
Показа хс из Грѣба свѣрета .

Иже свичетъ се и емъ пѣи и дѣи цоцеса  
Бодрии свѣдъ вѣдвѣстивенно показветъ

На нолѣд нѣ . стии Гамвѣстии

Иже прѣсѣрѣностати всяна прасота вѣдвѣстии  
Есаяб урѣсѣавши ете и гласѣ рѣдѣ

Всѣмъ бо самое вѣирнѣе цоцо  
Иже дѣствитѣ вѣино добро сопоисаю  
Ибо ради того добротосійтелно шѣтносно

Землю многошарнѣ вѣенны из цѣтѣвѣ  
Кѣсно море вѣе упрощаемо

Волшеє самая вѣготѣтѣ въздухи  
Итѣогнии рѣти пѣд иѣтѣно пшарѣ

Иже прѣгсе и прѣвѣшишѣд свѣжнѣ  
Кѣсно островѣмнѣи прѣшѣстѣви , лѣшѣ неостѣжшо  
Ете понца прѣгѣнтѣшѣе похити .

Иже сѣи иже рѣише , кѣсно мощѣ  
Високозѣмнѣихъ свѣновлѣннѣи цоцеса

таблицы  
таблицы

вѣи  
таблицы

Рис. 3





## КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛИТЕРАТУРА СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 70—80-х ГОДОВ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ»

15—16 ноября 1994 г. в Институте славяноведения и балканистики РАН состоялась конференция «Литература стран Восточной Европы 70—80-х годов. Тенденция развития. Проблемы изучения», в которой, кроме сотрудников Группы современных литератур Отдела истории славянских литератур ИСБ, приняли участие преподаватели кафедры славянской филологии филологического факультета МГУ и кафедры полонистики Гродненского государственного университета (Белоруссия).

Конференция явилась продолжением работы по изучению послевоенной литературы стран Восточной Европы, которая много лет ведется в ИСБ. Этой проблематике были посвящены многочисленные конференции и симпозиумы, в том числе и международные, труды литературоведов ИСБ, начиная с коллективной монографии «Новые явления в литературе европейских социалистических стран. Художественная проза начала 70-х годов» (1976) и кончая недавно сданным в печать первым томом двухтомной «Истории литератур стран Восточной Европы после 1945 г.», посвященным литературному процессу 1945—1960-х годов, а также ряд двусторонних и многосторонних международных проектов, например, совместный с учеными ГДР труд «Проблемы развития литератур европейских социалистических стран после 1945 г.» (1986). В настоящее время коллектив авторов ИСБ приступил к написанию второго тома «Истории литературы стран Восточной Европы после 1945 г.», в связи с чем и была организована ноябрьская конференция.

Ее участники стремились к объективному восприятию литературного процесса стран региона на протяжении седьмого и восьмого десятилетий XX в., полагая, что такой подход приблизит нас к созданию научной истории литературы стран Восточной Европы.

Публикуемые ниже статьи представляют собой переработанные авторами доклады на указанной конференции.



© 1995 г. ПОНОМАРЕВА Н. Н.

## ПРЕОДОЛЕНИЕ «БАРЬЕРА». БОЛГАРСКАЯ ПРОЗА И ДРАМАТУРГИЯ 70—80-х ГОДОВ

Закончился полувековой послевоенный этап болгарской литературы. Он изобилует резкими драматическими поворотами, существенно меняющими направление ее развития. Первые 10—15 лет были наиболее трудными. Предстояла ориентация в принципиально новой жизненной реальности.

На первых порах большинство писателей верили в справедливость и необходимость наступивших общественно-политических перемен в стране. Ведь многие из них были непосредственными участниками антифашистского сопротивления или сочувствовали ему, сознавая неизбежность краха монархо-фашизма. Поэтому первые отклики в литературе на революционные события в стране свидетельствовали об искреннем желании писателей отразить становление справедливой и демократической, как им тогда казалось, новой общественно-политической системы Болгарии. В этом ключе соответственно избирались темы произведений (партизанская борьба, антифашистское подполье, Отечественная война, борьба с политической оппозицией, Советский Союз и пр.).

Однако очень скоро стало ясно, что заявленная поначалу Отечественным Фронтом консолидация как политических, так и культурных демократических сил в стране — лишь пустая декларация. Не прошло и пяти лет после Девятого сентября 1944 г., как в стране утвердился государственный тоталитарный порядок по образцу Советского Союза с вытекающими из этого последствиями во всех областях жизни, в том числе и в литературе. Многие писатели, прямо или косвенно связанные с прежним режимом, были, в лучшем случае, лишены возможности творить. Некоторые же были репрессированы — осуждены Народным судом на тюремное заключение, помещены в концлагеря, высланы в отдаленные села и пр. Правда, жестокость репрессий с годами постепенно смягчалась, особенно после 1956 г. (например, были возвращены к активной творческой деятельности М. Арнаудов, Д. Талев, Г. Константинов и др.), но их последствия крайне отрицательно, а порой и фатально отразились на судьбах не только ряда писателей, но и литературы в целом.

Однако не только прямые репрессии препятствовали естественному развитию болгарской литературы. Партийно-государственный диктат предписывал писателям неукоснительное следование законам «единственно правильного» (как было заявлено в резолюции V съезда БКП в 1948 г.) метода социалистического реализма. Жестокая регламентация привела к сужению творческих возможностей писателей: ограничению выбора тем, проблематики, художественных форм; к нарушению естественных связей с многими плодотворными тенденциями бол-

гарской литературы предшествующего периода, подрыву ее корней, к свертыванию экспериментальных направлений, изоляции от многих направлений в мировой литературе.

Вместе с тем, строгий контроль официальной партийной критики все же не мог полностью парализовать свободу выбора, творческий потенциал болгарской литературы и удержать ее в рамках навязанных канонов.

Так, уже в первые послевоенные годы значительно расширяется диапазон болгарской поэзии: например, вновь обретает силу жанр любовной лирики (И. Радоев), осуждавший критикой как пережиток буржуазного прошлого; преодолевается схема в «героических» стихотворениях об Отечественной войне (В. Ханчев). В прозе антидогматические тенденции ярко проявляются в произведениях Э. Станева («Похититель персиков»), Д. Димова («Осужденные души»). В драматургии от шаблонов в разработке антифашистской темы отходят в своих пьесах К. Зидаров («Царская милость»), О. Василев («Тревога»). Самый сильный удар по косным нормативам официальной литературной политики был нанесен масштабными романами Д. Димова, Д. Талева, Г. Караславова, Д. Ангелова, С. Загорчинова и др. Это были серьезные симптомы противостояния самой литературы государственно-партийному диктату, которое сломить можно было лишь силовым путем. Однако применять насильственные меры в прежних масштабах, после 1956 г., когда в стране произошли важные изменения, было уже трудно.

Правда, осуждение культа личности в Болгарии во многом имело декларативный характер. По существу, грубые и прямолинейные методы подчинения литературы диктату сверху были только заменены на более завуалированные, фарисейские. Для привлечения на свою сторону интеллигенции власть широко использовала подкуп, провокации и пр. Систематическая перетасовка людей, занимавших ключевые посты в государственной системе культуры, вовремя предупреждала выражения организованного протеста.

И все же, несмотря на то, что надежды на «оттепель» рухнули и администрирование в сфере литературы, хотя и в измененной форме, сохранилось, атмосфера в стране видимо становилась иной, и обновительный процесс остановить было уже нельзя. Литература преодолевала «барьер» не только безропотного подчинения внешней силе, но и своих собственных заблуждений, самоограничений, внутреннего оцепенения. Она решительно высвобождалась из-под груза навязанных ей, а частично и добровольно принятых, догматических нормативов. Процесс этот, несмотря на запретительные меры властей, шел стремительно и сразу по нескольким направлениям.

В недавнем прошлом болгарская критика приписывала заслугу снятия табу после 1956 г. с ранее недозволяемых в творческой практике тем, проблематики, художественных средств выражения — исключительно себе. Однако анализ болгарского литературного развития приводит к выводу, что партийное руководство, оказавшись перед уже свершившимся фактом, должно было просто согласиться со status quo и все свои силы направить на удержание некоторых еще не сданных позиций, попытаться остановить обновительный процесс или хотя бы ввести его в официально регламентированное русло. Так, например, писатели, обратившиеся к проблеме нравственности современного общества, были вынуждены преодолевать сильное сопротивление большей части критики. Обвинения их в «очернительстве», пристрастии к «малой правде» в ущерб «большой», в отсутствии «истинного положительного героя», «оптимистического звучания», «классово-партийного критерия», «извращении социалистической действительности» были дежурными до конца 80-х годов.

Непоколебимость основных принципов социалистического реализма (в 70—80-х годах ставшего уже «победившим» и «единственным» в болгарской литературе) в критике и литературоведении не подвергалась ни малейшему сомнению. Однако литературная практика все чаще свидетельствовала о том, что в его основании появились серьезные трещины. Процесс раскрепощения литературы стал уже свершившимся фактом — она явно «выламывалась» из узких границ метода, что

ставило под реальную угрозу само его существование. Необходима была его скорейшая коррекция, подверстывание к уровню литературы.

В 70-е годы усилился критика (Т. Павлов, В. Колевский, А. Лилов и др.) [1] были направлены на обоснование необходимости и правомерности творческого (как она считала) подхода к социалистическому реализму. Она поддержала концепцию этого метода как исторически открытой эстетической системы, наиболее подробно разработанной в Советском Союзе Д. Ф. Марковым [2]. Эта более гибкая, по сравнению с первоначальной, концепция, разумеется, не снимала всех назревших проблем литературной ситуации Болгарии 70—80-х годов, но утверждая возможность наследования и развития в современной литературе социалистического реализма всех достижений мировой литературы в прошлом и настоящем, способствовала более свободному развитию жанров, стилей, широкого спектра художественных форм. С другой стороны, и сама критика теперь с большей легкостью записывала в актив социалистического реализма все ценное, создаваемое болгарскими писателями, независимо от их истинных художественных позиций, которые зачастую ничего общего с этим методом не имели (Д. Талев, Э. Багряна, Й. Радичков и др.).

Значительные качественные изменения в болгарской литературе в целом происходили уже с конца 50-х годов (в драматургии) — начала 60-х годов (в прозе). Их отличительными признаками были: обращение к человеку, его душевному миру; художественное преломление исторических судеб народа и современности через призму восприятия личности, усиление гуманистического пафоса произведений, преобладание нравственного аспекта в исследовании конфликтов действительности. Особенно отчетливо эти признаки проявились в прозе и драматургии. Огромное развитие получила «малая проза», потеснившая масштабный эпический роман начала 50-х годов; значительное место заняли лиризация, монологичность, подтекст, так называемая исповедальность; проявилась подчеркнутая тенденция к взаимопроникновению жанров. Драматургия обогатилась за счет новых художественных форм, которые внесли в нее поэты и прозаики, проявившие исключительно большой интерес к этому роду литературы.

Эти же тенденции в несколько модифицированном виде присутствуют в литературе 70—80-х годов, и в основном они определяют ее облик. В осознании конфликтов современности в ней по-прежнему преобладает нравственный аспект. Однако в отличие от 60-х годов критическая направленность как в отношении к окружающему миру, так и по отношению к самому герою значительно усиливается. «Исповедальность» обращена уже не в прошлое, не к «расчету» с ним (под этим как бы подведена черта), а в настоящее. Она является лирическим субъективизированным осмыслением нравственной динамики современного общества, места и роли в нем героя (романы «Ночью на белых лошадях» П. Вежинова, «Праца» Й. Радичкова, «Зеленая трава пустыни» Д. Фучеджиева).

Духовная жизнь современника анализируется писателями предельно искренне. Причину остро драматических и даже трагических жизненных ситуаций они видят в настораживающем усилении таких негативных признаков, примет общества и личности, как односторонний технократизм, потребительство, эгоизм и равнодушие, обеднение эмоциональной сферы личности (повести П. Вежинова «Барьер», «Озерный мальчик», «Белый ящер», «Измерения»; «Короткое солнце» и «Дикие пчелы» С. Стратиева, «Дачная зона» Г. Мишева).

В то же время литература подметила и желание современника вырваться из застойного быта, познать радость освобождения от будней, «вещизма», инерции, радость «полета» («Барьер» П. Вежинова, пьеса «Попытка полета» Й. Радичкова, повесть «Портреты небесных тел» Р. Босева).

Усиление критического начала в литературе в целом, по-видимому, способствовало расцвету болгарской комедиографии. Художественная палитра пьес такого плана весьма богата и разнообразна. Против общественных пороков драматурги используют сарказм и иронию, сатирический гротеск, гиперболическую метафору, пародию и многие другие средства этого жанра. И. Радоев («Людоедка»)

использует форму трагикомедии, комическое и трагическое, сочетая острую сатиру и непринужденный лиризм. С. Стратиев («Замшевый пиджак», «Римская купальня», «Автобус», «Максималист»), сатирически заостряя ситуации, доводит их до абсурда. У Й. Радичкова («Суматоха», «Январь», «Образ и подобие» и др.) своеобразный юмор, замешанный на народной мудрости, соседствует с едкой сатирой, бичующий подчас самые актуальные общественные пороки.

80-е годы в драматургии некоторые болгарские критики-театроведы называют «театром нравственности». Действительно, это название вполне соответствует довольно популярной в этот период семейной драме (К. Георгиев, И. Радоев, М. Минков и др.). Чувствуется стремление авторов приблизить сцену к зрителю, более пристально всмотреться в душевные перипетии героя.

Значительных успехов драматургии достигли в камерных пьесах, расширив во многом границы этого жанра. Конфликт в них нередко выходит далеко за рамки чисто нравственного, касается глобальных и «вечных» проблем человека («Лазарица» Й. Радичкова, «Пасхальное вино» К. Илиева, «Последняя ночь Сократа» С. Цанева). Стилистика и другие художественные параметры камерных пьес разнообразны. Это может быть монодрама, философский диспут, бесфабульное и, напротив, остросюжетное действие, использование комедийных и гротесковых форм.

Принципиальные изменения в рассматриваемый период произошли в традиционной для Болгарии «деревенской» прозе. Чернобелые краски и примитивная иллюстративность (40—50-е годы), а также ностальгическое «прощание» со старой болгарской деревней, патриархальным бытом (60-е годы) ушли в прошлое. Теперь актуализируется проблема человека «без корней», на перепутье, т. е. крестьянина, порвавшего с деревней, но не сумевшего адаптироваться в новой жизни, в городе или на стройке, человека со сломленной нравственностью, психологически нестабильного (роман «Низина» В. Попова, повесть «Удаление» Г. Мишева).

Как всегда, своеобразно подходит к этой проблеме Й. Радичков. Коллизия «патриархальность — цивилизация» претворяется у него многоаспектно. Для произведений Й. Радичкова этого плана характерна поэтика, в которой наблюдается взаимопроникновение примитивно-бытового и возвышенного, обыденного и фантастического, традиционного повествования и иносказания, реалистического описания и гротеска, комического и трагического. Очень сильны у Й. Радичкова фольклорные традиции. Такая сложная и богатая изобразительная система оказывается на редкость подходящей формой для воплощения социальных и моральных конфликтов в современной болгарской деревне в период кризиса, по существу — ухода ее с исторической арены. По мере углубления в проблематику общий тон произведений Й. Радичкова становится все более серьезным и тревожным, сменяя добродушную насмешливость, иронию и юмор более раннего периода творчества.

Утрата деревенских корней (а вместе с ними зачастую и нравственных устоев, создававшихся поколениями) подтолкнула литературу к поискам истоков национального характера, особенностей национальной психологии в историческом прошлом народа (повести и романы Э. Станева, Г. Стоева, Слава Хр. Караславова, В. Мутафчиевой). Эти очень разные в жанрово-стилевом и тематическом отношении произведения объединяет философский и нравственно-этический подход к проблематике, укрупненность замысла, важные историко-психологические обобщения.

В конце 80-х годов в болгарской литературе несколько оживился жанр крупномасштабного романа («Холм» Д. Киркова, «Свержение величий» Слава Хр. Караславова и др.). Особое место здесь занимает роман И. Петрова «Облава на волков» (1986). Он подводит итог многолетней работы писателя в области «деревенской» прозы. Чрезвычайная острота полемики в печати, которую вызвала эта книга, точно отражала размежевание в болгарской литературе и критике 80-х годов и была обусловлена прежде всего стремлением автора в полифоническом многопроблемном произведении дать срез целой эпохи в жизни болгарского села

(с начала второй мировой войны до конца 60-х годов) с позиции, освобожденной от прежних заблуждений, иллюзий, ограничений и запретов. Своеобразна и нетрадиционна для данного жанра форма романа. И. Петров использует прием циклизации малых прозаических форм. Каждая из пяти глав книги, несмотря на общую сюжетную основу, может восприниматься как самостоятельная новелла или повесть.

Ускорение, которое набрала литература 70—80-х годов, проявилось очень ощутимо. Лучшие произведения прозаиков старшего поколения — Э. Станева, П. Вежинова, Й. Радичкова, И. Петрова, а также драматургов — И. Радосева, В. Петрова и других вывели ее на рубежи современной европейской литературы. Уверенно заявило о себе и следующее поколение писателей (прозаики М. Величков, Д. Ярымов, А. Томов, Д. Коруджиев, И. Дичев; драматурги С. Стратиев, С. Цанев, К. Илиев, М. Минков).

В конце рассматриваемого периода ускорение в развитии болгарской литературы видимо затормозилось. Стали заметны топтание на месте, известная «усталость» в разработке нравственной проблематики, необходимость новых подходов в художественном освоении событий и идей времени. Болгарской литературе, которая вступает в следующий этап, предстоит преодолеть на пути еще один «барьер», чтобы удержать завоеванные позиции и избрать перспективное направление.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Павлов Т. Тунджа се влива в Марица... // Пламък. 1973. Кн. 19. С. 3—4; Лилов А. Природа художественного творчества. М., 1981; Колевски В. Социалистический реализм. Теория и творчество. София, 1985.
2. Обсъждаме актуални проблеми на социалистическия реализъм // Пламък. 1974. Кн. 23—24.



© 1995 г. ГУСЕВ Ю. П.

## ДИССИДЕНТСКАЯ И ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ВЕНГРИИ 70—80-х ГОДОВ

Прежде всего хочу сказать вот о чем: стремление выстроить (в разговоре о той или иной национальной литературе) жесткую систему категорий, которая выделяла бы в литературе данного периода четко очерченные сферы диссидентской и эмигрантской литературы — пускай они обозначаются скорее образными, чем научными терминами «самиздат», «тамиздат» и т. п. — отгораживание этих образований от остальной литературы может привести лишь к недоразумениям и путанице. Такие попытки с очень большой степенью вероятности выльются в накладывание на живую ткань литературных, духовных тенденций и взаимодействий некой формализующей сетки политических и идеологических разграничений, которые в реальной жизни практически всегда проявляются в путаном, смешанном, переходном, промежуточном виде; такого рода сетка едва ли даст возможность глубже понять литературный процесс и его сущностные характеристики.

Разумеется, это вовсе не значит, что не следует принимать во внимание, скажем, существование большого количества произведений венгерских писателей, по тем или иным причинам, в том числе и политическим, покинувших родину и продолжавших свою творческую деятельность за границей. Такие писатели в Венгрии были всегда, а точнее, со времен разгрома национально-освободительного движения Ракоци в начале XVIII в. Много их было и в последние два-три десятилетия.

Чтобы пояснить свою мысль о том, что нельзя рассматривать эмигрантскую литературу как нечто цельное, что «экстерриториальность» этой литературы является внешним, неглавным, поверхностным признаком, приведу примеры. Шандор Марай (1900—1989), прозаик, поэт, эссеист, драматург, в 30-х годах один из самых популярных, даже модных романистов, покинул Венгрию в 1948 г., в преддверии начинающегося идеологического террора и огосударствления литературы. Живя в Швейцарии, Италии и, в последние десять лет, в США, Марай писал свои произведения только по-венгерски. При этом практически ни одной его строчки за все эти годы в Венгрии не появилось; более того, когда, уже незадолго до краха социализма, возможность публикации на родине появилась, Марай публично заявил, что, пока Венгрией управляют коммунисты, он категорически возражает против издания там своих произведений. И тем не менее, оказываясь все в большем одиночестве и изоляции, работая в сущности в стол, он чувствует себя венгерским писателем, душой не отрываясь от венгерского языка, от венгерской действительности (даже если тот ее образ, который он

Гусев Юрий Павлович — д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

видел, относился больше к прошлому, к сфере воспоминаний, чем к современной реальности).

Другой пример — Тамаш Ацел (р. в 1921 г.), прозаик и публицист, один из первых венгров-лауреатов Сталинской премии, автор стихов, посвященных Ракоши, и романов, признанных образцами социалистического реализма. В общем-то его крутой поворот к противостоянию тоталитарной системе был не очень логичен: Ацел без затруднений вписался в официальную литературу, стал одной из ее надежд и любимцев. А попав на Запад, он не только отбросил свой лауреатский диплом (говорят, в качестве трофея он вывез с собой нос от демонтированной в Будапеште статуи Сталина), но и стремительно отказался от своей принадлежности к венгерской литературе как таковой. Его историко-публицистические и художественные вещи выходят в основном на английском языке; очевидно, в первые годы они переводились на английский, но позже он настолько осваивает язык новой родины, что пишет на нем. Его самый значительный роман, «Иллюминации» (1980), был написан по-английски — и это касается не только языка, но и стиля, образной системы, стиля мышления, что и понятно: если ты хочешь издаваться в Америке, то должен приспособливаться к тамошним вкусам. На венгерский этот роман был переведен в последние годы; появление его в Венгрии отличалось от появления любого другого западного романа разве что тем, что имя автора влекло за собой очень уж много всяческих аллюзий.

В Будапеште сейчас издается «Лексикон венгерской эмигрантской литературы»; вышло пока два тома, до буквы «М»; только в первый том включено 1700 статей; очевидно, литераторов-эмигрантов наберется на все четыре тома. Интересно было бы провести такую работу: подсчитать, какая часть из почти семи тысяч имен может считаться относящейся к венгерской литературе? Понятно: дело здесь не только в том, сохраняет ли писатель родной язык или переходит на язык принявшей его страны. Можно представить (хотя сейчас мне на память конкретные имена не приходят) случаи, когда писатель пишет на родном языке, но ориентация его в корне меняется. Подобное есть и в русской литературной эмиграции: если, например, Бунин или, из последнего периода, Солженицын остаются частью русской литературы, то этого нельзя сказать столь же уверенно, не колеблясь, о Набокове или даже об Аксенове.

Проблемы возникают и по отношению к диссидентской литературе, выражающей настроения духовной, идеологической оппозиции режиму. Начать с того, что, так сказать, «стопроцентно» диссидентской литературы, видимо, не существует. Во-первых, писатели, которых принято считать диссидентами, или в начале своего творческого пути, или позже, в каких-то отдельных случаях, но печатаются и в государственных, т. е. находящихся под партийно-государственным контролем издательствах. Самый, пожалуй, яркий венгерский писатель-диссидент Дёрдь Конрад начал свой писательский путь с издания вполне легального романа «Посетитель» (1969; название русского перевода — «Трудный день», 1991). Конечно, критика, еще в большей степени зависящая от властных структур, роман практически замолчала; конечно, он не переиздавался более двадцати лет; конечно, в течение 70—80-х годов Конрад печатал свои художественные произведения и публицистику или за рубежом, или в «самиздате». И тем не менее в 1977 г. легально выходит в Венгрии его роман «Градооснователь», из которого его заставили убрать всего несколько фраз, общим объемом не более полстраницы.

С другой стороны, едва ли не все крупные (подчеркиваю: не просто влиятельные — таковыми были и многие литературные «генералы», — а по-настоящему значительные) венгерские писатели вступали так или иначе в противоречие с коммунистическим режимом. У многих из них были диссидентские вещи, которые не могли быть изданы, остались в столе, увидели свет только в последние годы. Например, таких работ, главным образом публицистических, набралось на целый том у Ласло Немета («Sorskérdések», «Вопросы судьбы», 1989). Но конфликты с властью, сопровождавшиеся запретами и наказаниями, возникали и у Дюлы



Ийеша, и у Ласло Бенямина, и у Тибора Дери, и у более молодых Шандора Чоори и т. д.

Интересна в этом смысле фигура Дёрдя Лукача, который в течение почти трех десятилетий (я не говорю о годах, проведенных в СССР) как бы совмещал в себе диссидента с проводником партийного курса. Он не печатался в «самиздате»: для него скорее свойствен «там-и-сям-издат»; но ведь факт, что ему учиняли разгромы, и факт, что он первый поднял на щит Солженицына, объявив его произведения образцами социалистического реализма, и т. д. Но можно ли считать его диссидентом?

Наконец, с третьей стороны, были писатели, которые уходили в литературное подполье не из-за идеологической, а вкусовой, стилиевой, религиозной и т. п. несовместимости с официальным курсом. В течение едва ли не сорока лет, например, не издавались «формалистические» произведения Миклоша Сенткути и эзотерические, оккультные романы Марии Сепеш, религиозно-философские эссе Белы Хамваша; перечень, видимо, можно продолжать. Можно ли эту литературу назвать диссидентской?

Я не буду останавливаться на том, что и литература, проникнутая духом идейно-политической оппозиционности коммунистическому режиму и в свое время казавшаяся почти единой и дружной, по выходе из эмигрантского и диссидентского подполья или полуподполья оказалась не просто не единой, не просто не единообразной, но во многих случаях едва ли не взаимоисключающей. Как и у нас тут множество крайних фигур: от фашиствующего Эдуарда Лимонова до защитника социализма Александра Зиновьева, так и в Венгрии либералу Д. Конраду противостоят националисты Иштван Чурка, Шандор Чоори и др.

Какие выводы можно отсюда сделать относительно построения исторического обзора литературы 70—80-х годов? Не стоит делить литературу на диссидентскую, эмигрантскую и противостоящую им «легальную». Есть все основания исходить из того, что литература — во всяком случае, та ее часть, которая заслуживает этого названия, — в условиях тоталитарного режима была практически вся проникнута духом оппозиционности, диссидентства, если угодно. Оппозиционность выражалась в более или менее явной форме, последовательно или спорадически, в виде противостояния или в виде ухода в нейтральные, безразличные к идеологии (эстетство) сферы. Литературу эту объединял один критерий — гуманистическая ангажированность, защита исконных человеческих ценностей, прав и перспектив личности.

Конечно, при этом нужно отделить — может быть, рассматривая ее бегло, обзорно — ту эмигрантскую литературу, которая существенно отделилась от данной национальной литературы, перейдя скорее в иной национальный контекст.

И, естественно, желательно исключить из рассмотрения (или также говорить о ней между делом, только в меру необходимости создания целостной картины) официозную, конъюнктурную, охранительскую литературу; иными словами, литературу, которая этого названия не заслуживает.



© 1995 г. СЕРЕДА В. Т.

## ФЕНОМЕН «НОВОЙ ПРОЗЫ»: СМЕНА ПАРАДИГМ В ВЕНГЕРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА 70-х — НАЧАЛА 80-х ГОДОВ

На рубеже 70—80-х годов в венгерской литературной критике велось немало дискуссий о творчестве молодых, о приходе нового поколения; оно, по мнению старшего поколения, ставило под угрозу традиции национальной литературы и кардинально меняющего, по мнению многих критиков, вектор «литературного развития». Представителям «новой прозы» (а речь шла прежде всего именно о прозаиках) нередко вменялись в «вину» уход от реальности, герметизм, склонность к голому лингвистическому эксперименту и еще многие прегрешения.

«Окончился, — элегически замечал М. Шюкёшд, — золотой век венгерской литературы, те долгие столетия, когда венгерский писатель брал на себя, по словам Дюлы Ййеша, даже заботы по управлению водным хозяйством» [1].

О критичности переживаемого литературой этапа говорил в 1981 г. и проныцательный литературовед М. Белади в своих «Набросках о ситуации в современной венгерской художественной прозе». «Ключевой вопрос современной венгерской литературы состоит в том, — писал он, — удастся ли ей сохранить преемственность или она должна приготовиться к тому, что все, до сих пор считавшееся основной линией ее развития, заключающейся в традиционных национальных особенностях, в служении общественным интересам, окажется под вопросом, что этот процесс застопорится, а то и вовсе будет насильственно прерван». «Вопрос не праздный, — продолжал Белади, — мы трезво должны себе отдавать отчет, что уже собираются силы, нацеленные на подрыв этой непрерывности, и все больше признаков указывает на то, что венгерская литература подошла к концу одной эпохи, готовясь вступить в другую, с совершенно иным представлением о литературе» [2].

Кого же критика выдвинула на роль носителей нового? Эта роль досталась далеко не всем талантливо дебютировавшим в 70-е годы или чуть позже прозаикам. Например, Д. Шпиро, Й. Балаж не относятся к этому кругу, поскольку при всей новизне проблематики их творчество вполне уместилось в традиционную парадигму венгерской прозы. Уточним, что под сменой парадигм мы понимаем новое самоопределение литературы, появление нового типа художественного сознания, иного, отличного от традиционного, онтологического статуса литературы.

«Совершенно иное представление о литературе» внесли такие прозаики, как П. Надаш («Конец семейного романа», 1977), Г. Беремени, М. Корниш, Л. Краснохоркаи, Ф. Темеши и не в последнюю очередь — П. Эстерхази, де-

Середа Вячеслав Тимофеевич — научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

бютировавший в 1976 г. небольшой повестью «Фанчико и Пинта»; чуть позже, в 1979 г., он привлек всеобщее внимание книгой, иронично озаглавленной «Производственный роман». Эта проза была абсолютно ни на что не похожа, не вписывалась ни в русло обостренного социального критицизма, представленного в венгерской литературе того периода многими замечательными произведениями, ни в рамки психологического письма или модного в 70-е годы гротеска. Даже в среде профессиональных читателей она вызвала довольно своеобразную, двойственную реакцию. «Собственно, что я такое прочел? — поразился, к примеру, талантливый прозаик и сочувствующий молодой писательской поросли Иштван Галл, ознакомившись с первой повестью Эстерхази. — Могу ли я сформулировать, что я прочел? Не могу. Но я очарован. А также смущен и разгневан... Не все мне понятно. Экзамен по этой книге сдавать я бы не решился» [3].

Позволив себе отступление, приведем здесь слова автора «Имени розы» Умберто Эко, который в заметках о своем романе говорит об особом — в истории литературы выполняющем функцию обновителя — типе художника, пишущего не для того, «чтоб полюбить» той публике, которая уже есть, а для того, чтобы воспитать новую публику, которой еще нет, но которая в его книгу не может не влюбиться» [4]. Подтверждением этих слов может служить и творчество Эстерхази; его тексты, намеренно неоднозначные и фрагментарные, уводящие, как казалось, от реальности в мир словесной игры, постепенно сформировали своего читателя. Сегодня, когда на вступительных экзаменах по литературе абитуриентам предлагают сочинение на свободную тему, они чаще всего из произведений современных венгерских авторов выбирают «Производственный роман» Эстерхази. О многом говорит и тот факт, что автор этот приобрел европейскую известность; в пятнадцати странах изданы многие его книги.

Полемика вокруг новой прозы в венгерской критике со временем утратила остроту, хотя и в 80-е годы в костер споров было подброшено еще не одно полено — достаточно вспомнить «Книгу воспоминаний» (1986) П. Надаша, роман «Пыль» (1988) Ф. Темеши, «Сатанинское танго» (1990) Л. Краснохоркаи или целую серию книг того же Эстерхази — «Краткую Венгерскую Порнографию», «Возчики», «Вспомогательные глаголы сердца» и др. Они затем были объединены под одной обложкой в объемном томе «Введение в художественную литературу» (1986), само название которого говорило о заявке на собственную эстетику.

Феномен новой венгерской прозы обрел свое объяснение в широко растрезжированном и довольно разноречиво толкуемом термине «постмодернизм». Как бы ни относились мы к этому термину, но те новые явления, которые проявились во второй половине 70-х годов в венгерской, да и не только венгерской, прозе, соотносятся с искусством модерна. Объединяет эти два круга явлений отношение к языку, отход от традиционных миметических форм художественного повествования и многие другие черты, связанные в конечном счете с поисками нового онтологического статуса художественного творчества. Но если в эпоху классического модерна при очевидном усилении семантизации литературного языка, ломке сюжета и углублении рефлексивности текста язык все же оставался инструментом повествования, то на новом этапе для значительной части экспериментальной, эвристической литературы язык стал самодостаточным материалом творчества, он как бы замещал собой действительность.

Это «как бы» следует подчеркнуть. Ибо новая проза — и в этом состояла причина двойственности ее восприятия критикой, исходившей из критериев эстетики реализма, — была вовсе не самоцельна. Хотя привычные критерии (правдиво-неправдиво) не работали применительно к текстам, лишенным миметических установок, рецензенты, как правило, не только признавали бесспорный талант молодых прозаиков, виртуозное обращение с языком, но и безошибочно распознавали в этой «оторванной от реальности» литературе критику социалистической действительности.

Тип художественного сознания, вырабатывавшийся в литературе венгерских «постмодернистов», адекватно реагировал на своеобразную логоцентричность со-

временного мира; ее осознание привело семиологов к выводу о том, что слово есть форма власти, средство фетишизации действительности, что «объектом, в котором от начала времен гнездится власть, является сама языковая деятельность, или, точнее, ее обязательное выражение — язык» [5]. Поэтому литература, как бы выставившая язык напоказ, разрушая правила грамматики, сдвигая смыслы и применяя иные приемы эвристического письма, раскрывала не только языковые отношения своей эпохи, но и закрепленную в них реальность.

С точки зрения языка, как писал позднее П. Эстерхази, эпоха Кадара была прямо-таки золотым дном, постоянно бросая писателю лингвистический вызов. «То и дело мы упирались в знаменитое изречение Витгенштейна, согласно которому слова не имели значения, имелось лишь словоупотребление» [6].

«Подлинная „критика“ социальных институтов и различных языков, — полагал Р. Барт, — состоит вовсе не в „суде“ над ними, а в том, чтобы выделить, разделить и расщепить их. Чтобы стать разрушительной, критике не нужно судить, ей достаточно просто заговорить о языке вместо того, чтобы говорить на нем» [7].

Переводя объект творчества преимущественно в плоскость языка, в «пространство грамматики» и отказываясь от традиционной изобразительности, представители новой прозы не ограничивались чисто творческими задачами. Расширяя систему идеологических стереотипов, стремившуюся сковать жизнь общества, задать ей жесткие рамки через язык, они выводили литературу и общество в мир свободы.

Именно этим объясняется, что новая венгерская проза нашла своего читателя. В ней, пожалуй, наиболее полно проявилась тенденция, характерная для венгерской литературы последних двух десятилетий. Это — тенденция к достижению духовной независимости, к освобождению литературы не только от политических или идеологических шор, но и от власти литературных условностей.

В одной из последних книг Эстерхази («Книга Грала», 1990), где автор повествует о себе в третьем лице, на этот счет есть весьма выразительное признание: «Писатель относился к числу тех авторов, которые, оказываясь перед выбором между жизнью и литературой, не задумываясь выбирают литературу, потому что считают, и даже убеждены в том, что это и есть их жизнь. Факты реальности не являются фактами литературы. Но правда реальности является правдой литературы» [8].

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Sükösd M.* Továbbjutni (ha lenet)//Élet és irodalom. 1980, június 14.
2. *Béládi M.* Válaszutak. Budapest, 1983. P. 509.
3. *Gáll I.* Hullámlóvas. Budapest, 1981. P. 305.
4. *Эко У.* Заметки на полях «Имени розы»//Иностранная литература, 1988. № 10. С. 98.
5. *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 548.
6. *Esterházy P.* Egy kékhárisnya foljegyzéseiből. Budapest, 1994. P. 313.
7. *Барт Р.* Критика и истина//Зарубежная эстетика и теория литературы XIX и XX вв. М., 1987. С. 351.
8. *Esterházy P.* Hrabal könyve. Budapest, 1990. P. 20.



## ЛИТЕРАТУРА ГДР В ПРЕДЧУВСТВИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН 1989—1990-х ГОДОВ

Время, прошедшее с момента объединения Германии в октябре 1990 г., дает возможность взглянуть на проблематику литературы ГДР с некоторой исторической дистанции, может быть, еще и недостаточной для окончательных выводов, но все же проясняющей многие существенные проблемы и уж в любом случае позволяющей их более четкую постановку. Интерес к ГДР в современной ФРГ отнюдь не уменьшается, и его пока еще нельзя назвать сугубо историческим — во-первых, потому, что процесс интеграции пяти восточногерманских земель в систему экономики и культуры ФРГ оказался гораздо более сложным, чем это предполагали в 1990 г. политики и подавляющее большинство населения обеих частей Германии, и, во-вторых, потому, что непрерывно публикуемые в последние годы архивные документы (в том числе и скандального характера), воспоминания и художественные произведения, связанные с историей ГДР, продолжают поддерживать актуальность самой темы, представляя в то же время в руки исследователей новый и разнообразный материал, нуждающийся в дальнейшем осмыслении. Для настоящего сообщения избран лишь один из многих возможных ракурсов, но все же достаточно существенный, а именно: почему крупнейшие писатели ГДР, в чьих произведениях, начиная уже с конца 1960-х годов, была дана наиболее глубокая и художественно убедительная картина нарастающей стагнации и бесперспективности общества тоталитарного социализма хонеккеровского образца, в момент полного краха этого режима осенью 1989 г. продолжали публично отстаивать идею продолжения «социалистического эксперимента» на территории ГДР, для чего, естественно, требовалось и сохранение ее государственной самостоятельности, по крайней мере определенной автономии? Писатели разного возраста и с резко различающимся жизненным опытом, чьи произведения публиковались в ГДР не всегда и не полностью, с постоянными задержками и цензурными изъятиями, чьи нервы были измотаны непрекращавшейся борьбой с партийными цензурой и критикой, оказались, по существу, единомышленниками в отстаивании вышеназванной позиции — несмотря на свист и угрозы митингующей толпы, желавшей без промедления воспользоваться вожделенными плодами процветающего капиталистического «рая». Знание жизненного пути и творчества этих писателей убеждает в том, что объяснять их позицию одной лишь политической «слепотой», упрямой приверженностью развенчавшим себя идеям утопического социализма или даже прагматизмом людей, связавших свою судьбу с историей ГДР, как это с 1989 г. делают многие их критики, все же слишком поверхностно и не затрагивает подводной части «айсберга».

Гугнин Александр Александрович — канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

Назову лишь некоторые и в данном контексте совершенно бесспорные имена: Стефан Гейм (род. в 1913 г.), Криста Вольф, Хайнер Мюллер (оба род. в 1929 г.), Фолькер Браун (род. в 1939 г.), Кристоф Хайн (род. в 1944 г.). Именно эти всемирно признанные писатели не побоялись вполне однозначно заявить свою позицию осенью 1989 г. Разумеется, если отвлечься от формального момента публичной декларации и разбираться в писательских позициях по существу, то этот перечень можно значительно расширить — даже если учитывать только писателей первого и второго рядов. Но в данном случае речь идет даже и не об анализе творчества уже названных писателей, но всего лишь об одном ракурсе: о нарастании в творчестве крупнейших писателей критического отношения к социализму в ГДР и к социализму вообще и об их «нелогичном» поведении в момент его полного краха.

С точки зрения нарастания кризиса общественного сознания в ГДР в последние десятилетия ее существования отчетливо выделяются три этапа: первый — осмысление пражских событий 1968 г.; второй — «дело Бирмана» 1976 г., резко расколотившее интеллигенцию ГДР на «официозную» и «оппозиционную» половины; третий — «перестройка» в СССР, воспринятая партийным руководством ГДР как «смена обоев у соседа», на которую можно вовсе не реагировать, если «наши собственные обои достаточно новые». С точки зрения существования самого государства ГДР наиболее трагичным был, конечно, кризис 1985 г., когда возрастающая политическая и идеологическая изоляция ГДР от соседей-«перестройщиков» (СССР, Польши, Венгрии и Чехословакии) постоянно будировала массовое общественное сознание, заставляя руководящую верхушку изоциряться в идеологической демагогии и в поисках новых «законных» форм полицейского террора, что в конечном итоге привело к массовому бегству из ГДР значительных групп населения в 1989—1990 гг. и не могло не повлиять на конечный крах ГДР в 1990 г.

Для литературы ГДР события, связанные с 1968 г. (по сути, «пражская весна» в сознании интеллигенции началась значительно раньше — по крайней мере с «кафкианской» конференции в Чехословакии в 1963 г.) в интересующем нас здесь ракурсе имели два важнейших последствия: во-первых, писатели заново обратились к проблеме человеческой личности, пытались выйти за пределы ее социальной и социалистической детерминированности и найти иные, более глубокие, пласты ее бытия в мире; во-вторых, резко возросло внимание крупнейших писателей к мифологии и истории, при этом в произведениях на исторические и мифологические сюжеты обнаруживается та же направленность: поколебать и разорвать внушаемые идеологией зауженно «гэдээровские» представления о человеке и о его месте в обществе, найти новые координаты для размышлений о современном мире. Первую тенденцию достаточно отчетливо характеризуют три романа, опубликованные в 1968 г.: «Размышления о Кристе Т.» К. Вольф, «Буриданов осел» Г. де Бройна и «Пауза для Ванчки, или Путешествие в Дескандар» А. Вельма. Вторую — начавшийся во второй половине 1960-х годов заметный мифологический и исторический «крен» в творчестве Ф. Фюмана, Э. Арендта, Х. Мюллера, П. Хакса, к которому на протяжении 1970-х годов присоединились практически все крупнейшие писатели. 1976 год ожесточил писателей ГДР, не говоря уже о том, что внес непрекращавшуюся смуту в их собственные ряды. С этого времени в их раздумьях — независимо от конкретных тем и сюжетов — постоянно присутствует чувство горечи и глубокого разочарования, доходящего до отчаяния и приводящего к трагическому концу многих героев. В исторической повести К. Вольф «Нет места. Нигде» (1978) о трагическом самоубийстве Г. фон Клейста возникает метафора «нежилая жизнь» или «жизнь, которой нельзя жить» (unlebbares Leben); эту метафору и критика и читатели ГДР сразу же заметили, вычленили из исторического контекста и перенесли на духовную ситуацию ГДР. К. Вольф хорошо знала своего читателя и с самого начала прекрасно понимала, что ее именно так и поймут. В 1985 г. Ф. Браун, подхватывая внедрившуюся в сознание метафору К. Вольф, называет одно из

своих стихотворений на современную тему «Заторможенная жизнь» (gebremstes Leben), эта метафора адекватно отражает духовную атмосферу последних лет существования ГДР. Атмосферу «нежилой жизни» и «заторможенной жизни» очень хорошо передают романы Кристофа Хайна «Чужой друг» (1982) и «Смерть Хорна» (1985), повесть «Неоконченнная история» (1975) и «Роман о Хинце-Кунце» (1981) Фолькера Брауна.

Со второй половины 1970-х годов ощущение пессимизма, пронизывающее творчество оппозиционных писателей ГДР, нередко перерастает в настроение полного отчаяния, приводящее главных героев к самоубийству или трагической смерти: повесть «Трибуна» (1978) Ф. Брауна, повесть «Кассандра» (1982) К. Вольф, роман «Смерть Хорна» К. Хайна. Параллельно возникают произведения, представляющие попытку преодоления трагической ситуации с помощью цинически-иронического отношения к ней: Х. Мюллер, Ф. Браун, Ф. Фюман («Трое обнаженных мужчин»), романы «Новая благодать» (1984) Г. де Бройна и «Танго» (1984) К. Хайна. Это ироническое отношение к современной действительности ГДР усвоили и наиболее талантливые из официальных писателей, которые, как правило, переводили серьезные конфликты в иронически-юмористический план. Наиболее показательны здесь сборники рассказов Германа Канта «Третий гвоздь» (1981) и «Бронзовый век» (1985).

В 1985 г. в СССР была опубликована повесть В. Распутина «Пожар», где пожар складского помещения в небольшом сибирском поселке перерастает в метафору огромного назревающего пожара в советском государстве. В данном контексте любопытно то, что эта метафора порождалась самой общественной атмосферой, и в литературе ГДР возникли не зависящие от образа В. Распутина параллели. В 1984 г. Ф. Браун завершил драму «Переходное общество», в финале которой в результате неожиданно возникшего пожара сгорает дом, символизирующий ГДР. К. Вольф в 1982—1983 гг. написала повесть «Летний этюд» (окончательно доработана в 1987 г.), в финале которой сгорает дача и деревня, куда герои пытались сбежать от «нежилой жизни» — от общественной действительности ГДР. Ощущение безысходности ситуации и надвигающегося пожара в повести усугубляется тем, что все герои имеют реальных прототипов, и у любого знающего литературную ситуацию в ГДР читателя постоянно стоят перед глазами судьбы писателей — умерших или уже покинувших ГДР (Макси Вандер, Сара Кирш и т. д.). Художественный эффект при этом не уменьшается, но скорее усиливается благодаря искусной композиции и высокой степени художественного обобщения.

Все сказанное, казалось бы, подводит к мысли, что крупнейшие оппозиционные писатели ГДР должны были по крайней мере в 1980-е годы окончательно разочароваться в социализме и с нетерпением ждать воссоединения Германии на капиталистической основе. Но, во-первых, они никогда не покидали ГДР, хотя такая возможность у них всегда была. И, во-вторых, как бы критично они ни относились к «реальному социализму», они столь же критично относились и к «реальному капитализму». Тема сопоставления противоречий капитализма и социализма являлась, по существу, основной темой Х. Мюллера; в особенно заостренном виде эта проблематика встает в драме «Германия. Смерть в Берлине» (1977). Еще раньше в драме «Цемент» (1972, по роману Ф. Гладкова «Цемент») он предложил свою концепцию преобразования «реального социализма» в более гуманное и демократическое общество. В одном из вставных эпизодов этой драмы «Геракл 2, или Гидра» речь идет о втором подвиге Геракла, но Х. Мюллер заметно видоизменяет сюжет: лернейская гидра превращается у него в непроходимый лес и в контексте пьесы являет собой метафору тоталитарного социализма. Геракл в конце концов понимает, что победить гидру можно не столько силой, сколько умом, распознав все ее приемы и хитрости и используя это знание для конечной победы над нею. Еще более конкретизируется эта метафора в «Железной машине» (1981) Ф. Брауна, завершившей собой цикл пьес о Советской России 1920-х годов, где главными персонажами являются В. И. Ленин, И. В. Сталин,

Л. Троцкий и другие политические деятели (1968—1980). В современных публикациях «Железная машина» открывает весь цикл из четырех пьес и представляет собой монолог от первого лица, который можно воспринимать в двух плоскостях: как монолог позднего, «прозревшего» Ленина и как монолог лирического героя, двойника самого Ф. Брауна. Система тоталитарного социализма олицетворяется в этой пьесе в метафоре «железной машины»; подхватывая образ «гидры» у Х. Мюллера, Браун подводит своего героя к прозрению, по сути очень близкому к прозрению Геракла Х. Мюллера: «Жить с этой железной действительностью и вопреки ей, используя ее и ее же разрушая», т. е. речь у обоих писателей идет не о революционном свержении социализма и замене его капитализмом, а о постепенной трансформации «железной машины» в качественно иную систему, не идентичную, однако, современному капитализму.

Какие выводы можно позволить себе из вышеизложенных тезисов? Замечу, что почти со всеми названными здесь писателями я был знаком лично и с 1970-х годов пытался анализировать их произведения в многочисленных рецензиях, статьях и предисловиях (Ф. Фюман, Х. Мюллер, Ф. Браун, К. Вольф, Г. де Бройн, К. Хайн, Г. Кант и т. д.). Итак, во-первых: резкая критика состояния общества писателем вовсе не означает его автоматического стремления изменить это состояние революционным путем. Какая бы резкая критика российского общества ни содержалась в произведениях Ф. М. Достоевского, он оставался все же решительным сторонником сохранения традиционных устоев жизни и существовавшей тогда российской государственности. То же, видимо, можно сказать и о позиции В. Распутина и многих российских писателей-«деревенщиков». То же можно сказать и о крупнейших писателях ГДР. Во-вторых: переход общества из одного качественного состояния в другое в исторической практике, как правило, совершается все же не эволюционным, а революционным путем. И, в-третьих, как итог всего сказанного: процесс осмысления эпохи социализма еще далеко не завершен, реставрационные настроения и движения естественны и исторически закономерны (вспомним эпоху реставрации в Европе, наступившую после «революционных» наполеоновских войн); «освищенных» в 1989 г. крупнейших писателей ГДР когда-нибудь снова вспомнят и заново оценят их «безрассудное», весьма повредившее их литературной репутации в ФРГ упорство в отстаивании идеи возможности иного, «незаторможенного», «пригодного для жизни», реформированного и демократического социализма.





© 1995 г. АДЕЛЬГЕЙМ И.

## К ВОПРОСУ О «СМЫСЛОВЫХ ВАРИАЦИЯХ» РОМАНА АНДЖЕЯ ЩИПЕРСКОГО «НАЧАЛО, ИЛИ ПРЕКРАСНАЯ ПАНИ ЗАЙДЕНМАН»

Литературное произведение начинает реально существовать, т. е. так или иначе *воздействовать* на социум, лишь с момента его прочтения.

Только здесь и тогда начинается реальная история существования его содержания и только с этого момента можно говорить о коммуникации: с одной стороны — как психологическом импульсе, вызвавшем к жизни конкретное произведение конкретного автора, с другой — как обратной связи, осуществленной в акте прочтения и переживания, как необходимом условии самого существования произведения.

Между личным замыслом автора, воплощенным в текст по законам литературы, и прочтением — всегда в известной степени субъективным — этого текста читателем, располагается, по словам Р. Барта, подвижное и открытое (добавим — до тех пор, пока произведение читается) семантическое поле — те «смысловые вариации», которые «порождаются произведением» при его прочтении и для читателя образуют его реальное содержание [1].

В современной ситуации быстрого расширения геокультурного пространства воздействие и восприятие слова оказывается наиболее важной проблемой коммуникации и понимания. Сближение и взаимообогащение культур происходит сегодня путем углубления в психологию — в познание мотивов тех или иных эмоций, действий, мыслей, так как этот психологический «знаменатель» часто оказывается, в конечном счете, сходным у людей разных культур.

С этих позиций полезно, наверное, увидеть то или иное произведение не только в жесткой историко-литературной системе — как ее ступень, знак, имеющий свое «место и время» и обусловленную ими поэтику — но и в процессе конкретного прочтения и переживания как акта психологического.

Так, роман Анджея Щиперского «Начало, или Прекрасная пани Зайденман» в контексте польской литературы возник, существует — и прочитывается гипотетическим читателем — в цепочке предшествовавших ему произведений прозаика, в системе польской литературы: традиций и закономерностей ее имманентного развития, наконец, в системе определенных исторических событий, актуальных именно для Польши — либо непосредственно отраженных в тексте (как фон, фабула), либо «накладывающихся» на него (актуальных в момент создания произведения и выхода его к читателю). Т. е. для польского читателя здесь существует определенная, более или менее предсказуемая система ассоциаций,

аллюзий и пр., т. е. тот историко-культурный тезаурус, который включается в содержание романа.

Роман «Начало...» написан в 1986 г., издан в Париже, переведен на многие языки, получил несколько литературных премий. То, что в Польше к 1992 г. он вышел уже тремя изданиями, несомненно говорит о его актуальности. На русский язык «Начало...» было переведено лишь к 1992 г.—в политической ситуации, по механизму схожей с польской, хотя и смещенной во времени, неизмеримо более хаотичной, отягощенной собственным историческим прошлым. Русский читатель практически не знаком с творчеством Щиперского, его представления о польской литературе и исторической реальности могут быть недостаточны, а круг ассоциаций — иным. Реальное содержание романа, его переживание, таким образом, лишь отчасти совпадает с аналогичным переживанием читателя польского.

Как же происходит процесс коммуникации?

В поэтике романа Щиперского нет ничего шокирующего или эпатазирующего. Как и кинематограф Кешлевского, она обращена к самому, может быть, сегодня главному для человека переживанию — смыслу «личной морали как основе общественной» [2], т. е. к тому, что сегодня соединяет людей в одних обстоятельствах и разводит по разные стороны реальных или метафорических баррикад в других; на чем зиждется понимание и что становится причиной вражды и агрессивности как психологического состояния, порождающего зло.

Даже чисто польские реалии в системе психологической, этической сверхзадачи романа *прочитываемы* человеком «извне». А сугубо польские — по исторической их принадлежности — конфликты, образующие фабулу романа не просто открыты для мира; но оказываются актуальными для личного, экзистенциального переживания.

Многочисленные (около двадцати — на примерно сто страниц текста, среди них — евреи, поляки, немцы) персонажи этого романа о взаимозависимости и вражде наций стоят между исторической, национальной памятью с ее традициями и стереотипами и неизбежной в их крайностях непримиримостью и ограниченностью — и конкретными отношениями, складывающимися между живыми людьми. И именно в этой пограничной ситуации каждый герой Щиперского решает для себя проблему сохранения ощущения собственной — внутренней — правоты. Характерно, что он мучается над этим вопросом не только в оккупированной немцами Варшаве, оказавшись в экстремальной экзистенциальной ситуации, но и *после* войны, потому что потребность в таком ощущении является одной из опор личности.

Но это и одна из болевых точек современного сознания. Характерно, что значимый в этом отношении эпизод финала романа отчасти перекликается с проблематикой второй части трилогии писателя другого языка, другой литературы, другой традиции — Эли Визеля «Рассвет» (1960, также недавно появившегося на русском языке), где отношения «палач-жертва» рассматриваются автором, исходя из конкретных исторических обстоятельств. Люди, испытавшие участь жертв, чудом выжившие в нацистских лагерях уничтожения и добравшиеся до Палестины, убеждены: они должны сами убивать, чтобы геноцид не повторился. Герой Визеля, переживший Освенцим, страдает (после первого террористического акта Элиша «посмотрел на себя из своего прошлого. И увидел себя в форме — в темно-серой форме СС» [3]), но его выбор сделан.

Эта тема возникает в «Начале...» в связи с судьбой эмигрировавшей в Израиль Йоаси (Мириам). Увидев однажды *евреев с автоматами, евреев-победителей*, она переживает момент «дикой крикливой радости, как если бы что-то, наконец, исполнилось, нечто ожидаемое тысячелетиями, как если бы свершалась мечта, подавлявшаяся в поколениях Израиля, которая сжигала безмерно измученные тела миллионов евреев Европы и Азии» [4. С. 103]. Но «девушка осознала, в какой бессмыслице участвует, ведь никакой пинок, полученный палестинским фedaином, не сотрет столетий истории и не искупит всех обид» [4. С. 104].

Даже нацист Штуклер и доносчик Бронёк Блютман, хотя и предельно примитивно, решают для себя эту проблему: «В один прекрасный день Штуклер констатировал, что убил многих людей, но он мог, не боясь ошибиться, снова повторить, что так было всегда. И оказался бы прав, ибо так было действительно всегда» [4. С. 93]; «Я ошибки не совершил и буду убит. Как может существовать подобный мир?» [4. С. 87].

В романе XX в. время обрело структурообразующую функцию, нередко становясь главным объектом изображения (а затем — читательского переживания). В сущности, с переживанием времени так или иначе связаны и все жанровые и стилистические новации романа как жанра. Неслучайно — во многом именно благодаря литературе — возникло в XX в. само это понятие «психологического времени» как формы отражения в психике человека системы временных отношений между событиями его жизненного пути и временем физическим.

Пруст утверждал, что в романе не может господствовать одно лишь настоящее, имея в виду дополнительное измерение, привносимое в мир повествования памятью: четкая хронология событий неизбежно рушится, так как техника постоянного воспоминания приводит к тому, что ретроспекция переплетается с настоящим. Этот прием, доведенный до совершенства французским писателем, многократно использовался и в польской прозе. Щиперский же в «Начале...» использует своего рода обратную модель: взгляд повествователя обращен не из настоящего в прошлое, а из настоящего в известное ему будущее.

Фактическое время действия в романе, таким образом, весьма условно. Оно колеблется от нескольких дней оккупации до времени написания «Начала...», так как жизненные линии всех персонажей более или менее конспективно доведены до их смерти, зрелости или старости. Это своего рода многочисленные, рассыпанные по роману эпизоды, рассказанные всезнающим повествователем. Читатель, таким образом, поставлен в ту реальную ситуацию, в которой он действительно находится: это человек конца XX в. Таким образом воплощена в поэтике романа временная дистанция относительно войны.

По словам Бахтина, «перемещение временного центра художественной ориентации, ставящее автора и его читателей, с одной стороны, и изображаемых им героев и мир, с другой стороны, в одну и ту же ценностно-временную плоскость на одном уровне, делающее их современниками, возможными знакомыми, приятелями, фамильяризирующее их отношения, позволяет автору во всех его масках и ликах свободно двигаться в поле изображенного мира» [5].

Читатель же Щиперского находится в одной ценностно-временной плоскости и с героями, и с повествователем, за которым стоит осмысление происходящего с точки зрения его исторического и национального опыта. Возможности сознания читателя и повествователя здесь потенциально совпадают: это взгляд человека конца XX в., но пропущенный через сознание поляка межвоенной и военной эпохи. Так происходит «присваивание» — в форме переживания — чужого опыта и включения его в свой личный опыт. Этот прием несет на себе дополнительную нагрузку: именно так читатель может ощутить, что у человека нет другого мира, кроме его собственного: смерть или гибель всех героев показана «всезнающим повествователем», имеющим доступ к памяти персонажей, изнутри. А внутри в большинстве случаев — все тот же, мало изменившийся человек.

Так воплощается в романе и проблема польского антисемитизма. В «Страстной неделе» Анджеевского, написанной еще во время войны (и принятой потому с удивлением: «Еще не остыл пепел гетто, а он уже писал на эту тему рассказ. Претворял эту страшную действительность в некий организованный, скомпонованный мир. Это, пожалуй, невозможно» [6]), мысль о том, что отношение к евреям немцев и поляков различается лишь в плане методов борьбы, звучит очень четко, но, естественно, лишь как предположение: «Допустим даже, что я продержусь до конца... Нет, люди не изменятся!.. Разве что у них уже не будет права убить меня... Нас еще больше возненавидят, ведь мы будем свободно

ходить по улицам, вернемся в свои жилища, к своим занятиям, обретем свои права» [7].

У Щиперского — в силу действия законов его поэтики — не личное предсказание *персонажа*, а ощущение закономерностей человеческого сознания и *знание* об уже свершившемся, идущее от *повествователя* и объединяющее его с *читателем*: прожившим жизнь в Польше и *выжившим в Польше* людям через два десятилетия после окончания этого ада вновь сказано, что это не их родина: «Но когда она шла в сторону улицы Кошиковой..., то не знала еще; что на протяжении двадцати пяти лет, которым только предстояло наступить, ежедневно будет перешагивать порог здания в аллее Шука, что впоследствии покинет его столь парадоксально комически и жалко, ибо ее еврейство, из-за которого она сегодня чуть было не осталась в этом здании навсегда, явится потом причиной ее ухода оттуда, так же как ее нынешняя польскость, которая помогла ей отсюда уйти, в будущем, несомненно, явилась бы основанием остаться» [4. С. 56].

Действительно, на этот раз им не отказывают в праве вообще ее иметь, но оказывается, что ни у кого нет иного мира, кроме своего собственного: Ирма Зайденман «ощущала Польшу в своем горле как тампон, как кляп» [4. С. 56], а польский немец, бежавший после войны из Польши «из слепого страха перед москалями», перед смертью видит себя на улице Лодзи, окруженного поляками, евреями, немцами. Характерно, что через эту двойную призму видит читатель и проблему «польскости» — и здесь особенно отчетливо видно, что литература представляет собой не столько то или иное отражение действительности, сколько отражение *отношения* человека к ней (Л. Гинзбург) [2].

Роман охватывает весь мир польского национального сознания (и истинную память, и память-маску о ее несвободе и величии), и по-своему, даже концепцию человеческой истории, в которой все повторяется, хотя каждый конкретный человек переживает ее однажды, и сам с собой решает те или иные экзистенциальные вопросы.

Проблема польскости предстает как проблема сохранения достоинства в исторически данном окружении — «здесь был Восток и Запад, Север и Юг. На этой улице татарин бил поклоны, обратившись лицом к Мекке, еврей читал Тору, немец — Лютера, поляк зажигал свечу у подножия алтарей в Ченстохове и Острой Броне. Здесь был центр земли, ось мироздания, нагромождение братства и ненависти, близости и разобщенности, ибо здесь вершились общие судьбы самых чуждых друг другу народов...» [4. С. 24]. Выбранный двойной ракурс не оставляет надежды — все уже свершилось: «без евреев они уже не те поляки, какими были некогда...» [4. С. 25]. «Святая польскость может быть и „антисемитской, антинемецкой, антирусской, античеловечной“» [4. С. 85]. Это и те «польские сказки и легенды, которые много лет назад вколачивала в голову своему ребенку» мать Павла и которые теперь могут обернуться для нее несчастьем: «она не сомневалась, что Павелек... подставляет под удар свою жизнь [4. С. 62]. Это и «несколько неприязненное отношение к евреям» отсутствующего отца Павла, который «несомненно, приходил к Павелку по ночам, во сне, чтобы постоянно твердить ему о долге поляка» [4. С. 62].

Возможно, что смысл заглавия связан не только с финалом романа (рассказывающем о судьбе Йоаси и рождении ее дочери), но и с Павлом, прощающимся со своим школьным другом Генриком, решившим вернуться в гетто: «Возможно ли, что уже тогда он испытал ощущение некоего начала, не конца? Возможно ли, что именно в тот момент, когда фигурка Генрика исчезла у него из глаз, он понял — отныне начинается новая глава, которая будет длиться бесконечно, всю жизнь?» [4. С. 80].

Кончается отрочество, окончательно уходит в прошлое довоенный — межвоенный — мир. Начинаясь мир другой, но снова несвободный: «Куда же подевалась наша свобода, если не можем мы быть самими собой? Куда я подевался, когда пропал?» [4. С. 86]. Оказывается, что «мученичество не есть дворянство, которое

можно унаследовать как герб или поместье. Те, кто жили на костях,.. не были мучениками...» [4. С. 21—22].

Павел доживает до простого времени конфликта, возникающего не под давлением обстоятельств, но потому, что человек по самой своей интеллектуальной сути поставлен перед набором экзистенциальных вопросов и с некоторыми из них вступает в свободный контакт. Проблему «как выжить» снова сменяет вопрос «как жить», а бремя *обстоятельств* — груз *сомнений*: ведь нельзя бесконечно «праздновать тот факт, что человека не убили» [4. С. 81].

Двойное видение определяет смысл мотива насильственного двойничества, которое без этого второго измерения могло так и остаться исторической реальией. Авторское же знание будущей судьбы персонажа придает этой линии экзистенциальный оттенок.

Прошлое еврейских детей, спасаемых Вероникой, — ложь. Для одного из них уже после пережитой опасности многоликость, вросшая в сознание, этот комплекс оборачивается другой крайностью. Возникшую внутри тревогу Владек Грушецкий, он же Артурек Гиршфельд, гасит обращением к некоей национальной маске. Это один из типовых уходов от экзистенциальных затруднений, когда личность не чувствует себя в силах и вправе на личное решение.

В интервью немецкому еженедельнику «Вельт» Анджей Щиперский на вопрос «Неужели смысл нашей жизни в оказании сопротивления?» ответил: «Думаю, что так. Мы живем пока боремся. Перестав бороться, нужно умирать. Ну, скажем, не «нужно», а «следовало бы». Заканчивая свою книгу «Сатана в могиле», я еще думал, что главная борьба, которая нам предстоит, — против тоталитаризма. Этой фантазмагорической болезни XX в. Ничего похожего прежде мировая история не знала. /.../ Но теперь, когда тоталитаризм побежден, я понял, что бороться не пересташь никогда. А, в конечном счете, приходится сражаться против самих себя. /.../ Самая большая угроза человечеству — злой дух, сидящий в нас самих» [8].

Польский роман «Начало, или Прекрасная пани Зайденман», имеющий свою прочную национальную традицию, стал бестселлером в Европе, видимо, именно потому, что своим пафосом и строем возвращает сегодня человеку, чьи личные свойства безжалостно «перетирал» тоталитарный XX в. (что и зафиксировала европейская литература, отказываясь зачастую от категории характера), природное право на ощущение себя как самоценной личности, опытом истории обязанной жить по законам внеличных ценностей.

Это, очевидно, и есть тот «общий знаменатель», к которому можно привести конкретный и глубоко личный процесс общения каждого читателя с текстом.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барт Р. Критика и истина // Р. Барт. Избранные работы. М., 1994. С. 356.
2. Гинзбург Л. Претворение опыта. Л., 1991. С. 122.
3. Визель Эли. Ночь. Рассвет. День. М., 1993. С. 111.
4. Щиперский А. Начало, или Прекрасная пани Зайденман // Иностранная литература. 1992. № 2.
5. Бахтин М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 414.
6. Iwazkiewicz L. Notatki 1939—1945. Warszawa, 1991. S. 89—90.
7. Анджеевский Е. Страстная неделя // Е. Анджеевский. Сочинения в 2-х т. М., 1990. Т. 1. С. 442.
8. Интервью с А. Щиперским // Литературная газета. 23 февраля 1994. № 8. С. 12.



© 1995 г. МЫШКО Д.

## «АНТИФИНАЛЬНАЯ» ПОЗИЦИЯ С. ЛЕМА В НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИХ РОМАНАХ 60—80-х ГОДОВ (к проблеме типологии фабулы)

Имеющий место в научной фантастике С. Лема факт отказа от фабулы в ее традиционном понимании, от «снабжения» произведения финалом уже неоднократно комментировался в научной литературе. Е. Яжембский пользуется понятием «открытости — закрытости» фабулы [1], А. Стофф применяет определение «многозначности фабульной ситуации» [2], Д. Сувин акцентирует внимание на открытом характере проблемы, что и определяет особый характер фабулы [3]. Поэтому наступило время воспринимать этот факт как некую закономерность общего характера, как правило, как то, что делает фантастику С. Лема «лемовской».

Подобное «отречение» от финального завершения произведения — это показатель особой мировоззренческой позиции автора — твердой убежденности С. Лема в неоднозначности и невероятной сложности мира, в котором не наука и техника, и даже не человек играют главенствующую роль, а скорее случайность, становящаяся закономерностью. Позицию автора характеризует также утверждение о невозможности получения полной правды, какие бы усилия при этом не затрачивались. Это — следствие склонности автора к научным концепциям и способам мышления. Поэтому так часто писатель забывает о фабульных авантюрах с тем, чтобы представить и рассмотреть серьезные проблемы (этикосфера в романе «Осмотр места происшествия», моделирование образа Других в «Голосе Неба»), и тогда возникает убеждение, что именно подобные вопросы по-настоящему волнуют писателя, а фабула — кто знает? — является лишь предлогом.

Отмеченная выше закономерность связана и с пониманием писателем задач и функций научной фантастики. Не претендуя ни на спасение мира, ни на предсказание будущего, научная фантастика, по убеждению С. Лема, призвана прежде всего расширить интеллектуальный горизонт читателей, а не прельщать их «картинами усовершенствованного технологического рая и пугать их тысячами воображаемых форм техногенного Апокалипсиса цивилизации» [4]. Отсюда, пожалуй, и особая позиция С. Лема по отношению к фабуле. Ее «родословная» в известной степени связана с отношением С. Лема к литературной традиции вообще и научной фантастики, в частности. Пока творчество писателя соответствовало общей направленности литературы и не выходило за рамки литературной программы («Астронавты», 1951; «Магелланово облако», 1955), он мог в новой художественной действительности создавать все новые фабульные ситуации, но как только С. Лем отклонился от стереотипа научной фантастики, понимаемой как утопия или развлечение, и обратился к таким сферам новой действительности,

в которых становятся непригодными человеческие категории логики, разума и ценностей («Дневник, найденный в ванне», 1961, «Голос Неба», 1968 и др.), фабула оказывается и деформированной и атрофированной.

В понимании причин отказа С. Лема от фабулы следует учесть и постоянно присутствующее в его писательской практике стремление к эксперименту. А что, если художественную действительность поместить в нефабульную ситуацию (например, интеллектуальные размышления), какие возможности это открывает? Но более важными оказываются причины не столько художественного или субъективно-психологического порядка, сколько философского. В этом отношении «антифинальную» позицию С. Лема можно объяснять его пониманием и отношением к природе, эволюции, человеку. Моделирование процессов в таком ракурсе, который интересует С. Лема (познание и правда), не может быть завершено в рамках законченной человеческой экзистенции. Кроме того, история эволюции мира и человека — это не «фабула». Такую эволюцию можно рассмотреть лишь через призму философской повести в стиле Вольтера: Следствием этого является частичная фабула, вместо нее — обилие отступлений, рассуждений. Это помогает, как верно заметил А. Стофф применительно к роману «Голос Неба», «избежать наивных решений, которые могли бы ослабить выразительность представленной проблемы, сгладить философские нюансы, определяющие ценность и важность того, о чем хотел сказать автор» [5]. Основным материалом многих романов становится мысль, которая чаще всего не находит своего фабульного завершения, она гораздо шире его.

Характеризуя в «Фантастике и футурологии» (1970) три возможные разновидности научной фантастики, С. Лем замечает, что третий тип (иллюстрацией которого является идея о Новой Космогонии) требует принципиальной модификации традиционных фабульных структур: «Намерение „переведения на язык литературы“ третьего концепта оказывается невозможным — во всяком случае до тех пор, пока обязательными являются традиционные структуры фабулы... „Приключения мысли“ людей, создавших Новую Космогонию, не уместятся в границах традиционного развития действия... Не может быть и речи об общественно-идеологическом фоне, намерение это должно быть связано с историей приключения определенной идеи. Следовательно, здесь нужна совсем иная структура фабулы...» [6].

Следует отметить и еще одну, достаточно важную причину кризиса фабулы. Истоки ее надо искать в системе взглядов писателя на будущее человечества. В этом вопросе, как, впрочем, и во многих других, С. Лем стоит на позициях пессимизма, отвергая антропоморфизм и антропоцентризм человеческого мышления. Е. Яжембский, оговаривая этот момент и предлагая видеть в фабуле научно-фантастического романа реализацию модели: равновесие — потеря равновесия — равновесие, замечает, что С. Лем не верит в осуществление третьего звена этого уравнения. Герои С. Лема, стоящие перед проблемами познания, останавливаются в ситуации максимальной потери равновесия, т. е. там, где разрешение поставленных проблем «требовало бы перехода в сферу нечеловеческого, иной онтологии и аксиологии» [1. S. 138]. В возможности разрешения проблем писатель, пожалуй, не сомневается, естественно, при соблюдении определенных условий, но в рамках фабульного произведения данные проблемы уже не могут быть разрешены. Это требовало бы разрыва связей между художественной действительностью, в которой действие начинается, и той, в которой оно заканчивается. Результатом такого разрыва явился бы «побег» произведения из-под власти и контроля писателя (такая модель произведения пока остается теоретической возможностью, хотя уже частично реализованной в «Големе XIV»).

Подобный эксперимент с научной фантастикой привел С. Лема в такую сферу, где литература, понимаемая как искусство рассказывания историй, становится невозможной. Она превращается в металитературу или эссеистику, имеющую только зачатки или остатки фабулы. Писатель любит «предавать» художественную литературу, об этом писала еще в 1971 г. М. Шпаковская [7].

Однако окончательный отход от литературы С. Лему никогда не удался, писатель стал работать как бы на пограничье литературы и эссе. Литература помогает сохранить две интересующие писателя перспективы: трагедию познания, которой сопутствуют сильные эмоции, но благодаря им оценивается новое знание. А эссеистика оказывает влияние на форму произведения.

Но писатель, вероятнее всего, все же осознает опасность такого положения вещей, к которому привели его эксперименты, и его последние романы («Фиаско», «Мир на Земле») имеют хорошо развитую, полную неожиданных приключений фабулу «закрытого» типа. Особенность данной фабулы следует усматривать в жанровой разновидности романов. Это романы приключенческого характера, лишенные философского подтекста, хотя с очень важной моральной проблематикой. Из раннего творчества к данной разновидности можно отнести «Эдем», 1959; «Непобедимый», 1964; «Рассказы о пилоте Пирксе», 1968; «Сказки роботов», 1964; «Кибериаду», 1965. Характерной чертой таких произведений является однозначный финал, логически вытекающий из хода действия, когда все проблемы решены, а все главные мотивы нашли свое завершение. Эти произведения реализуют идеальную традиционную конструкцию художественного произведения, где каждый фабульный элемент имеет свое место и порядок. Финалом становится конец испытаний, выпавших на долю главных героев.

Второй тип финала определяется как «открытый». Им наделены произведения, в которых писатель заглядывает в будущее не для того, чтобы посмотреть, что там ждет человечество, а для того, чтобы разгадать тайны Жизни и Будущего, именно тогда научная фантастика «из интеллектуального упражнения превращается... в определение путей развития цивилизации, человечества, разума» [1. S. 133]. «Открытая» фабула либо растворяется в неопределенности («Расследование», 1959), либо имеет иллюзорное «закрытие» действия («Насморк», «Маска», 1974). «Открытые» — это научно-фантастические романы, в центре которых находится проблема познания («Дневник, найденный в ванне», 1961; «Голем XIV», 1981; «Осмотр места происшествия», 1982 и др.). Интересно заметить, что «открытость» фабулы непосредственно связана с использованием философских элементов, первым философским романом считается «Расследование», и он же первый из романов, лишенных финала, понимаемого как логическое завершение действия.

В качестве образца романа с «открытой» фабулой выберем «Голос Неба», прежде всего исходя из того, что он лежит в русле научной фантастики (для сравнения вспомним «Расследование» или «Насморк»). «Голос Неба» — это одна из наиболее философских книг С. Лема, повествующая о судьбах технической интеллигенции в современном мире, «из всех наиболее абстрактна в представлении проблем, эта книга приводит научную фантастику на дорогу философской рефлексии, для которой чуждым становится не только назойливая иллюстрация событий, но и всякое беспокойство о фабуле» [8]. Это роман о познании, уложенный в рамки интеллектуального дневника профессора математики Петра Хогарта, одного из участников научного проекта по изучению «звездного письма». Тайнственные сигналы так и остались нерасшифрованными, а проект закрыли. Осталась лишь интеллектуальная биография автора дневника. Фабула этого произведения имеет два мотива. Один из них, гуманистический, это история жизни человека, который назвал ее «историей муравья». Второй мотив, познавательный, связан с разгадкой тайны «звездного письма» и определяет фабульное развитие событий. Каждый из этих мотивов не находит своего фабульного завершения.

28 биографий, написанных разными авторами о Хогарте, были незавершенными. 29-я, которую пишет сам Хогарт, тоже оказалась незавершенной, и вряд ли может быть иной, ибо дневник Хогарта — это дневник мысли, не жизни. В самой фабуле есть указание на то, что дневник, повествующий об интеллектуальной эволюции героя, не имеет окончания: «... труд не окончен, поскольку нет у него названия» [9]. Так и история отдельной жизни не имеет названия.



Проблема познания связана в романе с мотивом круга, который символизирует вечность данного процесса. «Наша мысль движется как бы в круге» [9. С. 44], — замечает рассказчик, а познавательные усилия человека — это «последовательность, граница которой — бесконечность» [9. С. 49]. Таким образом, по кругу движется процесс познания, а понятие круг чаще всего ассоциируется с тем, что не имеет конечного пункта. Восприятие проблемы познания в таких категориях способствует отсутствию финального завершения проблемы.

Эпистемологическая ситуация в романе выражена словами *ignotamus et ignotabimus*, которые есть убеждение в конечной непознаваемости мира, в примате Тайны над Познанием, они являются связующим звеном между фабулой и вписанным в нее философским обобщением, поскольку подобное состояние дел, с точки зрения С. Лема, — естественный элемент человеческого существования.

И, безусловно, следует обратиться к роману «Солярис» (1961) как к самой большой удаче писателя. Этот роман относят к произведениям с двумя финалами, «в зависимости от того, что принимается в качестве исходного мотива, его можно трактовать либо как произведение «закрытое» (любовный мотив), либо как «открытое» (мотив познания)» [1. С. 134]. Сомнения возникают в связи с определением — в качестве самостоятельной части фабулы — любовной истории Кельвина и «новой» Хэри. Достаточно мельком взглянуть на романы С. Лема, чтобы убедиться, что нигде в его научной фантастике не встречается «личных» тем. Вряд ли писатель в данном случае решил изменить самому себе. И достаточно внимательно вчитаться в текст романа, чтобы убедиться, что история Криса и Хэри в сути своей — фрагмент истории не жизни Криса, а истории соляристики и попыток установления контакта с мыслящим Океаном. Хэри — продукт каприза или эксперимента планеты по материализации воспоминаний Кельвина, а якобы возродившаяся в душе героя любовь — иллюзия, которую понимает и сам герой, он ведь так никогда и не избавился от чувства двойственности по отношению к «космической» Хэри, так и не поверил окончательно в ее реальность. Даже приписывая Океану способность творения и соглашаясь с этой возможностью, Кельвин в глубине души все же сомневается. «Теперь я был совершенно убежден: это не Хэри. И почти уверен: она сама об этом не знает» [10. С. 62] или «порой мне начинало казаться, что это не Хэри...» [10. С. 63]. Поэтому вряд ли можно определить этапы развития чувств Криса или исследовать «психологическую эволюцию Хэри». Ведь нет уверенности в том, что умный Океан не написал сценарий, по которому вынудил поступать людей. При такой возможности их чувства выглядят искусственными, либо они запрограммированы.

Хэри — символическая фигура, олицетворяющая и прошлое Кельвина, и его воспоминания, это укор совести героя, это и попытка оправдать себя, исправив совершенную однажды ошибку, чтобы не нести ответственности и за «космическую» Хэри. Не для этого ли герой делает все, чтобы уберечь и оставить в «живых» новую Хэри?

Историю «любви» Криса и Хэри можно трактовать и как попытку установления контакта. Хэри может явиться «мини-Океаном» в стенах космической станции, это та часть Океана, которая непосредственно пришла к людям. И тогда Хэри воспринимается, как и Океан, как явление чуждое и загадочное, как символ космической тайны, а не возродившейся любви. Безусловно, как отмечает критик, любовная история «придает повести особое тепло и непосредственность» [3. С. 80], но автор преследует все же не эту цель. По его мнению, повесть через свою фабулу передает открытую и динамичную правду, которая касается прежде всего человека, предпринявшего попытку установить контакт с иной цивилизацией.

Проблема познания и ее фабульное неразрешение характеризуют этот роман как «открытый». Открытыми остаются все вопросы, связанные с попыткой изучения планеты. Что обозначают явления этой цивилизации? Имеет ли смысл деятельность Океана? Зачем все это? Эти вопросы носят антропоморфный характер, становятся попыткой поиска мотивов там, где их нет и быть, наверное, не

может. Где нет человека, там нет и доступных ему мотивов. «Явления Океана ничего не обозначают, потому что в нем ничто не является «опредмечиванием» человеческих ценностей».

В романе ученые героически пытаются исключить из своего научного арсенала антропоморфизм и антропоцентризм, но тем не менее не могут описать планету, не используя земные понятия. Других путей познания, кроме как выработанных и сформированных на Земле, у ученых просто нет. И когда оказывается невозможным перешагнуть определенные границы человеческого познания, изучение Космоса сменяется религиозным поиском «Контакта», мистическим союзом с божественной Интеллигенцией, которая могла бы определить цель «миссии Человека» во Вселенной. При такой интерпретации роман надо характеризовать как «открытый».

Герой «Расследования» заканчивает свое существование на страницах романа обещанием прийти завтра и, наверное, начать все сначала, но, возможно, по-новому. Кельвин остается до долгого завтра, чтобы еще раз пройти по тому же пути, но пройти иначе. Но путь того и другого героя не окончен, потому что нет конечного пункта на пути познания.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Jarzębski J.* Stanisława Lema podróż do kresu fabuły//Spór o SF: Antologia szkiców i esejów o science fiction. Poznań, 1989.
2. *Stoff A.* Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema. Warszawa, 1983.
3. *Suwini D.* Trzy paradygmaty świata Science Fiction: Asimov, Jefremow, Lem//Lem w oczach krytyki światowej. Kraków, 1989.
4. Heba. 1987. № 7.
5. *Stoff A.* Lev i inni. Szkice o polskiej science fiction. Bydgoszcz, 1990. S. 74.
6. *Lem S.* Fantastyka i futurologia. Kraków, 1970. T. 2. S. 411.
7. *Szapowska M.* Ucieczka Stanisława Lema//Teksty. 1972. № 3.
8. *Stoff A.* Stanisława Lema dialog z czytelnikiem//Dialog w literaturze. Warszawa, 1978. S. 174.
9. *Lem S.* Głos Pana. Warszawa, 1970. S. 46.
10. *Лем С.* Солярис//Магелланово облако/Пер. с польского Г. Гудимовой и В. Перельман. М., 1987. С. 62.



© 1995 г. ХОРЕВ В.

## ПОД ЗНАКОМ ЭССЕИЗМА

Интенсивные художественные поиски, которые начались в польской литературе с 1956 г., после освобождения творческой мысли от пут сталинизма, были связаны в первую очередь с расцветом жанров «рефлексивной» прозы — эссе, дневник, автобиография, воспоминания, фельетон и др. Интерес писателей к этим жанрам был вызван необходимостью осмыслить с личностных позиций кардинальные морально-философские вопросы: этика и политика, историческая и социальная обусловленность личности, каноны и стереотипы мышления, перспективы развития цивилизации и т. д., а также необходимостью пересмотра и обновления художественных средств для освоения этой проблематики на новом этапе, ибо эти не столь уж новые проблемы на каждом этапе развития общества решаются литературой по-новому — и по существу, и по форме. Параллелетристические жанры предоставляли для этого прекрасные возможности.

В первую очередь это относится к эссе. Эта гибкая и многообразная литературная форма, в которой рассмотрение каких-либо проблем сопряжено с личным переживанием и личным опытом автора, позволяет в свободной манере обсуждать и оценивать общезначимые темы из духовной жизни своего времени.

Мне уже приходилось писать об исключительно богатой и разнообразной по содержанию и художественно-стилистическим приемам польской эссеистике конца 50—60-х годов [1]. 70—80-е годы характеризуются ее дальнейшим расцветом. Нельзя не согласиться с польским ученым Мартой Выкой, которая писала в 1991 г.: «Сегодня не подлежит сомнению, как для исследователей, так и для рядового читателя, что эссеистская форма захватывает современную литературу. Она экспансивна, привлекательна и в то же время не стесняет автора, не ставит перед ним ригористических условий, делает возможными сжатость мысли и гипотетичность высказывания, не требуя ее развития» [2]. М. Выка отмечает, что в 80-е годы эссе достигает «апогея читательской популярности» и все чаще замещает собой роман.

Еще в 70-е годы многим исследователям казалось, что эссеистика — лишь своеобразный опытный полигон для обкатки тех или иных интеллектуальных моделей мира, которые воплотятся затем в различных повествовательных жанрах. Соотношение между эссе и рассказом, повестью, романом действительно прослеживается в творчестве многих писателей.

Выдающийся польский литературовед Казимеж Выка еще в 1947 г. сравнивал эссе с разведкой на войне. «Его посылают, — писал Выка, — чтобы он изучал местность, произвел наблюдения, позволяющие командованию принять решение и отдать приказ ... В иерархии литературных жанров эссе исследует территорию,

Хорев Виктор Александрович — д-р филол. наук, зам. директора Института славяноведения и балканистики РАН.

подготавливая действие более тяжелых родов литературных сил» [3]. Правда, Выка отмечал, что эссе самому «много раз случалось эту территорию завоевывать. Много раз его первое озарение и вопросы значили больше, чем очищенный им от неприятеля, проторенный им путь, по которому спокойно катятся обозы» [3].

Бурное развитие в 60—80-е годы в Польше эссеистики и близких к ней жанров литературы факта (мемуаров, дневников, автобиографий, художественного очерка и репортажа, фельетона и др.) показало, что эти формы не вспомогательные по отношению к традиционным повествовательным жанрам рассказа, повести и романа, что они не только выдерживают конкурентную борьбу с ними, но и побеждают в ней. В эссе и близких к нему формах обнаруживается скрытая эстетическая энергия жизненного факта, характера и поведения конкретного лица, его суждений о себе и окружающем мире. В них отражается социальная психология различных слоев общества, выражается правда о человеке и его времени, раскрывается личность автора, предлагающего определенный способ понимания самого себя, других людей, культурного наследия, окружающего мира. Разумеется, далеко не все произведения, претендующие на роль эссе, являются таковыми. Решающим здесь становится личностное начало, эрудиция автора, интенсивное чувство перемен, совершающихся в мире и культуре.

«Скрытый роман» — так определил Томаш Бурек разнообразие бесфабульных повествовательных форм, для которых характерно раскрытие важных, значительных не только для автора фактов личной и общественной жизни, часто приобретающих символическое значение, умение показать связь человеческих судеб с историей.

Для того чтобы определить черты польской эссеистики последнего двадцатилетия, следует сказать несколько слов о литературном процессе в эти годы вообще. С одной стороны, в 70—80-е годы в литературе продолжают тенденции, импульсами для которых послужили события октября 1956 г. и марта 1968 г. После 1956 г. расширяются контакты писателей с мировой литературой XX в., происходит их обращение к совокупности национальных литературных традиций, исторической необходимости противопоставляется ценность и неповторимость личности, отвоевывается право на художественный эксперимент.

Ужесточение контроля со стороны партийно-правительственного руководства над культурной жизнью страны в 60-е годы, приведшие к событиям марта 1968 г., лишь способствовало оформлению интеллигентской оппозиции тоталитарно-бюрократическому режиму. В литературе на повестку дня остро встал вопрос о ее чувстве современности, о ее правдивости и моральной восприимчивости. О преемственности этих традиций в литературе 70—80-х годов говорит, в частности, то, что главные произведения, как и в 60-е годы, в этот период были созданы известными писателями — Е. Анджеевским, Т. Конвицким, А. Кусьневичем, М. Бялошевским, Вл. Терлецким, Я. Ивашкевичем, Т. Ружевицем, Зб. Хербертом, Я. М. Рымкевичем и т. д.

В то же время примечательной новостью в литературе, начиная с 1981 г., стала так называемая «литература военного положения» (поэзия, проза, эссеистика), хотя в ней и не было сколько-нибудь значительных произведений. В рамках своего рода антисоциалистического реализма появились лишь изданные нелегально или за рубежом политические однодневки, выдержанные в поэтике памфлета. В свою очередь, в произведениях так называемой «горячей прозы» (о современных политических событиях), изданных в официальных издательствах, менялся лишь адресат памфлета и краски. По остроумному замечанию А. Сандауэра, «лак может быть и красного, и черного цвета».

Принципиально новым, однако, явилась в эти годы организация КОРОМ («Комитет защиты рабочих»), начиная с 1976 г., так называемого «второго круга обращения» литературы, т. е. распространение нелегального «самиздата» и «тамиздата» авторов, живущих в Польше, а также писателей-эмигрантов. Уже в 1976—1977 гг. появляется несколько нелегальных журналов, в том числе общественно-художественных («Запис», «Пульс», «Индекс» и др.). На нелегальном

книжном рынке в 1977—1989 гг. появилось около 4,5 тыс. книг и брошюр, тиражом от 1 до 7 тыс. экземпляров [4]. К тому же и в официальных издательствах цензурные ограничения не были столь жесткими, как прежде.

Мощным потоком хлынули тогда в Польшу произведения писателей-эмигрантов и обрели в ней свою вторую жизнь. И хотя многие из них были написаны в 50—60-е годы,— фактом литературного сознания в Польшу они стали лишь в последние пятнадцать лет. Лишь в 80-е годы «всеобщим» читательским достоянием стали произведения Милоша, Херлинга-Грудзиньского, Гомбровича, Винценца, Стемковского, Тырманда, Чапского, Вата и многих-многих других. Именно тогда эмигрантская литература как целое стала одной из важнейших составляющих польской литературы. Произошел, по определению немецкого полониста В. Косьного, эффект «одновременности неодновременного» [5], который еще предстоит изучить.

Но уже сейчас можно утверждать, что с эмигрантской литературой связан новый расцвет литературной эссеистики в Польше. В 70—80-е годы в Польше появились в полном объеме шедевры парабеллетристики — эссе, дневники, воспоминания писателей эмиграции: Витольд Гомбрович — «Дневник (1953—1966)»; Густав Херлинг Грудзинский — «Иной мир» (1953), «Дневник, написанный ночью» (1971—1988); Чеслав Милош — «Порабощенный разум» (1953), «Родимая Европа. Автобиография» (1959), «Видение над заливом Сан-Франциско» (1969), «Земля Ульро» (1977); Александр Ват — «Мой век» (1977); Юзеф Чапский — «Суматоха и призраки» (1981); Леопольд Тырманд — «Дневник 1954» (1980); Ежи Стемповский — «От Бердичева до Рима» (1971); Константин Еленьский — «Совпадение обстоятельств» (1982) и многих других.

Эти произведения показали колоссальные художественные и познавательные возможности эссеистики и стимулировали ее дальнейшее развитие в Польше. Разумеется, здесь невозможно хотя бы вкратце осветить все многообразие этих произведений. Отмечу лишь, что одним из несомненных их достоинств явился взгляд на польские проблемы с определенной дистанции. Польские комплексы и стереотипы рассмотрены в них на широком, прежде всего общеевропейском, историко-культурном фоне, увидены как бы отраженными в зеркале иных культур.

Важной чертой этой эссеистики, сближающей ее, впрочем, с авторами в самой Польше, является стремление к интеллектуальному раскрепощению человека, который испытывает постоянное давление политических мифов и коллективных эмоций, к пробуждению собственного «я» в частице толпы, оболваненной пропагандой, лишенной индивидуального существования. Вот лишь один пример. Обращаясь к тем писателям, которые «живут одной лишь проблемой — коммунизм», В. Гомбрович писал в «Дневнике»: «Кому вы хотите служить? Личности или массе? Если коммунизм это нечто такое, что подчиняет человека коллективу, то самым действенным способом борьбы против коммунизма является усиление личности в противоположность массе... Серьезное искусство либо останется навсегда тем, чем было испокон веку, т. е. голосом личности, выразителем человека в единственном числе, либо исчезнет. В этом смысле одна страница Монтеня, одно стихотворение Верлена, одно предложение Пруста более «антикоммунистичны», чем тот хор обвинителей, который вы из себя составили, ибо они свободны — они освобождают» [6].

К жанру эссе обратились в 70—80-е годы крупнейшие писатели в самой Польше. Мария Кунцевич, например, писала: «Да, я люблю этот жанр. Мне кажется, что пристрастие к эссеистике является определенным показателем современного вкуса читателей и склонностей авторов» [7]. Я. Ивашкевич так определил характер своей литературной эссеистики: «Эта деятельная жизнь, которая воплотилась в моих заметках, симптоматична для нашей действительности. Она, несомненно, является неким интеллектуальным отражением жизни, движения» [8].

Без особого преувеличения можно сказать, что важнейшие художественные достижения в польской прозе связаны с парабеллетристическими жанрами —

эссе, автобиография, дневник и т. д., границы между которыми трудноуловимы. Надо иметь в виду и частое взаимопроникновение элементов различных прозаических жанров, сочетание сюжетной прозы и эссе не только во всем творчестве того или иного писателя, но и в одном его произведении.

Такое стирание границ между рассказом и эссе характерно, например, для творчества К. Брандыса, начиная еще с 60-х годов, с книг «Письма к пани Зет. Воспоминания о современности» (1958—1961), «Джокер» (1966), «Рынок» (1968). Эта линия была продолжена писателем и в последующих книгах — «Замысел» (1974), «Недействительность» (1978), в меньшей мере — в нескольких томах продолжающегося дневника — эссе «Месяцы», где запечатлены размышления писателя о политических и культурных событиях с конца 70-х годов.

Дневник писателя является несущей конструкцией романа Е. Анджеевского «Месиво» (издан в 1979 г. в подпольном издательстве «Нова»). Важным документом эпохи являются и книги-дневники писателя «Изо дня в день. Литературный дневник 1972—1979» (книжное издание 1988), «Игра с тенью» (1987).

Размышлениями о судьбах своего поколения пронизаны рассказы автобиографического характера Игора Неверли «Остатки пиршества богов» (1986, «Нова»).

Автобиография положена в основу и других наиболее значительных эссеистских произведений, опубликованных в 70—80-е годы: Тадеуша Ружевича «Приготовление к авторскому вечеру» (1971), Мирона Бялошевского «Доносы действительности» (1973), «Рассып» (1980); Марии Кунцевич «Диапозитивы» (1985), Анджея Кусьневича «Смесь нравов» (1986), Адольфа Рудницкого «Краковское Предместье на десерт» (1986), своего рода трилогию Тадеуша Конвицкого «Календарь и клепсидра» (1976), «Восходы и заходы луны» (1982), «Новый Свят и окрестности» (1986) и др.

Весьма характерное для эссеистики этих лет обращение писателей к автобиографии вряд ли можно объяснить только модой или «усталостью от фабулы» (такое объяснение можно встретить у литературных критиков). Скорее всего дело в поисках писателями новых оснований для развития литературы, которые они находили в укорененности своих произведений в собственной биографии, часто весьма подретушированной, нередко с вымышленными эпизодами — ради достижения ее символического смысла (и своеобразной игры с читателем). Польские исследователи определяют это направление в эссеистике, как «сильвичское» — от латинского *silva gatum* (дословно: лес вещей), восходящее к старопольским семейным книгам, в которые время от времени записывались домашние события, расходы, заметки о соседях, природе и др. [9]. Современные «сильвы» ускользают от точных жанровых определений, они существуют в гибридных, дезинтегрированных формах, в них подчеркнут скорее процесс написания, а не его итоги, в них переплетаются высокое и мелочное, надежды и сомнения, предчувствия и прогнозы, правда и выдумка — в целом создающие индивидуальную форму отношений человека с миром.

Примером такого «сильвического» произведения может быть упомянутая эссеистская трилогия Т. Конвицкого. О своих намерениях писатель говорил так: «Теперь имеется большой спрос на литературу факта. Для моего творчества также фактом являюсь я сам, и в то же время оно в целом является формой бегства. Бегства в конструкцию, в абстрагированный мир. При всем том я страшный обманщик. Я лишь притворяюсь, что я — этот «факт», поскольку спрос на факт висит в воздухе» [10]. Конвицкий родился в 1926 г. в Новой Вилейке, учился в Вильнюсской гимназии, в 1944—1945 гг. был в партизанском отряде Армии Крайовой, действовавшем на территории Виленщины и Белоруссии. Эти жизненные обстоятельства во многом определили тип его художественного сознания, сформировавшегося как на стыке разноликих национальных языков и соответствующих им национальных образов мира, так и на стыке времен: безвозвратно уходящего в прошлое быта польских «кресов» (бывших восточных окраин Польши) и наступления нового их бытия в составе советских республик.

Этнический, религиозный, культурный конгломерат региона стал для Кон-

вицкого «малой родиной», воспоминания о которой образуют магнетическое ядро многих, если не большинства, его произведений. Эти произведения, и в первую очередь, эссеистические, характеризует, по словам самого писателя, «настойчивый поиск смысла в собственной биографии, поиск гармонии, порядка» [11]. А структурная особенность художественного мира Конвицкого — самоповторение. В разных своих произведениях писатель создает варианты одной и той же биографии, символической биографии своего поколения, утратившего идиллическую Аркадию детства. При этом он подчеркивает заурядность своей биографии. Конвицкий называет себя в первые послевоенные годы «темным литвином». «Еще недавно я хотел обязательно умереть за родину, еще недавно бродил я по белорусским пушам с винтовкой в руке, а точнее на спине, еще недавно мир кончался для меня на другом берегу Немана» [12. S. 21], — писал он в «лже-дневнике» (по определению писателя) «Календарь и клепсида».

Виленица — родина Конвицкого — стала в его творчестве архетипом, символом, исходным пунктом оценки современного мира. «Почти во всех своих романах я описываю один и тот же пейзаж, одно и то же место. Я делаю это сознательно, и это доставляет мне удовольствие/.../. Это для меня своеобразная магия» [11. S. 253].

Магическим светом озарен у Конвицкого не только пейзаж его малой родины, но быт и характер людей литовско-белорусского пограничья. Этот добрый и безопасный мир, увы, навсегда утрачен и ностальгически недостижим, но он органически входит в творчество писателя, помогает решать главную проблему этого творчества (особенно после 1956 г.) — тяготение над сознанием и жизнью современных людей жестокого опыта военных лет, прежде всего того, который был уделом молодежи Армии Крайовой на бывших кресах Польши, молодежи, дезориентированной ходом истории, вошедшей в жизнь с чувством личного поражения. К этому присоединяется чувство враждебности современной польской жизни, лишенной подлинной свободы, воспринимаемой в полусне, в гротескной оболочке, противополоственной чувственно-конкретным картинам прошлого, которые наполнены символическими значениями.

Прошлое, молодость — вот куда устремляются физически, мыслью и мечтой писатель и его герои — в мир, в котором, кажется, существовали еще общепринятые нормы морали, человечности, справедливости. Помещенные в иное пространство герои Конвицкого, как и он сам, теряют точку опоры, теряют свою этническую и культурную тождественность.

Аркадия, какой является для писателя его малая родина — регион, давший огромный вклад в польскую культуру, утрачен безвозвратно. Речь идет у Конвицкого не столько о политической утрате, сколько об исчерпанности культурных и этических ценностей, о чем писатель непрестанно размышляет в своих произведениях. Утрата страны детства стала для него источником поэтического мифа идеальной родины, а также (как в дневнике «Восходы и заходы луны») основой для русофобии: «Поляки дольше всех бьются с дьявольским русским империализмом. Поляки извечно приговорены Москвой и православием к государственной и национальной смерти» [13].

На примере автобиографической эссеистики Конвицкого хорошо просматривается такая важная структурная особенность современного польского эссе, как его подчеркнутая обращенность к адресату, к читателю — в жанровых формах дневника, письма, диалога. А также поставленная автором задача «разыгрывания» в тексте подлинных или вымышленных фактов своей биографии и воспоминаний о них, которая в современной литературе, по наблюдению В. Н. Топорова, «необычайно стимулировала расширение возможностей художественной литературы, сам круг доступного ей, и привела к открытию того, что было названо *память сердца*» [14].

Польский исследователь Малгожата Черминьская установила, что поворот польской автобиографистики от ранее присущих ей форм «свидетельства» и «интроспекции» к игре с читателем, к вызову, брошенному читателю, впервые

осуществлен в «Дневнике» В. Гомбровича, который в сущности являет собой «растянутое на десятилетия письмо, обращенное к современникам и потомкам» [15]. «Вызов», по мнению М. Черминьской, отличается от «свидетельства» и «интроспекции» прежде всего тем, что вместо соотношения «я — мир» или «я—я» ставит на первый план соотношение «я—ты».

Разумеется, мысль об адресате всегда присутствовала в эссеистике; нередко в ней появлялось и прямое обращение к адресату. Однако Гомбрович был первым писателем (во всяком случае в польской литературе), который принципиально ввел адресата в структуру текста.

Стратегия игры с читателем, допускающая мистификации и провокации, осуществленная Гомбровичем в «Дневнике», оказала влияние на многих польских авторов. Это относится к прижизненным изданиям (чего раньше не было) дневников Конвицкого, Анджеевского, Херлинг-Грудзиньского, К. Брандыса и других писателей. Стремление к соучастию в процессе авторских размышлений читателя привело не только к возрождению «сильвических» форм, но и к смене традиционного адресата эссеистики: в ней произошел поворот от элитарного читателя к рядовому. «Я целиком из вас»,— писал Конвицкий в «Календаре и клепсидре», обращаясь к читателям [12. S. 148]. «Я похож на всех вас, умных и глупых, великих и малых, святых и грешников»,— продолжал он в «Новом Свете и околицах» [16].

Эссеистская проза, рассматривающая взятые из жизни (или сконструированные) образцы человеческого поведения, моральные ситуации, размышляющая об истории, искусстве, литературе, о диалектике исторических и обыденных фактов играет в современном польском литературном процессе авангардную роль.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хорев В. А. О польской эссеистике 50—60-х годов XX в. // *Studia slavica*. К 80-летию С. Б. Бернштейна. М., 1991.
2. Wyka M. Esej — forma pojemna // *Polski esej*. Kraków, 1991. S. 5.
3. Wyka K. Szkice literackie i atrystyczne. Kraków, 1956. T. 2. S. 301.
4. Czapliński P. Tadeusz Konwicki. Poznań, 1994. S. 117.
5. Współczesna literatura polska lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Lipsk, 1993. S. 67.
6. Гомбрович В. М., 1992. С. 263.
7. Rozmowy z Marią Kuncewiczową. Warszawa, 1983. S. 140.
8. Ивашкевич Я. Люди и книги. Статьи. Эссе. М., 1987. С. 40.
9. Nycz R. Sylwy współczesne. Warszawa, 1984.
10. Nowicki S. Pół wieku czyścica. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim. Warszawa, 1990. S. 237.
11. Taranenko Zb. Rozmowy z pisarzami. Warszawa, 1986. S. 253.
12. Konwicki T. Kalendarz i klepsydra. Warszawa, 1976. S. 21.
13. Konwicki T. Wschody i zachody księżycy. Warszawa, 1982. S. 96.
14. Новое литературное обозрение. 1993. № 3. С. 68.
15. Czerminska M. Autobiografia jako wyzwanie (o «Dzienniku» Gombrowicza) // *Teksty*. 1994. N 1. S. 54.
16. Konwicki T. Nowy Swiat i okolice. Warszawa, 1986. S. 54.





© 1995 г. ЦЫБЕНКО Е. З.

## РОМАН ЕЖИ АНДЖЕЕВСКОГО «МЕСИВО» И ПОЛЬСКАЯ «ВОЗВРАЩЕННАЯ ПРОЗА»

Польская литература в последние два десятилетия, как и литературы других стран Центральной и Юго-Восточной Европы, развивалась как бы по трем основным руслам:

Литература, издававшаяся официальными издательствами.

Нелегальная литература, публиковавшаяся в подпольных журналах, многочисленных самиздатах, неофициальных издательствах.

Литература, выходящая за рубежом, в основном в Париже и Лондоне (имеются в виду и произведения писателей, живших в Польше, и произведения, созданные писателями-эмигрантами, например, получивший известность роман Владзимежа Одоевского «Все засыплет, заметет...», и, конечно, книги и дневники самых известных писателей эмиграции — Чеслава Милоша и Витольда Гомбровича).

Произведения, издававшиеся в стране нелегально и за рубежом, были известны довольно широкому кругу читателей и критики, они как бы — хотя и неофициально — включались в литературный процесс. Все три течения взаимно переплетались и по-своему дополняли друг друга.

Можно сказать, что основное содержание прозаических произведений (а преобладал прежде всего роман) всех трех «слоев» польской литературы 80-х годов это — выраженное, естественно в разной степени открытости и обнаженности, отражение нарастающего с конца 70-х годов общественно-политического кризиса. В официальной литературе 80-х годов получил большое распространение политический роман, авторы которого пытались, каждый по-своему, художественно изобразить проявление общественного кризиса и найти его причины. Это романы В. Билинского «Объяснение», В. Роговского «Белый пункт», Р. Братны «Год в гробу», А. Минковского «Воскрешение Пудриция», Ю. Лозиньского «Охотничьи сцены из Нижней Силезии», романы В. Сокорского, А. Сеяка и др. О них у нас уже писали В. А. Хорев, В. Я. Тихомирова, о традициях политического романа С. Ф. Мусиенко [1].

Следует согласиться с В. А. Хоревым, который определяет «pro и contra правительственные», как он пишет, произведения, относящиеся к «горячей прозе», как политико-публицистические однодневки, как в лучшем случае публицистический вариант политического романа — ибо в них нет глубокого художественного осмысления причин, приведших к общественно-политическому кризису в стране [1. С. 35]. Следует, однако, учесть, что многие вышеназванные писатели и не

могли в условиях 1980-х годов в своих официально изданных произведениях показать глубокие причины кризиса по цензурным соображениям.

Более глубокое проникновение в социальный механизм польского общества тех лет мы находим в многочисленных нелегально изданных произведениях конца 70-х — первой половины 80-х годов. Подпольных журналов и издательств появились тогда десятки: журналы «Запис» (в названии игра слов: Запис — это документальное свидетельство, документальная запись и вместе с тем то, что не пропущено цензурой, на что наложен запрет), «Нова», «Кронг» и др. Польские самиздаты чаще всего печатали произведения писателей-эмигрантов — лауреата Нобелевской премии Чеслава Милоша (он издавался 62 раза) и Витольда Гомбровича (24 издания) [2].

Многие крупные писатели печатались в нелегальных издательствах. Так, сначала в журнале «Запис», а потом в «Нова» вышли книги Тадеуша Конвицкого «Польский комплекс» (1977) и «Малый Апокалипсис» (1979), в которых автор рисует драматические конфликты современности, сопоставляет и как бы дополняет их трагическими эпизодами национальной истории, предполагает катастрофические последствия этих конфликтов в ближайшем будущем.

Также в самиздате были опубликованы книги Конвицкого «Восходы и заходы луны» и «Подземная река, подземные птицы». Затем, правда, писатель вернулся в официальные издательства, объясняя это разницей влияния на читателей официальной и неофициальной литературы. Так, в одном из государственных издательств вышел его роман «Новы Свят и его окрестности».

17 раз печатался в нелегальных изданиях Марек Новаковский. Получили признание его «Рапорт о военном положении», вышедший в 1982 г. одновременно в издательстве «Нова» и в Парижском Институте литературы, через год в тех же издательствах повторенный, и сборник рассказов «Гриша, я тебе скажу...». Также одновременно в нелегальном издательстве и в Париже вышли в 1984 г. «Польские разговоры летом 1983 года» Ярослава Марека Рымкевича. Только неофициально печатался Мариан Брандыс, за рубежом выходили произведения выехавшего в эмиграцию Казимежа Брандыса. 10 раз издавался в так называемом «втором обращении» Славомир Мрожек, многократно — Эрнест Брыль. Нелегально или за рубежом выходили также произведения Игора Неверли («Осталось от пира богов»), Яцека Бохеньского («Состояние после инфаркта»), Анджея Щиперского («Начало, или прекрасная пани Зайдельман»), Юлиана Стрыйковского («Большой страх»), Януша Гловацкого («Сила стала трухой») и других писателей. Называю только самых известных.

Впоследствии, одни раньше, другие позже, все эти книги были изданы в официальных польских издательствах, стали известны более широкому читателю. Они-то и составили ту литературу, которую называют «возвращенной».

Представляется, что среди наиболее значительных произведений «возвращенной» литературы это — роман одного из крупнейших польских художников слова, Ежи Анджеевского (1909—1983), «Месиво». Писатель работал над ним около 15 лет, еще в 1966 г. в журнале «Творчость» (№ 10) был опубликован большой его фрагмент. Цензура не пропустила в печать уже законченное произведение. Анджеевскому предлагали издать роман за рубежом, но он отказался, ибо хотел, чтобы роман был издан в Польше и попал к польскому читателю. В конце концов роман «Месиво» был опубликован в 1979 г. в польском нелегальном издательстве «Нова», и только в 1982 г. вышел в Государственном польском издательстве тиражом 20 тыс. экземпляров.

Ко времени написания романа «Месиво» Анджеевский прошел сложный творческий путь. Писатель католического направления до войны, автор рассказов военного периода, поднимавших экзистенциальные проблемы, он в 1948 г. пишет получивший широкую известность роман «Пепел и алмаз», в котором показывает трагедию молодого героя, участвовавшего в годы Сопrotивления в Армии Крайовой, в первые мирные дни получившего приказ убить своего соотечественника-коммуниста. В этом произведении писатель выражает веру в новую нарож-

давшуюся Польшу. Те же иллюзии проявились в книге «Партия и творчество писателя» (1952). Однако в середине 1950-х годов Анджеевский пересматривает свои взгляды, это нашло выражение в повестях «Мрак покрывает землю» (1956) и «Врата рая» (1960), в которых автор, используя прием «исторического костюма» (в первой из названных повестей изображаются годы Великой Инквизиции в Испании, действие второй относится к XII в.), выражает свое разочарование в идее социализма, осуждает тоталитаризм.

В романе Анджеевского «Месиво» уже нет «исторического костюма», события сугубо современные, но проблемы те же. Основная тема — интеллигенция и власть. Автор размышляет о положении искусства, его полной зависимости от партийно-государственного аппарата, рисует первые признаки общественно-политического кризиса в стране. Жестокая машина власти грубо «давит» на искусство: в театре, в области литературы сказываются интриги в партийном руководстве, по политическим мотивам увольняются талантливые, самостоятельные, имеющие свое лицо режиссеры и актеры, испытывают давление цензуры, в результате все живут в атмосфере страха и неуверенности.

Писатель записывает в своем дневнике, включенном в текст романа: «Семь главных грехов тоталитаризма: нетолерантность, нарушение прав человека, эгоизм, высокомерие, агрессивность, ложь, цинизм... Вопреки своим лозунгам тоталитаризм грубо унижает человека... Глубокое неверие в человека лежит у основ так называемого „культ личности“» [3. S 26].

Автор в тексте произведения сам объясняет его название: слово «месиво» символизирует одновременно и общественно-политическую жизнь в Польше 1960-х годов, и само произведение с его необычайной композицией, известной хаотичностью построения, самыми разнообразными художественными приемами.

В романе множество сюжетных линий, их развитие замедляется перерывами в повествовании, введением в текст дневника самого писателя, больших фрагментов произведений одного из главных героев писателя Адама Нагурского (пьесы «Прометей», романа о Леонардо да Винчи), его же лекции о себе и своем творчестве на встрече с читателями, эссе другого героя, писем, «интермедии».

В образе писателя Адама Нагурского много автобиографических черт. Анджеевский дает некоторые «приметы», детали, которые подтверждают это. Например, он упоминает о произведении Нагурского «Плач бумажной головы» — а так назывался рассказ самого Анджеевского. Но главное, близки автору глубокие размышления Нагурского о смысле жизни, о роли искусства, о своем творчестве. В произведениях Нагурского можно обнаружить связь с предыдущими книгами Анджеевского «Не ложь, а правда убивает надежду», — думает Леонард в книге Нагурского о Леонардо да Винчи — а это ключевая фраза из «Врат рая» Анджеевского.

Автор романа выступает и сам как один из центральных героев, поскольку непосредственно в роман введен его подлинный дневник. Известно, что Анджеевский дневники писал, они были изданы в двух томах (записи 1972—1979 гг.) в 1988 г. под названием «Изо дня в день. Литературный дневник». Естественно, что многие записи писателя тогда не могли быть опубликованы и появились только в этом романе, первоначально, как уже говорилось, изданном нелегально. Автор пишет о погоде, о своем здоровье, о событиях литературной жизни (смерть Т. Брезы, П. Ясеницы и другое), о прочитанных книгах, но больше всего о своих размышлениях по поводу активно писавшегося тогда романа «Месиво». Писатель приоткрывает свою творческую лабораторию, обдумывает сюжетные ситуации, размышляет, как ему поступить с героями, в каком месте романа дать ту или иную деталь или эпизод. Это настоящий «роман о романе» — тип романа, известный в литературе, получивший распространение еще в эпоху Молодой Польши (например, роман К. Ижиковского «Химера»). Таким образом, чуть ли не треть содержания романа «Месиво» мы находим в дневниковых записях Анджеевского, включенных в текст самого произведения.

Вся эта пестрота приемов, разорванность композиции производит впечатление

фрагментарности. Вместе с тем, некоторые сцены, эпизоды, размышления проникнуты хорошим знанием и пониманием души человека, ее сложности, диалектичности. Некоторые из фрагментов могли бы быть развернуты в самостоятельные психологические романы.

Материалом для самостоятельных произведений могли бы стать многие включенные в роман биографии героев, составившие специальный раздел между второй и третьей частью романа, названный «Интермедия. Польские биографии». Этих вымышленных биографий около 70 (так густо «населен» роман). Заметно большое разнообразие персонажей — здесь и партийно-государственная элита, и рядовые коммунисты, и диссиденты, и крупные театральные деятели, писатели, музыканты, рабочие, поляки, живущие в эмиграции, и т. д. Но их всех объединяет то, что это именно польские судьбы, часто трагические: аресты польских коммунистов-эмигрантов в Советском Союзе в 30-е годы, депортация в Советский Союз в 1939 г., во время войны, Катынь, гибель родных в Освенциме, в гетто, на улицах оккупированной Варшавы во время облав, гибель в Варшавском восстании, необоснованные аресты после 1945 г., отстранение от работы инакомыслящих, преследование патриотов, борющихся в Армии Крайовой, и т. д. и т. д.

Один из центральных образов, наряду с Адамом Нагурским, крупный партийный деятель, бывший участник Сопротивления, зав. отделом культуры ЦК ПОРП Стефан Рашевский. Эта фигура изображена совсем не карикатурно, а скорее трагично. Рашевский понимает сложную общественную ситуацию, сложившуюся в стране, во всяком случае имеет свое мнение, хотя и вынужден носить маску партийного босса.

Символична сцена разговора Стефана Рашевского с умирающим отцом, простым рабочим, старым коммунистом, в которой старший Рашевский отдает сыну свой партийный билет.

Еще одна особенность романа заключается в том, что вымышленные персонажи и исторически существовавшие лица равнозначны в его структуре. Так, вымышленный писатель Нагурский упоминается в одном ряду с Ивашкевичем; выдуманный актер Конрад Келлер — с известными актерами и режиссерами Голубеком, Ханушкевичем, Ломницким и т. д.

Композиционная фрагментарность романа, о которой уже шла речь выше, привела автора к открытому финалу. Сам писатель так размышляет по этому поводу в дневниковой части романа: «...окончание произведения есть также его незавершенность, зачем же тогда притворяться? во имя чего внушать самому себе и читателю, что, закончив произведение согласно правилам эстетики, я достигну большего, чем можно выразить в форме неотделанного месива?» [3. S. 343].

Следовательно, и фрагментарность, и внешний композиционный «хаос», и открытый финал — все это было частью авторского замысла, а не художественной неудачей, как считали некоторые поторопившиеся осудить роман современные польские критики.

«Возвращенная» литература оказалась интереснее и богаче в художественном отношении, чем официальный политический роман 80-х годов. Мы ее только начинаем изучать. «Месиво» Анджеевского занимает в этой «возвращенной» литературе свое особое место.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Хорев В. А.* Польский политический роман 1980-х годов//Иностранная литература. 1986. № 2; *Тихомирова В. Я.* Польский политический роман 1980-х годов (к проблеме типологии послевоенного польского романа)//Вестник Московского университета. Серия филология. 1987. № 1; *Хорев В. А.* Новые тенденции в польской прозе 80-х годов//Литература европейских социалистических стран в 70—80-е годы. М., 1988; *Мусиенко С., Тихомирова В.* Традиции польского политического романа в современной литературе//Литература европейских социалистических стран в 70—80-е годы. М., 1988.
2. *Siekierski S.* Wydawnictwa drugiego obiegu. 1976—1981//Przegląd Humanistyczny. 1990. № 1.
3. *Andrzejewski J.* Miazga. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1982.



© 1995 г. ФРИДМАН М. В.

## ЛИТЕРАТУРНАЯ БОРЬБА НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ «ЭРЫ ЧАУШЕСКУ» (1965—1971)

Готовя это сообщение, я, как, наверное, многие из нас, внимательно пересмотрел свои прежние работы, посвященные указанной теме. Можно ли упрекнуть себя в столь очевидных сегодня натяжках, нарочитых конформистских искажениях? Отчасти, конечно же, можно. Не позволительно забывать и о том, что исследование литературы велось в те годы в отсветах некоего притягательного близкого будущего, наступление которого представлялось неминуемым. Это наложило свой отпечаток на освещение литературного процесса, во многом обусловило и натяжки, и неверные оценки, и сомнительные прогнозы.

Сегодня будущее того прошлого, которое мы пытаемся осмыслить, утверждается на наших глазах. И оно ничуть не похоже на то, что виделось нам в наших представлениях. Но как бы там ни было, часто ли выпадает исследователю такая удача — въявь наблюдать становление новой эпохи и попытаться в свете истин, предлагаемых ею, восстановить подлинную картину развития литературы прошлого, отбирая ценное в ней и отбрасывая наносно-утопическое?

Удивительный факт: нечто подобное — пусть и в отдаленном совпадении — могло показаться многим и в Румынии середины 60-х годов, столь неожиданными представлялись наступавшие тогда перемены.

В исследованиях и пособиях прошлых лет можно найти пространные и весьма схожие — ибо обработаны они были одним и тем же идеологическим наждаком — характеристики параметров названного исторического отрезка. Немало высоких слов сказано о решениях IX съезда РКП (июль 1965 г.), определившего ближайшие годы как этап консолидации завоеваний социализма и избравшего для реализации новых задач генеральным секретарем ЦК РКП Николае Чаушеску.

В августе того же года была принята новая конституция, содержащая ряд привлекательных положений о принадлежности всей власти в стране народу, о нерушимом союзе рабочего класса и крестьянства и т. д. А X съезд РКП выдвинул в августе 1969 г. задачу построения в Румынии всесторонне развитого социалистического общества. В этой связи перед идеологическим фронтом вставала задача формирования своего рода «всесторонне развитого социалистического сознания» путем воспитания — как указывалось в решениях съезда — «боевого, воинствующего отношения к отсталым взглядам, к влиянию буржуазной идеологии и формирования моральных черт, соответствующих новым отношениям, установившимся при социалистическом строе» [1].

В первые годы своего правления Н. Чаушеску неоднократно заявлял: «Борясь

Фридман Михаил Владимирович — д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

за ангажированное искусство, твердо стоящее на почве марксистско-ленинской идеологии, наша партия выступала и выступает за широкое многообразие стилей и творческих манер. Отметая иные узкие позиции в прошлом, иные жесткие подходы к сущности искусства, партия поддерживает стремление писателей, всех деятелей искусства страны к совершенствованию мастерства, к обогащению средств выражения, к постоянному творческому обновлению. Мы исходим из того, что разнообразие стилей и художественных форм еще более убедительно передает содержание, делает его более доступным для человека, во имя которого и творится искусство» [2. Р. 144]. Столь же упорно повторялась мысль, что искусство должно соответствовать «новому философскому и социальному климату», сущностью которого является социалистический гуманизм.

Но эта была лишь видимая часть айсберга. По мере упрочения своих позиций новый генсек все меньше упоминал о разнообразии стилей, все настойчивее повторял, что «литература есть идеология и пропаганда в самом благородном смысле слова, весьма действенный фактор воспитания патриотизма». А дело было в том, что Н. Чаушеску чутко уловил в настроениях широких масс, в том числе и творческой интеллигенции, стремление отождествлять понятие свободы (жизни, труда, творчества) с освобождением от догматических тисков, ограничений, репрессий, инициатором которых выступал Советский Союз. Подыгрывая этим настроениям, генсек РКП широко использовал приемы временного ослабления идеологических, цензурных запретов, реабилитации незаслуженно репрессированных прежним режимом, критики его политических ошибок. Так, например, был полностью оправдан Л. Пэтрэшкану, один из основателей РКП, видный теоретик партии. Настойчиво повторялась фраза, послужившая важной «уликой» в обвинительном акте Пэтрэшкану: «Прежде чем стать коммунистом, я был рожден румыном».

Развенчивая политику своего предшественника Г. Георгиу-Дежа и его соратников, Чаушеску наносил удары прежде всего по тем из них, кто был известен своими советскими связями, просоветскими настроениями. Были реабилитированы девятнадцать членов РКП, репрессированных в годы сталинщины в СССР. Все делалось с таким расчетом, чтобы создать самые благоприятные условия для утверждения в Румынии, в партии, ее идеологических структурах элементов «национально окрашенного социализма». С каждым новым годом эти элементы будут все ошутимее сказываться в самых различных областях жизни страны. Модной оказалась фраза Жореса: «При малом интернационализме отдаляешься от родины, при большом — приближаешься к ней» [2. Р. 91]. Отметая всякие обвинения в национализме, Н. Чаушеску пояснял: «Некоторые могли бы сказать: „Вот они, румыны, — националисты, только и твердят, что о развитии каждой нации, каждого народа, забывая об интернационализме... Если желание построить в Румынии коммунизм есть национализм, тогда что ж — мы действительно националисты“» [2. Р. 90].

Так постепенно готовится новый этап в драматической истории румынской литературы: если до 1965 г. ей вменялось в обязанность воплощать в художественных образах — как реальную действительность — иллюзию мировой коммунистической революции, осуществляемой под водительством Советского Союза, теперь ей надлежало утверждать своими специфическими средствами не менее иллюзорный процесс рождения национал-коммунистического общества.

В некоторых прежних своих статьях я пытался проследить ход развития румынской литературы последних пяти десятилетий как череду трех экстремистских «обледенений» — правого, затем левого и, наконец, «право-левого» — и между ними — трех прозрачных «оттепелей» [3]. И если тоталитаристские «стужи» раздирали на части тело литературы, то «оттепели» пытались эти части вновь слить воедино, подчеркивая их взаимодополняемость, жизненность сосуществования. При подобном подходе есть основания утверждать, что за постдогматической «оттепелью» конца 50-х — начала 60-х годов следует чаушесковская, преднационально-социалистическая, во время которой вождь РКП стремился насаждать новую утопию средствами неэкстремистскими, но уже содержащими в себе зерна будущего экстремизма.

Так, если судить по данным справочников, хронологических словарей, пособий,

это были годы добрых начинаний в самых различных сферах литературной жизни, глубоких творческих поисков, подлинных художественных удач, прежде всего в поэзии. В мире литературоведения благотворно сказались возможности восстановления связей с замечательными достижениями румынского литературоведения межвоенной поры, а также с европейской литературой, на ниве которой герменевтика изобретательно обновляла критический инструментарий. С особым интересом изучают румынские специалисты достижения структуралистской критики, различные формы проявления «творческой» критики, при которой само произведение как бы отходит на задний план, методы постижения скрытой структуры произведения в ее феноменологическом аспекте. Не меньший интерес вызывают ставшие доступными труды и концепции Лукача, Фишера, Гароди, Гольдмана, Альтгуссера и др.

Вместе с тем, активными участниками литературной жизни остаются и многие ведущие теоретики 50-х годов: часть из них отчаянно отстаивает давно обесцененные, «классические» формы теории соцреализма, большинство, однако, вызывает все большую открытость по отношению к новациям эпохи.

Вполне естественно, что в эти годы важнейшим полем литературоведческих сражений становится наследие. При этом необходимо уточнить: в отличие от других «оттепелей», речь теперь шла не столько о переосмыслении ценностей прошлого в свете новых требований эпохи, сколько о *восстановлении исторической истины*, подвергшейся в ходе двух экстремистских «обледенений» чудовищным фальсификациям. Вот когда зазвучали в полную силу слова Дж. Кэлинеску, автора самой полной истории румынской литературы: в ней он видел историю подлинных ценностей, причем критика и история литературы оказывались в ней равноправными участниками литературного процесса. При этом в ряде случаев историко-функциональный подход должен был уступать кое-какие свои привилегии генетическому, подкрепленному множеством документов и архивных свидетельств.

В ином, гораздо более правдивом свете предстал в эти годы перед читателем вклад в литературоведение таких крупных критиков, как вождь движения «Жунирия» Т. Майореску, ментор «сэмэнэторизма» Н. Йорга, главный идеолог «попоранизма» Г. Ибрэилян, автор теории «синхронизма» Э. Ловинеску и многие другие. Обширные, по-новому оснащенные документальным материалом труды были посвящены румынскому символизму, экспрессионизму, а также всем названным выше течениям. Особенно выделялись труды З. Орни в этой области. Монографические исследования посвящены творчеству крупных поэтов Элиаде Рэдулеску, А. Мачедонски, М. Эминеску, Дж. Баковии, О. Гоги и др.

И все же с самого начала исследуемого этапа дают о себе знать резкие расхождения как в оценке тех или иных явлений наследия, так и в понимании самой задачи восстановления исторической истины. Усиливается влияние идей импрессионистской критики, наиболее яркий представитель которой, Н. Манолеску, защищает теорию «неверного чтения», свободного от обязанностей верной передачи содержания. Его последователи начинают борьбу с четырьмя «предрассудками»: «информации и научного подхода», «утвердившихся иерархий», «идеологии» и «идеологической нетерпимости». Главным аргументом выступает утверждение, что «критическое откровение возможно лишь тогда, когда существует особая близость между критиком и исследуемым автором» [4].

Но в эти же годы появляются труды А. Марино, в том числе его «Введение в литературную критику», в котором особый упор делался на различии между бесплодным эстетизмом и действенной эстетической критикой.

И все же куда более значимым было происходившее в это время новое размежевание между идейно-эстетическими течениями, пользовавшимися в межвоенные годы особым влиянием и популярностью и возродившимися в новых формах в результате чаушесковской «оттепели». Последовательными сторонниками восстановления исторической истины выступали ученики Э. Ловинеску, автора теории «синхронизма», руководителя литературной школы «Сбурэторул». В. Стреину, Ш. Чокулеску, П. Константинеску и другие издают учебники, истории литературы, регулярно выступают в прессе, читают курсы в университете.

С новой силой звучат положения теоретика «синхронизма» о важности учета опыта инациональных культур, о том, что культура прошлого жива, действительна лишь постольку, поскольку она вписывается в общий поток развития мировой культуры, а национально-самобытные ценности — поскольку они поддаются воплощению современными художественными средствами. Именно этими специалистами была предложена верная оценка прозы М. Эминеску, а также его неопубликованных стихов, пьес, десятилетиями томившихся в архивах.

Между тем, при явной поддержке нового руководства РКП, все чаще и откровеннее звучат со страниц газет, журналов, монографических исследований голоса тех, кто стремился — пока еще в завуалированной форме — реанимировать отдельные элементы таких традиционалистских, правых течений, как «гындиризм»<sup>1</sup>, «сэмэнэторизм»<sup>2</sup>, служивших идеологической пищей для самых ретроградных политических сил межвоенного периода. Начинается новый поход за возрождение в культуре духа «ромынизма» как некоей мистической квинтэссенции духовного наследия народа. Литературе надлежало — по убеждению неотрадиционалистов — всячески защитить себя от «тирании иноземных образцов», всецело отдавшись поискам «истинно румынского архетипа». Традиции, идущие из глубин тысячелетий и не искаженные «чужеродными» примесями, запечатленные в легендах страницы истории, село как «хранитель народно-этического кодекса» — таковы излюбленные тезисы теоретиков национальной идеи.

Нетрудно понять, что главной мишенью этих теоретиков была школа «синхронистов». По мнению М. Унгяну, О. Гидирмика и других певцов «ромынизма», труды этой школы не выходили за рамки «стилистических упражнений». Резким атакам подвергаются серьезные труды, посвященные наследию Т. Майореску, Э. Ловинеску, О. Денсушяну, Дж. Кэлинеску, Л. Благи и др. Авторы обвиняют в «техницистском снобизме», «чрезмерном обилии фактов, почерпнутых в книгохранилищах». «Объективное существование произведения должно раскрываться путем субъективного насилия исследователя», — утверждалось в одной из статей. Отсюда и конкретный вывод: «Мы на стороне Йорги, мы — за последовательность даже в заблуждениях» [5].

Без шумных постановлений постепенно отстраняются от ведения постоянных рубрик в прессе сторонники школы Э. Ловинеску, их место занимают бойкие защитники традиционных ценностей, мистических «истин», столь легко открываемых средствами импрессионистской критики. Критик К. Регман имел все основания утверждать, что в литературной прессе «то, что вчера выглядело проявлением минимарксизма, теперь выступает в форме миниметафизики». Об этом все тревожне напоминал крупнейший прозаик послевоенного периода М. Преда, тот самый, что на одной из встреч с Н. Чаушеску пригрозил покончить с собой, если ему будут навязывать догмы соцреализма. Увы, большой писатель не подозревал тогда, что меньшая опасность угрожала литературе справа, со стороны, как он писал, «восторженных поклонников вымерших ретроградных литературных течений» [6]. Оказалось, что они и вовсе не вымерли...

Столь же непримиримые разночтения выявились и в ходе продолжавшейся долгие годы дискуссии о сущности реализма. Что касается проблематики литературы соцреализма, то она почти полностью исчезла со страниц разных публикаций безо всяких официальных некрологов. Теперь речь шла о другом: в большинстве произведений этих лет в той или иной мере затрагивались события недавнего прошлого, 50-х годов, «навязчивого десятилетия», по определению того же М. Преда. Так получилось, что за литературой пятидесятых годов безо всякой дистанции следовала литература о пятидесятых годах. Этой внезапной ломкой, этой торопливой переоценкой и были обусловлены особенности новых

<sup>1</sup> «Гындиризм» (от названия журнала «Гындирия» /«Мысль»/) — правое идейно-эстетическое движение межвоенного периода, основанное на концепции мистического православия и «диктатуры креста».

<sup>2</sup> «Сэмэнэторизм» («Сеятельство») — традиционалистское идейно-эстетическое движение первой половины XX в., призывавшее литераторов к идеализации сельской жизни, героизации прошлого, воспеванию боярства и развенчанию капиталистических порядков.



произведений, как и параметры самой дискуссии о реализме. Палитра мнений оказалась достаточно разнообразной — от сторонников возобновления традиций критического реализма 30-х годов до тех, кто доказывал возможность обогащения реализма элементами модернистских новаций, от теоретиков, обосновывавших необходимость сосуществования реалистического и модернистского направления до тех, кто считал единственно пригодными для решения новых задач разоблачения догматического периода лишь приемы модернистского искусства, нового романа, антиромана, романа «ониризма» (сновидческих озарений) и т. д.

О последствиях многолетних полемик убедительно свидетельствовали полки книжных магазинов. Если в первые годы «эры Чаушеску» на прилавках можно было увидеть множество произведений, в которых деэпизация повествования достигала чрезмерных форм — герой оказывался вытесненным из пределов романной конструкции, сознание человека выступало как некое самостоятельное образование, неподвластное законам объективного мира, — то к концу этапа победу торжествовали сторонники традиционного реализма, получившего поддержку и в партийных документах, и в выступлениях руководителей Союза писателей, прежде всего, З. Станку. При этом еще не отмененная, но лишь слегка урезанная формула генсека «многообразие стилей» делала возможным появление наряду с этими произведениями и романа психологического реализма (М. Преда), романа-эссе (А. Ивасюк), и фантастической прозы (А. Баконски), и прозы магического реализма (Ф. Нягу, Ш. Бэнулеску, Д. Р. Попеску).

Оживленные споры вызвали герои-«чудики» Н. Вели, Д. Р. Попеску и других, ибо они ничуть не вписывались в схему «положительного» персонажа литературы, который проектировали тоталитарный режим и его пропагандистский аппарат. Тот «карнавал относительности», который возникал в произведениях этих писателей, представлялся официозным законодателям литературы прямым вызовом всей социалистической системе.

Развязка наступила в ноябре 1971 г. Выступая на пленуме ЦК РКП, Н. Чаушеску недвусмысленно осудил тенденции «недооценки прогрессивных национальных и социальных традиций». Решения пленума открывали широкий путь для становления новой концепции румынской культуры, в которой левый и правый экстремизм находили с каждым годом все больше точек соприкосновения. То была теория протохронизма — опережающей роли румынской культуры в Юго-Восточном ареале, а то и шире. На протяжении следующего этапа (после 1972 г.) появятся многочисленные работы, посвященные этой новой концепции, которая еще больше углубит разрыв между традиционалистами и новаторами в румынской культуре.

Итак, понять отличительные особенности рассматриваемого этапа возможно только при его осмыслении как составной части той череды этапов («обледенений» и «оттепелей»), о которых говорилось выше. При таком подходе становятся зримыми как нити, ведущие от прежних этапов, так и те, что протягиваются в следующий этап национально-социалистического тоталитаризма. Одновременно яснее улавливаются подвижные соотношения утопии и реальности в эти годы, традиционализма и европеизма, а следовательно, национализации и интернационализации литературной жизни данного этапа, а также реалистического и модернистского письма (в едином организме всей литературы, но подчас и в структуре отдельного произведения). Тем нагляднее становятся при таком взгляде взаимодополняемость отдельных, казалось бы несовместимых литературных явлений, результативность их взаимодействия, историческая оправданность их сосуществования в целостном организме литературы.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Краткая история Румынии с древнейших времен до наших дней. М., 1987. С. 463.
2. *Hamelet M. P. N. Ceaușescu. Biografie și texte selectate.* București., 1971. P. 144.
3. Новые проблемы, новые решения. М., 1992. С. 15.
4. *Ungheanu M. Cronica // Ramuri.* 1967. 15 XI. № 11.
5. *Ghidirmic O. Post-scriptum la N. Iorga // Ramuri.* 1971. 15 XI. № 11.
6. *Preda M. Spiritul primar agresiv și spiritul revoluționar // România literară.* 1968. 10 X. № 1.



© 1995 г. МЕЩЕРЯКОВ С. Н.

## ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СЕРБСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА 1980-Х ГОДОВ

1970-е годы — время интенсивного развития исторического романа во многих славянских литературах. Продолжаются плодотворные традиции в болгарской, польской, русской прозе, расцвет переживает исторический роман в Чехии, Словакии, Словении, Сербии.

В 80-е годы, время бурных общественных потрясений, сербская историческая проза несколько отступает на второй план. Писателей все больше волнуют проблемы национальных отношений и политические вопросы (В. Драшкович — «Русский консул»; Д. Попович — «Книга о Милутине»; А. Исакович — «Мгновенье-II»; Д. Чосич — «Грешник». «Отщепенец». «Верующий»). Значительную роль продолжает играть роман с военной тематикой. Исключительную известность приобретает экспериментальный, уникальный в жанровом отношении «роман-лексикон» М. Павича «Хазарский словарь» (1984).

Историческая романистика этого десятилетия не дает шедевров, равных произведениям И. Андрича, М. Црнянского, М. Селимовича, Д. Чосича, Б. Петровича, хотя «Друзья с Косанчичева венца, 7» С. Селенича (1980) и «Завещание» В. Стевановича (1986) и получили премию журнала «НИН», т. е. были признаны критикой лучшими романами года.

В 80-е годы сербская историческая проза переживает серьезные трансформации. Следует признать, что происходит сужение эпического размаха в сравнении с предшествующим десятилетием. Монументальные двухтомные и многотомные романы (М. Марков, Б. Петрович, Э. Кош) в основном сменяются относительно небольшими по объему и ограниченными по степени охвата событий произведениями, хотя попытки создать крупные эпические полотна предпринимаются различными писателями (В. Стеванович. «Завещание»; Д. Попноваков. «Сербская рапсодия»). Чаще, однако, авторы стремятся отразить исторические масштабные события в индивидуальных судьбах внешне ничем не выдающихся героев, раскрыть через их исповедь или записи о конкретных событиях собственной жизни смысл происходящего (С. Селенич. «Друзья с Косанчичева венца, 7», «Родители и отцы»).

Скорее исключением, чем правилом представляется начатый в 70-е, а законченный в 80-е годы четырехтомный цикл романов М. Лалича об истории Черногории XX в.: «Военное счастье» (1973), «Поборники» (1976), «Когда лес зазеленеет» (1982), «Гляди вниз на дороги» (1986), где автор в значительной

мере благодаря герою-повествователю Пейо Груйовичу достигает масштабного охвата событий.

В 80-е годы продолжается начатое в предшествующем десятилетии стирание грани между историческим романом и романом о современности, представляющим наше время как определенный этап исторического развития. В конце 70-х годов Б. Петрович в «Певце» (1979) и Э. Кош в романе «В поисках Мессии» (1978) дали примеры сочетания исторического и современного пластов действительности при доминировании (хотя бы внешнем) первого, и не случайно некоторые критики писали тогда о необоснованности включения пласта современности в исторические произведения.

Чуть позже С. Селенич в романе «Друзья с Косанчичева венца, 7» обращается к современности — семидесятым годам нашего века и к воспоминаниям и записям героев о событиях тридцатилетней давности. Возвращение на три десятилетия в прошлое трудно назвать погружением в историю, но для одного из двух главных героев албанца Истрефа Веры путь из времен довольно устоявшегося социализма в эпоху бурных революционных событий 1945 г. и далее в свое доисторическое, мифологическое прошлое, в забытое Богом село на Косово, живущее по законам кровной мести, подобно движению современного человечества к истокам цивилизации. А, как отмечает Н. Ф. Донченко в статье «Жанровая специфика исторического романа», «именно ощущение дистанции во времени между событием и повествователем — отличительная особенность исторического романа» [1. С. 126].

Исторический роман — это и осмысление философии истории, выработка концепции исторического развития, а в «Друзьях» второй главный герой Владан Хаджиславкович, историк по образованию, изучает эпоху Кромвеля и пытается осмыслить перспективы революционного движения в целом. Не случайно и сын Истрефа Веры тоже становится историком и так же обращается к эпохе Кромвеля.

«Разновидности романа, дифференцированные по признаку времени, тяготеют к синтезу, грани между ними не столь резкие, какими они были раньше. В историческом романе центр тяжести перемещается с прошлого на современность, а в романе о современности он сдвигается в сторону прошлого», — пишет Н. Ф. Донченко о романе 1960—1980-х годов в славянских странах [1. С. 132]. Очевидно, что развитие сербской исторической прозы происходит в русле указанной тенденции.

Важной характеристикой сербского исторического романа 70-х годов является стремление к жанровому синтезу, сочетанию достижений крупномасштабного эпического романа (И. Андрич) с чертами философского лирического романа-параболы (М. Селимович), слиянию объективного и субъективного начал в произведении (М. Марков, Б. Петрович). В 80-е годы жанровый синтез по существу переходит в свою противоположность, разнонаправленные жанрообразующие тенденции, получив предельно четкое выражение, ведут к разрушению художественного произведения в традиционном смысле. В рамках одного романа проясняется дивергенция жанровых тенденций.

Так, например, в романе «Завещание» — результате кропотливого десятилетнего труда и, вероятно, лучшим произведении В. Стевановича — писатель соединяет стремление к максимально широкому охвату событий с попыткой субъективного по форме воссоздания действительности. С одной стороны, писатель рассматривает исторический путь сербов со времен Косовской битвы (1389) до окончания второй мировой войны, стремясь передать ход истории через его отражение в жизни села Као («Грязь»), что напоминает «Мост на Дрине» И. Андрича, являющийся образцом крупномасштабного эпического произведения. Как и И. Андрич, В. Стеванович стремится дать широкое эпическое полотно путем синтеза отдельных глав-новелл (52 главы в «Завещании») соответствующим числом недель в году и напоминают о 52 главах-«бдениях» в романе «Весна Ивана Галеба» известного хорватского писателя Владана Десницы).

Однако, если у И. Андрича повествование ведется в объективной форме, от

третьего лица, то у В. Стевановича оно дано в форме субъективной, от первого лица, причем главный герой-рассказчик, наш современник, интеллеktуал, человек с богатейшим воображением «переселяется» в души столь не похожих друг на друга героев, что ни один самый «всезнающий» повествователь не смог бы увязать их в единое целое. Повествование ведется то от лица последнего сербского князя, то от лица различных иностранных путешественников, то от лица членов семьи крестьянина Лазаря, то от лица воинов, погибших на Косово, то от лица жителей села Као, то от лица безымянного серба, пробившегося к русскому царю, то от лица мифической вилы, то от лица сербского патриарха, то от лица янычара, убившего свою мать, то от лица мертвого телохранителя князя Милоша Обреновича, то от лица солдатских масс, то от лица крестьянок из Као, то от лица фашистских офицеров, то от лица мифического дива и т. д. Почти каждая из 52 глав означает смену рассказчика, что, подчеркивая субъективность повествования, в то же время расширяет возможности эпического охвата действительности. Предельная субъективность манеры повествования соединяется у В. Стевановича со стремлением к максимально объективному воссозданию действительности.

Важнейшим жанрообразующим началом в сербском послевоенном историческом романе стало обращение к мифу, легенде, фольклору, к коллективному опыту человечества, и в «Завещании» они играют исключительно важную роль (сознание почти всех героев исключительно мифологично, не говоря уже о появлении дивов, вил и т. п.). Однако, с другой стороны, повествователь иногда по существу комментирует текст, т. е. насыщает его подчеркнuto индивидуальным, личностным восприятием действительности. В 24-й главе повествователь, наш современник, ощущает приближение собственной смерти. «Время течет, боль растет, слабость усиливается; каждая секунда — тонкий нож, вонзенный в твое сердце, один из тех ножей должен когда-то стать последним, смертоносным, завершающим, как инфаркт, как кровоизлияние в мозг. Мое взволнованное «я» пытается тогда скрыться в просторном и теплом «мы», пытается выклянчить несколько поэтических картин, которые успокоят страх, временно прогонят дурные предчувствия...» [2]. Второе предложение приведенной цитаты является, по существу, комментарием к художественной структуре книги, объясняющим, например, переход повествования от первого лица единственного числа к первому лицу множественного числа или частое обращение автора к лирическому началу.

Соединение мифа, легенды и авторских комментариев еще отчетливее прослеживается в небольшом по объему романе М. Савичевича «Сказание о Косовской битве» (1989). Само название произведения, несколько эпиграфов к роману, взятых из древнесербской и средневековой турецкой литературы и из сербской эпической поэзии, а также упоминание «духа сербского народа», который первоначально должен был сам рассказывать всю эту историю, свидетельствуют о самом серьезном обращении автора к легенде и мифу.

Однако подобное обращение дополняется явно аналитическим построением произведения. После эпиграфов, которые названы писателем «Вводными голосами», следуют главы под названием «Голоса повествователей», «Голос писателя», а затем «История создания романа «Сказание о Косовской битве» (послесловие автора)» и, наконец, «Примечание». В главе «Голоса повествователей» диаметрально противоположно представлена история Косовской битвы, увиденной глазами вельможи князя Лазаря Новака и глазами турецкого государственного деятеля Махмуд-эфенди. В главе «Голос повествователя» на восьми страницах автором дан подробный анализ манеры повествования в романе. Здесь выделяются «дух сербского народа», голоса повествователя, писателя, «контролирующего повествователя». «Контролирующий повествователь» исполняет роль критика и комментирует загадки истории, поставленные в романе. Достаточное внимание уделяет автор и выяснению исторической достоверности и исторической судьбы Новака и Махмуда-эфенди. Филолог и историк дополняют в этом случае писателя.

В главе «История создания романа „Сказание о Косовской битве“» (послесловие

автора)» наряду с фактами биографии автора, заставившими его обратиться к этой теме, сообщается о тяжелейшем нынешнем положении сербов на территории Косова, приводятся отрывки из эссе о творчестве М. Савичевича, говорится об осмыслении самим писателем Косовской битвы и о ее значении для судеб Европы, сообщается краткая история создания и публикации романа.

Повышение степени условности текста — важная черта сербского исторического романа 80-х годов. М. Пантич, говоря о современной сербской прозе в целом, назвал это явление «александрийским синдромом» (книга эссе под одноименным заглавием появилась в 1987 г.). По мнению исследователя, «александрийский синдром», т. е. вторжение науки в литературу, тесно связано с постмодернизмом и «новым синкретизмом» [3].

Сербский исторический роман 80-х годов, представленный в данном случае произведениями М. Савичевича и В. Стевановича, в значительной мере подходит под определение «другого» исторического романа, предложенное немецким литературоведом Г. Геппертом и включающее в себя «многослойность и перспективность изображения истории, снижение монументальности, субъективность, рефлексивное отношение к истории, саморазоблачение вымысла, стимуляцию познавательной активности читателя» [1. С. 124]. Главным жанровым критерием «другого» исторического романа Гепперт считает «зияние» между вымыслом и историей, разрыв между ними, а повествователь-современник из романа В. Стевановича отмечает: «Целое всегда составлено из частей, опирающихся на две пустоты: одну впереди и одну сзади... Время непрерывно, наша память фрагментарна — правдивая рукопись должна соединять в себе обе эти особенности» [2. С. 7].

Трансформация сербского исторического романа в 80-е годы, включающая в себя и сужение эпического размаха, и стирание границ между историческим романом и романом о современности, и дивергенцию жанровых тенденций в рамках одного произведения, и значительное повышение степени условности текста, является убедительным свидетельством интенсивности развития сербской прозы. Вместе с тем, сербский исторический роман 80-х годов сохраняет неизменный интерес к мифу и легенде и продолжает традиции, заложенные И. Андричем, традиции, в значительной мере определяющие специфику сербского исторического романа.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исторический роман в литературах социалистических стран Европы. М., 1989.
2. Стевановић В. Тестамент. Београд, 1986.
3. Пантић М. Александријски синдром 2. Београд, 1994.



© 1995 г. ШЕШКЕН А. Г.

## ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ В СЕРБСКОМ МОДЕРНИСТСКОМ И ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ РОМАНЕ

(на примере романов Б. Щепановича и Д. Киша)

В середине 60-х — 80-е годы в творчестве Д. Киша, М. Ковача, Б. Пекича, М. Павича и целого ряда писателей появились и постепенно усиливались черты, которые позволили национальной критике говорить о существенном обновлении экспериментальной прозы, ее вступлении в новую фазу — постмодернизм. Смена повествовательной модели, утверждение нового типа повествования не сопровождалась литературными манифестами. Постмодернизм, в отличие от модернизма, в литературу входил спокойно, почти незаметно. Критика с опозданием обнаружила типологическое сходство процессов в национальной литературе с американским и европейским постмодернизмом. Исследования второй половины 80-х — начала 90-х годов показали, что постмодернизм является одним из основных направлений в современной сербской литературе, имеет свою типологию и национальную специфику [1]. Его утверждение в литературе сопровождалось острой полемикой вокруг романа Д. Киша «Могила для Бориса Давидовича» (1977), в которой приняли участие большинство писателей и критиков прежней Югославии. Сам автор считал, что причина полемики скорее политического, чем литературного характера, что она связана с проблематикой его произведения и содержащейся в нем критикой тоталитаризма. Только спустя десятилетие стало ясно, что эта полемика сыграла важную роль в утверждении новых принципов романной поэтики (использование документов, цитирование художественных текстов и т. д.).

Д. Киша (1935—1989) ныне единогласно считают одним из самых ярких представителей сербского постмодернизма. Его произведения «Мансарда» (1962), «Сад, пепел» (1965), «Дом на песке» (1972) и другие — «пример вызревания новой формы романа, на что обычно уходит труд целого поколения» [2. С. 511]. Роман, принесший писателю международную известность, «Могила для Бориса Давидовича» назван критикой произведением, изменившим привычное представление о литературе и взволновавшим души читателей.

Сравнение двух романов, опубликованных с интервалом в несколько лет, показывает, как и по каким параметрам произошла смена повествовательной модели — от модернистской к постмодернистской. Это роман Бранимира Щепановича «Рот, полный земли» (1974) и уже названный роман Данило Киша «Могила для Бориса Давидовича».

Сербский модернизм 50—60-х годов в значительной степени был связан с экзистенциализмом<sup>1</sup>. В философии и литературе экзистенциализма писателей привлекал подчеркнутый интерес к индивидууму не как социальному явлению, а прежде всего нравственному. В этом проявлялась оппозиция традиционно-реалистической манере повествования и отрицание теории и практики социалистического реализма (полемика «реалистов» и «модернистов»).

В центр произведения ставились морально-этические проблемы добра и зла, прежде всего, проблема выбора. Моделировалась сложная, «пограничная» ситуация, в которой раскрывался внутренний потенциал героя. Авторы зачастую интересовала прежде всего ситуация и поведение в ней человека. Поэтому писатели сознательно отказывались от конкретизации описания, помещая своих персонажей в абстрактное, условное пространство и время. Сам герой был тоже, не характером, не типом, а, скорее, моделью личности: одинок, без прошлого, без социальных и семейных связей, часто даже без имени.

Интерес к «пограничным» ситуациям обусловил распространность таких коллизий (сюжет ослаблен), как нравственный поединок мучителя и жертвы и преследователей и преследуемого («мотив облавы»). В связи с проблемой выбора ставился вопрос о свободе личности. Герой сам определяет свою судьбу, проявляет силу духа и утверждает себя как личность. Таким образом воплощается сартровский тезис о свободе как о выборе смерти. Писателя интересуют внутренние, предельные возможности личности, которая утратила все точки опоры, кроме самой себя. Это повысило роль в произведении «внутреннего» монолога и «потока сознания» — «я-формы».

Роман Б. Щепановича «Рот, полный земли» содержит большинство перечисленных признаков. В нем автор моделирует ситуацию преследования, которая возникает случайно. Но по мере того, как два туриста безуспешно пытаются догнать неожиданно возникшего перед их глазами незнакомца, в силу вступают психологические законы облавы, и они проникаются ненавистью к беглецу. К ним присоединяются незнакомые люди, и у беглеца не остается шансов на жизнь. Роман кончается тем, что беглец падает со скалы: «он все-таки от нас убежал» [З. С. 397], — т. е. освободился. О герое известно только то, что он черногорец, что неизлечимо болен и решил уйти из жизни. У него нет имени, после смерти нет никакой возможности установить его личность.

Пока герой убегает от преследователей, он пытается постигнуть смысл жизни и, возможно, своего спасения. Он решает философскую проблему, что сильнее — любовь или ненависть. Герой как бы прозревает в поединке с преследователями, он постигает силу любви и красоту окружающей природы. Именно они поддерживают его силы. «Теперь он знал тайну, потому что постиг суть бытия — смысл сущего прежде всего следует искать в любви и красоте» [З. С. 391]. Осознание этой тайны — необходимости гармонии в отношениях человека и природы, человека и человека — высшая точка в поединке между бегущим (ему открылся смысл жизни) и преследователями. От них, по мере того, как ими все больше овладевала ненависть, этот, подлинный, смысл жизни отодвигался: они так и не смогли понять, почему и что означает улыбка на лице разбившегося беглеца.

Роман построен как сочетание двух пластов, графически друг от друга отличающихся, преследователи (повествование от первого лица множественного числа — «мы») и беглец (повествование в объективной форме — «он»). Отмечаются все малейшие нюансы в изменении их настроения.

Пространство неопределенно. Преследователи приехали в заброшенный уголок природы порыбачить и отдохнуть. А беглец, который поехал было в родную Черногорию, повинувшись внезапному порыву, сошел с поезда на незнакомой станции и пошел, куда глаза глядят. Таким образом, случай, а значит, судьба,

<sup>1</sup> Сербский модернизм в своем развитии прошел три этапа: рубеж веков; межвоенный период от экспрессионизма к надреализму; 50—60-е годы XX в.

приводит к встрече и поединку людей, которые ни при каких других обстоятельствах не могли оказаться один в роли преследуемого, другие — в роли преследователей. Один убегает, а другие догоняют по чисто психологическим причинам: если кто-то убегает — кто-то должен догонять. Время действия романа — последние сутки в жизни героя, случайно узнавшего о том, что он обречен. Эти сутки — день в августе 60-х или 70-х годов нашего века. Рамки художественного времени раздвигаются за счет воспоминаний о предке героя, которому удалось обмануть смерть.

Б. Щепанович в романах «Рот, полный земли» и «Смерть господина Голужа» (1977) воплотил модель повествования, распространенную в сербской литературе модернистской ориентации. Хотя эта модель преобладала в модернистской литературе, ее возможности широко использовали писатели разной ориентации от М. Лалича («Лелейская гора» (1962), «Облава» (1960)) до М. Селимовича («Дервиш и смерть» (1966), «Крепость» (1970)).

Поскольку литература и искусство в своем развитии одновременно усваивают опыт предшественников и стремятся к постоянному обновлению выразительных средств, периодически происходит смена повествовательных моделей. Эволюция прозы Д. Киша дает возможность проследить, как это происходит и какие новые качества обрела сербская литература 70—80-х годов, тяготеющая к художественному эксперименту. Эта задача упрощена тем, что сам Д. Киш был не только литератором, но и профессиональным филологом — критиком, неоднократно высказывавшимся о художественных особенностях своих произведений.

Д. Киш о романе «Дом на песке» сказал, что это его «попытка освободиться от фатального первого лица единственного числа и говорить о жизни и ее явлениях путем объективизации действительности», так как он пришел к выводу, что «монолог — глубоко нечестная и эгоистичная вещь» (цит. по: [2. С. 509—511]). В дальнейшем он действительно крайне редко использовал «я-форму», а «объективизация действительности» была достигнута путем конкретности, точности в описании пространства и времени.

В романе «Могила для Бориса Давидовича», обозначенном как «семь глав одной общей повести», точно указывается время и место действия, рождения и смерти героев, приводятся многочисленные сведения об их судьбе, часто трагической. Герои прозы Д. Киша — жертвы системы подавления человека — инквизиции или сталинского карательного аппарата. «Доктор Таубе, Карл Георгиевич Таубе, убит 5 декабря 1956 г.» [4. С. 58] (глава «Магическое кружение карт»). «Лета от рождения Христова 1330, дня 23, месяца декабря» [4. С. 113] — так начинается глава «Псы и книги». Автор точно определяет, где происходит действие и какие перемещения в пространстве совершают его герои (Киев, 1934 г.).

Эффект достоверности усиливает введение в текст документов, подлинных или вымышленных. Глава «Могила для Бориса Давидовича», давшая название всему произведению, начинается фразой: «История сохранила его под именем Новский, что было, без сомнения, псевдонимом» [4. С. 79]. За ней следуют ссылки на энциклопедию Гранат. Д. Киш подчёркивал, что «время вымысла в литературе миновало» [5. С. 51], что читателю интересна прежде всего информация, и писатель должен уметь убедить его в своей правдивости. Документ, историческое свидетельство становятся органической частью художественного текста. Современная литература широко использует приемы эссе. Грань между действительностью и умыслом умышленно стирается.

Современные авторы используют всевозможные способы упорядочения информации. Автор как бы находится в тени, уступая место фактам. Рассказчик в традиционном смысле слова исчезает. Пишется текст, а пока он не написан, не существует и той реальности, которая в нем воссоздается. Поэтому проблема создания текста становится важнейшей в произведении Д. Киша.

Сцена допроса Бориса Давидовича Новоского, убежденного борца за идею, человека несгибаемой воли, показывает, что и мучители, и жертва сосредоточены на биографии, жизнеописании, точнее, ее завершении. Новоскому важно сохранить



перед потомками свое лицо. Таким образом, в центре — создание текста, о каждом слове которого Новский спорит со следователями. Так Д. Киш переосмысливает одну из основных коллизий (мучитель — жертва) литературы предшествующего периода.

Проблема создания текста сочетается с приемом цитирования — особой формой обращения к литературной традиции, когда писатели включают в свои произведения часть чужих текстов, рассчитывая найти понимание у умеющего критически и ассоциативно мыслить читателя. Автор как бы вовлекает читателя в литературную игру, давая возможность находить параллели с произведениями мировой литературы или просто с нашумевшими публикациями. Д. Киш в «Могиле для Бориса Давидовича» использовал, например, описание Ирландии Д. Джойса, мемуары К. Штайнера «7000 дней в Сибири», отрывки из книги Р. Медведева «Сталинизм», популярные в 70-е годы.

Литературные произведения 70—80-х годов по форме напоминают литературно-критические эссе, так как писатели комментируют создание своего произведения, объясняют их построение, героев, возникновение замысла. Повышенная степень теоретической саморефлексии, стирание граней между эстетикой, критикой и художественной прозой — «олитературивание поэтики», рождение литературы из литературы, «метатекст» получили такое широкое распространение, что были названы «александрийским синдромом» [1].

Роман Д. Киша начинается словами: «У рассказа, который будет рассказан, рассказ, рождающегося в сомнениях и недоумении, есть один недостаток — он правдивый: он записан рукой достойных людей и достойных свидетелей. Но чтобы этот рассказ был достоверным в такой степени, в какой хотелось бы его автору, он должен был быть рассказан на венгерском, румынском, украинском или идише, или, что предпочтительнее, на смеси этих языков» [4. S. 13]. Д. Киш погружает читателя в атмосферу написания произведения, рассказывая о своей работе в архивах и поисках сведений, внушающих доверие.

Наиболее «литературный» из произведений Д. Киша — сборник рассказов «Энциклопедия мертвых» (1983) и, прежде всего, рассказ «Красные марки с портретом Ленина», где речь идет о судьбе поэта и основных особенностях его стихотворений. В «Могиле для Бориса Давидовича» «литературность» создается упоминанием имен литераторов Анны Ахматовой, Максима Горького, литературных журналов и газет («Красная новь»), герой одной из повестей — литератор.

Все эти приемы способствуют одной из основных целей Д. Киша — «сжатию» текста. Именно это интересовало сербского писателя прежде всего в творчестве Б. Пильняка, И. Бабеля, Борхеса. Предельная экономия художественных средств позволяет сократить романский объем до рассказа, в то же время сохранив «внутреннее романное пространство» содержания. В романе могут быть развернуты многие главы «Могила для Бориса Давидовича» и рассказы из сборника «Энциклопедия мертвых», о котором автор говорил: «Это — метафора моей собственной поэтики в ее идеальном, но недостижимом виде» [5. S. 124]. Именно в последнем сборнике рассказов Д. Кишу удалось воплотить свои представления о современной литературе. «Моим идеалом была и остается книга, которую можно читать и как книгу, и как энциклопедию — резкая смена имен и фамилий в алфавитном или еще каком-нибудь порядке. Интересно установить между ними связь, найти законы соприкосновения» [5. S. 21].

Таким образом, в прозе сербского постмодернизма становятся преобладающими такие черты, как повышенная степень теоретической саморефлексии, литературная игра с читателем, метатекст, введение в текст подлинных и вымышленных документов или стилизация под документ, конкретизация пространства и времени. При этом герои — не характеры в традиционном смысле слова, не литературные типы, а «модели» человеческой судьбы. Модернизм и постмодернизм объединяет интерес к проблемам зла и смерти. Развитие постмодернизма пришлось на время, когда в сербской литературе росло отрицание тоталитаризма, что сказалось на

проблематике и темах произведений постмодернистских авторов и, в частности, Д. Киша.

В наиболее чистом виде постмодернистская модель повествования в сербской литературе воплощена М. Павичем в романе «Хазарский словарь» (1984). Поскольку этот тип прозы уже достаточное время используется в литературе, следует ожидать, что на смену ему придет новый, пока еще недостаточно заметный, тип повествования.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Pantić M. Aleksandrijski sindrom.* Beograd, 1991; *Jerkov A. Nova tekstualnost.* Beograd, 1991.
2. *Брајовић Т.* Пешчаник на мансарди: генеза Кишовог романескног дискурса//Летопис Матице Српске. 1944. № 4.
3. *Щепанович Б.* Рот, полный земли//Современная югославская повесть. 70-е годы. М., 1980.
4. *Kiš D. Grobnica za Borisa Davidovića.* Beograd, 1978.
5. *Kiš D. Gorki talog iskustva.* Beograd, 1991.



© 1995 г. БОГДАНОВ Ю. В.

## ПРЕРЫВНОСТЬ/НЕПРЕРЫВНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ

(на материале словацкой литературы 70—80-х годов)

Общественно-политический кризис в Чехословакии конца 60-х годов при всей своей внутренней специфике был наглядным проявлением общего кризиса системы, утвердившейся в странах Восточной Европы («социалистическое содружество») в середине XX в. В оптике дальнейшего хода истории 1968 год представляется последней принципиальной развилкой, оставлявшей еще какой-то шанс для постепенной эволюции практически однопартийных тоталитарных режимов в сторону смягченных форм социалистической (и постсоциалистической?) демократии («социализм с человеческим лицом»). Карательная «интернационалистская акция» пяти стран Варшавского договора в августе 1968 г. поставила своего рода стратегический крест на подобных надеждах. Силовая победа над «ревизионизмом» не устранила да и не могла устранить глубинных истоков кризисных тенденций. Болезнь в очередной раз была загнана внутрь, но исход ее с этого момента был по существу предрешен. Пробуксовав еще с десятков лет на одном месте, так называемый развитой, или реальный, социализм вступил затем в полосу окончательной деградации и распада.

Однотипностью конфликта предопределялся общий для всех участников финал исторической драмы; однако в каждой из стран процесс эрозии общественно-политического строя сопровождался своими внутренними перипетиями и частными, но немаловажными для этих стран особенностями. Причем такие особенности общественного климата и культурной политики, как трактовка границ творческой свободы, возможность доступа к официальному печатному станку и т. п., имели для литературы, например, первостепенное значение. С этой точки зрения ситуация в Чехословакии, подвергшейся назидательному публичному наказанию в конце 60-х годов, предстает исключительно неблагоприятной. Набиравший силу процесс демократизации общества был оборван здесь столь внезапно и бесцеремонно, что потребовалось немало времени для того, чтобы общество и творческая интеллигенция, в особенности, смогли хоть как-то оправиться от болезненного шока. Характерно, что «интернационалистская акция», уберегшая якобы Чехословакию от опасности контрреволюции, так и не стала предметом даже конъюнктурного воспевания ни в чешской, ни в словацкой литературах, пронесших через все 70—80-е годы дух устойчивого нравственного неприятия такого рода «братской помощи».

Политика «нормализации» общественных отношений, обнародованная новым

руководством страны, строилась по существу на механическом отталкивании от 60-х годов, безнадежно пораженных вирусом ревизионизма. Будучи экспонированной на литературу, такая политика угрожала возвращением в 50-е годы с безраздельным подчинением литературы нуждам политической конъюнктуры, жестким нормированием художественного творчества, насаждением догматической нетерпимости к любым отклонениям от заведомо апробированных образцов. И хотя полного, всеобъемлющего возврата все-таки не произошло (да и не могло произойти), но естественная логика литературного процесса, успевшего пройти фазу глубокой внутренней дифференциации в 60-е, годы была резко нарушена или попросту оборвана. Вот почему проблема прерывности/непрерывности, а иными словами, проблема восстановления преемственности, внутреннего исторического контекста национальных литератур не сходила с повестки дня литературных дискуссий на всем протяжении 70—80-х годов. Вокруг нее шла непрерывная, острая, хотя зачастую и завуалированная, подспудная борьба. Каким должен быть облик социалистической литературы, каковы ее параметры, закономерности развития и — главное — ее так называемые рамки, пределы? За всеми этими теоретическими и псевдотеоретическими выкладками и изысками стояла творческая судьба реальных писателей, возможность выхода их произведений в свет, в конце концов — будущее литературы.

Если говорить о Словакии, то копыа ломались в первую очередь по поводу представителей молодого поколения, дебютировавших в 60-е годы, таких как П. Ярош, В. Шикунла, Р. Слобода, Я. Йоганидес, Л. Баллек и других в прозе; Я. Стахо, Я. Мигалкович, Л. Фелдек и другие в поэзии. Именно эта плеяда молодых внесла в словацкую литературу дух разнообразия, вкус к формальному эксперименту, вступила в очевидную творческую полемику со своими предшественниками. Блокирование их дальнейшего развития нанесло бы непоправимый ущерб той самой — естественной — логике литературного процесса, разрушив тонкий внутренний механизм смены поколений. Нечто подобное как раз и произошло в чешской литературе, которая в результате резкого идеологического отсечения большого отряда представителей среднего и младшего поколений оказалась расколотой на два не сообщающихся между собой лагеря — диссидентско-эмигрантских и официально публикуемых авторов.

В Словакии, где в условиях только что созданной федерации национальный момент продолжал оказывать консолидирующее воздействие, столь радикального расщепления не произошло. Разумеется, и здесь были свои влиятельные сторонники жесткого классового подхода, ратовавшие за возвращение к исконной идейной чистоте творчества, образцы которого они усматривали в произведениях конца 40-х — начала 50-х годов, таких как «Товарищ моя страна» М. Лайчака или «Деревянная деревня» Ф. Гечко, оперативно переизданных как раз в начале 70-х годов. Однако подобное, даже гипотетическое возвращение представлялось в условиях Словакии абсолютно невысшимым. Слишком свежи были еще в памяти процессы над буржуазными националистами, в том числе над Г. Гусаком, который только что был избран на место А. Дубчека первым секретарем ЦК КПЧ. Для наиболее авторитетной части критики 50-е годы служили отпугивающим примером одностороннего, насильственно деформированного развития литературы.

В этом смысле чрезвычайно характерна дискуссия, состоявшаяся в начале 1970 г. под общим названием «Словацкая литература на пороге 70-х годов ХХ в.». Три основных докладчика — С. Шматлак, Я. Штевчек, А. Багин — выступили с обзором основных явлений и тенденций в словацкой литературе 60-х годов. При всей критичности в оценках тех или иных художественных решений общий прогноз перспектив литературного развития не выглядел мрачным. «Важно констатировать, — говорил, например, Штевчек, — что подготовительная фаза, нулевой уровень уже пройдены, старт современной прозы на новом этапе определенно состоялся, и были найдены новые методы. Теперь речь идет о том, чтобы наполнить их новым содержанием» [1]. Со своей стороны Шматлак, пожурив поколение 60-х годов за слишком затянувшийся процесс становления, связанный

с «отсутствием общественной саморефлексии», вместе с тем решительно открылся от того опыта идеологической рефлексии, который был характерен для 50-х годов: «И речи быть не может о каком-либо возврате, будь-то открытом или замаскированном, к былому волюнтаристскому нормотворчеству, к постулированию так называемых единственно правильных взглядов и художественных решений, я даже думаю, что после уяснения механизма литературной системы 50-х годов такой возврат в любой форме в целом психологически совершенно невозможен» [2]. Все докладчики, а затем и многие участники дискуссии признавали необходимость обновления литературно-критического мышления «на пороге новой исторической эпохи», в обстановке, напоминающей, по словам Шамкала, ситуацию двадцатилетней давности, т. е. 1948—1949-е годы, но рассчитывали не столько на очередные руководящие указания, сколько на «скрытую энергию самообновления» грядущей эпохи.

Очень скоро, однако, руководящие указания воспоследовали — «Уроки кризисного развития в партии и обществе после XIII съезда КПЧ» (декабрь 1970 г.), и фарватер обновления был строго определен: социалистический реализм. Тем не менее программное возвращение к этому термину, безнадежно скомпрометированному в словацких условиях идеологической практикой 50-х годов, не могло при всем желании состояться чисто механически. Процесс его реанимации неизбежно повлек за собой активизацию изучения наследия революционно-пролетарских литераторов 20—30-х годов, зачинателей социалистической литературы Словакии, так называемых давистов, многие из которых в 50-е годы подверглись репрессиям по вздорным обвинениям в буржуазном национализме. Концепция же социалистической литературы талантливого поэта и тонкого литературного критика Л. Новомеского всегда была далека от ортодоксальности, замкнутости, оставляя широкий простор для творческой инициативы. Опора на Новомеского — в 1970—1972-е гг. был издан четырехтомник его публицистических и литературно-критических статей — позволяла противостоять нажиму наиболее агрессивного вульгаризаторства.

В этой же связи нельзя не упомянуть и о факторе советской теоретической мысли, позитивно повлиявшем именно в этот переломный момент на атмосферу общественно-литературной жизни Словакии. Речь идет, в частности, о переведенной в 1972 г. на словацкий язык книги Д. Ф. Маркова «Генезис социалистического реализма в литературах южных и западных славян» и участия ее автора в принципиальной конференции о социалистическом реализме в Банской Бистрице в 1973 г. Марковская трактовка социалистического реализма как исторически открытой эстетической системы правдивого изображения жизни вошла затем в официальную резолюцию III съезда Союза словацких писателей (1977).

Сегодня понятны интенции той части словацкой критики, которая вопреки политической практике разрыва с 60-ми годами продолжала исповедывать принцип непрерывности литературного развития. Критика стремилась спасти все, что в сложившихся тогда условиях можно было спасти. Эта линия на сохранение в организме литературы ферментов роста, на удержание реальных художественных ценностей, на отстаивание минимально необходимого идейно-эстетического пространства для их приумножения часто была сопряжена с вынужденными, подчас унижительными компромиссами, с теми или иными уступками политической конъюнктуре, что само по себе свидетельствовало о хроническом неблагополучии общественного и нравственного климата. Отвоеванного таким образом пространства все же оказалось достаточно для того, чтобы большая часть поколения 60-х годов смогла продолжить свой творческий путь в литературе. На вторую половину 70-х — начало 80-х годов приходится бурный подъем словацкого романа, связанный с именами Баллека, Яроша, Шикеры, Слободы, Йоганидеса. В эти же годы внятно заявила о себе и целая плеяда молодых талантов — Й. Пушкаш, Д. Митана, И. Габай, Д. Душек и др.

В отличие от чешской ситуации, в Словакии уже с середины 70-х годов в

литературу стали возвращаться и некоторые писатели и критики, отлученные от нее по идеологическим мотивам в 1971—1972-е годы, среди них Л. Тяжкий, П. Карваш, А. Гикиш, П. Штевчек и др. Они оставались, как правило, за рамками Союза писателей, их произведения проходили придирчивую редактуру, но все-таки постепенно находили дорогу к читателю, хотя и выборочно, далеко не все. Из крупных художественных величин лишь Д. Татарка, подписавший «Хартию 77», до конца жизни так и не получил доступа к официальному печатному станку, войдя в историю литературы как один из немногих несгибаемых словацких писателей-диссидентов. За бортом общественно-литературной жизни вплоть до 1989 г. оставалась и группа литераторов, по сути приговоренных режимом к вынужденному молчанию. «Словацкая литература 70-х годов,— констатируют современные исследователи Е. Енчикова и П. Заяц,— не распалась на отдельные subsystemы. Правда, ценой элиминирования тех авторов и произведений, которые принципиально выходили за ее тематический и проблемный горизонт, т. е. ценой ее собственной системной редукции» [3].

После 1989 г. в Словакии, впрочем, как и в других постсоциалистических странах, проявилось эмоционально окрашенное стремление радикального расчета с недавним прошлым, в том числе и с литературой этого прошлого. История, однако, не бывает двуцветной, она существует в широком спектре оттенков, и каждый заслуживает внимания. В любом случае не следует забывать, что даже в наиболее сложные 70-е годы откровенно сервильные и приспособленческие тенденции не получили преобладания в словацкой литературе. Несмотря на очевидные разрывы и невосполнимые утраты она сумела сохранить и определенную непрерывность, и внутреннюю логику своего художественного развития.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Števček J.* Estetické modely súčasnej prózy//Romboid, 1970. № 3. S. 14.
2. *Šmatlák S.* Pokus o retrospektívu//Romboid, 1970. № 3. S. 6.
3. *Jenčíková E., Zajac P.* Situácia súčasnej slovenskej literatúry//Slovenské pohľady, 1989. № 2. S. 51.



© 1995 г. ШИРОКОВА Л.

## СЛОВАЦКАЯ ДРАМАТУРГИЯ 1970—1980-х ГОДОВ: МЕСТО В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ СЛОВАКИИ

Одним из важнейших и интересных аспектов в изучении и оценке драматургии 70—80-х годов является изменчивость ее положения в общем процессе развития литературы. В этом мы видим основную особенность данного этапа развития словацкой драматургии, отразившуюся и на ее специфических, художественных сторонах — характере конфликта, выборе места и времени действия, характере героев и способах их драматургического воплощения.

Этап 1970—1980-х годов представляется нам достаточно завершенным отрезком в развитии словацкой драматургии. Его своеобразие определяется как общественно-политическими, так и внутрилитературными факторами, связанными прежде всего с официально провозглашенной идеей консолидации социалистического общества, преодоления так называемого «кризиса в партии и обществе» конца 60-х годов (партийный документ «Уроки кризисного развития», принятый в 1970 г. стал почти на двадцатилетие идейной основой догматизма и стагнации общества). Развитие литературы было, тем самым, также ограничено рамками этой идеологии. В словацкой драматургии вне закона оказался целый пласт творчества, связанный с «абстрактным гуманизмом», экзистенциализмом, драмой абсурда. Один из ведущих драматургов, П. Карваш, надолго лишился возможности публиковать и ставить на сцене свои произведения.

Вместе с тем, несмотря на ограничения идеологического характера, была сохранена общая преемственность развития драматургии, ее гуманистическое ядро. В начале 70-х годов, когда словацкая литература находилась в состоянии своего рода шока, именно драматургия, опередив в идейно-художественном отношении поэзию и прозу, возглавила литературный процесс. Ее достижения оживили не только литературу, но и всю культурную жизнь.

О тяжелом состоянии в начале 70-х годов литературы, прежде всего прозы, свидетельствуют выступления критики тех лет, в частности, ежегодные обзоры текущей литературы в журнале «Slovenske pohľady». Добросовестные критики собирали в них по крохам все, что хотя бы отдаленно напоминало художественную литературу — от автобиографического романа старушки-пенсионерки до бытовых очерков из жизни цыган. Наибольшей художественной ценностью на этом фоне представлялись мемуарные произведения писателей старшего поколения — А. Плавки, Ш. Жары и др.

В драматургии, напротив, наблюдался явный подъем, причем по многим параметрам, самым очевидным из которых был количественный. Если в 60-е

годы круг драматургов был весьма узок, то в начале 70-х годов, наряду с некоторыми прежними, появилось много новых имен, таких как Петер Ковачик, Микулаш Кочан, Штефан Сокол, Эрнест Штриц и др. Наиболее крупными фигурами были в эти годы И. Буковчан (пьесы «Прогони волка!», 1970; «Петля для двоих», 1971; «Почти божественная ошибка», 1971 и др.), О. Заградник («Соло для часов с боем», 1972; «Зурабая, или эпитафия для живого», 1973; «Перешагни через свою тень», 1974; «Сонатина для павлина», 1975 и др.), Я. Солович (комедия «Приключение с нищим», «Гражданская трилогия» — «Меридиан», 1974; «Серебряный ягуар», 1975, «Золотой дождь», 1976). Разные по природе художественного дарования, эти писатели, каждый по-своему, способствовали творческому развитию словацкой драматургии. Для пьес Ивана Буковчана, например, характерна заостренность конфликта, основанного на нравственном прозрении человека; их действие, при общечеловеческой значимости поднимаемых в них проблем, часто имеет камерное воплощение. Пьесы Освальда Заградника, широко известные и за рубежами Словакии, отличаются сильно выраженным гуманистическим звучанием; действующие лица в них — часто маргиналы — старики, калеки, более всех страдающие от социальной несправедливости. Яну Соловичу наиболее близка социальная драма, где и нравственная проблематика имеет политический оттенок.

В пьесах 70-х годов преобладает современная тематика (пьесы Соловича, Заградника), однако общие социально-нравственные проблемы в ряде произведений переносятся в межвоенные годы (П. Ковачик — «Корчма под зеленым деревом», 1976) или из словацких — в иноземные реалии (И. Буковчан — «Сердце Луиджи», 1973; Ш. Кралик — «Маргарет из замка», 1974). Социальная драма значительно преобладает в 70-е годы над комедией как в количественном, так и в качественном отношении.

Со второй половины 70-х годов драматургия переходит с лидирующих позиций в литературном процессе на равноправные партнерские отношения с поэзией и прозой, а затем и уступает пальму первенства прозе, где к рубежу 70—80-х годов появился ряд крупных, художественно зрелых произведений, таких как романы В. Шикеры, П. Яроша, И. Габая, Л. Баллека, Р. Слободы, рассказы и повести В. Швенковой, Я. Йоганидеса, Й. Пушкаша, И. Гудеца и др.

80-е годы нет оснований рассматривать как отдельный этап в развитии словацкой драматургии. Вместе с тем, как в обществе в целом, так и в литературе при внешней стагнации шли естественные внутренние процессы, связанные с осмыслением истории и настоящего, национального своеобразия Словакии, усиливалась тенденция саморефлексии, что в совокупности привело в конце 80-х годов к глубоким переменам в общественно-политической и духовной жизни. Ведущими жанрами в словацкой драматургии 80-х годов стали историческая драма и комедия о современности. Словацкой истории — от глубокой древности до XIX в. — посвящены пьесы Я. Соловича («Колокол без колокольни», 1983; «Петр и Павел», 1985), М. Ферко («Смерть Горазда», 1985; «Правда Святополка», 1988), И. Гудеца и П. Вало («Князь», 1985; «Братья», 1988), В. Кухара («Растислав, князь великоморавский», 1985). Нравственные испытания, с которыми столкнулись словаки в годы второй мировой войны, осмысляет О. Заградник в драмах «Время перед рассветом», 1985 и «Имя для Михаила», 1985. Бездуховность и приспособленчество современного словацкого обывателя остро высмеиваются в комедиях Л. Фелдека, М. Ласицы и Ю. Сатинского, С. Штепки.

В целом же, на наш взгляд, драматургия в 80-е годы во многом сдала свои прежние позиции, утратила богатую внутреннюю структуру. В ней, как и во всей литературе этих лет, ощущается некоторая моральная усталость и растерянность уже иного рода, чем это было в начале 70-х годов. Необходимость преодоления этого состояния в обществе и в литературе, в частности, стала одним из факторов, приблизивших «нежную революцию» 1989 г.





© 1995 г. СТАРИКОВА Н.

## СЛОВЕНСКАЯ «МОЛОДАЯ ПРОЗА» 80-х ГОДОВ

Чтобы понять и оценить нынешнее состояние и возможности современной словенской литературы, необходимо учитывать весь путь, пройденный ею от истоков к современности. Здесь важно все: особенности начального этапа, неравномерность развития литературного процесса в Словении на протяжении второй половины XIX — первой трети XX в., значение национальной словесности для сохранения национального самосознания народа, идеологическая функция художественного слова в послевоенный социалистический период, наконец, роль литературы в создании словенской государственности. С уверенностью можно сказать, что именно благодаря следованию национальной литературной традиции словенской литературе удалось смягчить натиск ждановской модели социалистического реализма и частично избежать тотальной идеологической зависимости. В послевоенный период в Словении имела место большая нежели в других республиках Югославии свобода различных стилей, форм, направлений, так называемый «литературный плюрализм», относившийся в первую очередь к эстетическим различиям и в несколько меньшей степени — тематическим, но пока еще не к идеологическим (обязательной основой литературного плюрализма оставался «социалистический гуманизм»). Это создавало возможность некоторой автономии словенской литературы в рамках существовавшей культурно-политической системы, но автономии условной, ограниченной. Литература была свободна в выборе средств, но ограничена в темах. К аполитичности искусства проявлялась определенная толерантность. Отстраненность части литературы от текущих проблем социалистического строительства способствовала возникновению в 60-е годы прозы модернистской ориентации. Такая частичная независимость словенской литературы способствовала ее определенной европеизации и привела в дальнейшем к появлению целого ряда новых литературных течений: от постсимволизма и неоекспрессионизма до неоавангарда и постмодернизма. Их возникновение имело иную, чем в литературах Западной Европы первопричину — это была форма протеста творческой интеллигенции против существующей действительности. Впоследствии, в 90-е годы, словенские авторы середины шестидесятых — А. Хинг, В. Зупан, Б. Хофман отмечали, что для них литература стала единственным способом сохранить «суверенность духа» в условиях пусть мягкого и некровавого, но все же партийного диктата.

Окончательное освобождение от идеологической зависимости, по мнению ряда ведущих современных словенских литературоведов (Я. Кос, М. Долган, Т. Хрибар), связано с уходом из жизни одного из главных партийных идеологов Словении Эдварда Карделя (1910—1979) и кончиной бессменного руководителя СФРЮ

Старикова Надежда Николаевна — канд. филол. наук, научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

Иосипа Броза Тито (1892—1980). В этот период открывается новый этап развития словенского гражданского общества и соответственно литературы. Пережив общееюгославское «свинцовое» десятилетие 70-х, словенская интеллигенция, в том числе творческая, начинает активно выступать за демократию, политический плюрализм, свободные выборы и, наконец, за государственную самостоятельность Словении. В этом движении важную роль сыграли такие демократические издания, как молодежный журнал «Младина», возникший на волне инако- и свободомыслия ежемесячник «Нова ревия» (с 1982 г.), литературно-критический ежемесячный журнал «Литература» (с 1989 г.), а также Союз писателей Словении.

Десятилетие, политическими рамками которого стали ужесточение культурной политики СФРЮ в 70-е годы и обретение Словенией государственного суверенитета в 1991 г., в литературном отношении характеризуется словенскими исследователями как время «автономной авторской поэтики» [1]. В этот период была провозглашена идея полного отказа от идеологизированного искусства, от каких-либо отношений художника с существовавшим режимом: как сотрудничества, так и противостояния<sup>1</sup>.

В такой обстановке в начале 80-х годов в словенскую литературу приходит новое поколение творческой молодежи, которую объединяет не только год рождения, но и некая общность творчества — попытка найти свой круг тем и средств художественного выражения, определить новый онтологический статус художественного творчества. За шестилетие, охватывающее время с 1983 по 1989 гг. появляется свыше десятка новых имен авторов, чьи прозаические произведения (14 сборников рассказов, новелл, повестей и пять микророманов) получают название «молодая словенская проза» (МСП) [3]: Андрей Блатник (1963), Франьо Франчич (1958), Андрей Морович (1960), Яни Вирк (1962), Фери Лаиншчек (1959), Лела Ньятин (1963), Лидия Гачник (1962), Игор Забел (1961), Владо Жабот (1958), Алекса Шушулич (1963), Март Ленардич (1964). Рассказы некоторых представителей МСП — А. Блатника, Я. Вирка, Л. Ньятин — наряду с произведениями таких мэтров современной словенской прозы, как Д. Янчар и Б. Градишник вошли в первую английскую антологию словенской прозы «The Day Tito Died (Contemporary Slovenian Short Stories)», вышедшую в 1993 г. в Англии и США. Прежде всего, следует обратить внимание на высокое художественное качество этой литературы и хороший вкус ее авторов. Язык этой прозы богат, но в то же время не перегружен, не является утилитарной упаковкой замысла, не замещает собой действительность, но сообщает некое духовное измерение им передаваемому, в нем пребывающему смыслу.

В русле традиции словенской экзистенциальной литературы МСП реализует себя как проза интеллектуальная, детективная, фантастическая, эссеистская, как ритмизированный медитативный текст, зачастую элементы разных типов прозы взаимодействуют друг с другом, усложняя взаимоотражение речевых пластов. Как правило, эти произведения требуют от читателя определенного интеллектуального уровня, а иногда и специальных знаний, т. е. МСП можно характеризовать, как искусство в определенной степени элитарное.

Первой ласточкой МСП стал сборник рассказов тогда двадцатилетнего музыканта и студента-социолога Андрея Блатника «Букеты Адама вянут» (1983), хорошо принятый критиками и читателями. Его рассказы — наиболее характерный для МСП пример сплава фантазии, интеллекта и артистизма. Небольшие по объему лирические исповеди героя, построенные на мозаично вычурной череде ассоциаций стилистически стройны и логичны. Следующая книга Блатника «Факелы и слезы» (1987) представляет собой несколько другой тип прозы — это своеобразная пародия на научную фантастику. Имитируя научные статьи, цитируя учебники физики, химии, астрономии, снабжая текст обилием сносок и приме-

<sup>1</sup> Ситуация резко изменилась после образования самостоятельного государства Республики Словения, которое, по словам известного словенского поэта и общественного деятеля Ц. Злобца, максимально приблизило активного деятеля культуры к политике, а культура стала наравне с другими общественными институтами строителем государства [2].

чаний, автор приспособливает жанр короткого рассказа к научным требованиям времени, одновременно усложняя текст и делая его динамичнее и занимательнее.

Определяя главную особенность прозы А. Блатника, словенские критики Т. Вирк и И. Андрична независимо друг от друга, пришли к определению ее как «метафигурной» [4], содержащей «вымысел вымысла» [5]. Придуманность, сделанность ситуаций, сюжетных поворотов, сложная взаимозависимость линий автора, повествователя и лирического героя придает рассказам молодого прозаика загадочную привлекательность.

Интеллектуальное направление характерно и для произведений Андрея Моревича (сборник рассказов «Простой бег», 1986). Его герой, интеллектуальный наркоман, уходящий в мир высокоумных игр не потому, что стремится бежать от действительности, а желая испытать высшее состояние ума и духа — интеллектуальное наслаждение. Техника Моревича — моментальный рентгеновский снимок, пронизывающий ум и душу человека и высвечивающий внезапно все тайное. Писателя отличает изящная манера письма, высокая культура языка и мягкий юмор.

Произведения одного из самых плодовитых представителей МСП Франьо Франчича (автора двух сборников рассказов «Ego trip» (1984) и «Нет» (1986), а также двух коротких романов «Родина, бледная мать» (1986) и «Акт» (1988)) являют собой совершенно иную разновидность прозы, далекую от интеллектуальных изысков Блатника и Моревича. Это простодушные и банальные рассказы о повседневности, основанные на криминальных сюжетах, бытовых столкновениях, грубом сексе, герои которых принадлежат к низшим, а иногда и преступным слоям общества. Продолжая традицию словенского «симпатичного нигилизма»<sup>2</sup> (М. Рожанц, П. Зидар, В. Зупан, М. Доленц) Франчич делает безымянного героя своего сборника «Ego trip» воплощением безнаказанного насилия. Там действует не интеллигентный аутсайдер 60-х, лишний в цивилизованном мире, не вписывающийся в систему диссидент, а совершенно сознательно вступивший в конфронтацию с обществом и властью преступник. Выбранная автором тема требует простоты и лаконичности изложения, а также некоторой специфической осведомленности: знание блатного жаргона, статей уголовного кодекса, географии и классификации тюрем. Основной прием Франчича — внутренний монолог, а также чередование повествования *ich*-формы с рассказом от второго и третьего лица.

Взаимоотношения Эроса и Танатоса, а также Смерти и Жизни (первая придает смысл второй, ибо она делает жизнь Жизнью) занимают воображение еще одного автора МСП — Яни Вирка. Новеллы книги «Прыжок» (1987) и микророман «Рахиль» (1989) являют собой синтез философско-психологических и фантастических элементов повествования. Мир для Вирка есть лабиринт, сеть, ловушка особого рода. В то же время Человек — это тоже лабиринт, это пространство, в котором Жизнь ищет Смерть, а Любовь противостоит этому. Рассказы Вирка изобилуют непредвиденными сюжетными поворотами, часто имеют фантастический неожиданный финал. Текст ритмизирован, в его построении использованы принципы музыкальных композиций, когда основная тема обогащается многочисленными вариациями, часты повторы отдельных фрагментов.

Словенские литературоведы, анализирующие МСП, выдвигают прозу Вирка на одно из первых мест, подчеркивая «фундаментальность и всеобщность» [6] ее проблематики.

Один из последних сборников МСП «Мои женщины» (1989) Марта Ленардича можно отнести к жанру «новой» фантастики. Иронические, порой сатирические наблюдения героя за фантастическими существами с других планет, именуемыми женщинами, налет мягкого раблезианства, абсурдные повороты интриги, движимые логикой вымысла, отличают прозу этого автора. Ленардич видит миссию

<sup>2</sup> Термин словенского литературоведа Т. Вирка в адрес части словенской прозы 70-х, авторы которой выступали против идеологизированного искусства.

художника в утверждении принципа абсолютной вымышленности литературного произведения и не признает никаких аналогий и параллелей с реальной действительностью. «Мои рассказы находятся „по ту сторону добра и зла“, поэтому они не затрагивают понятие „мораль“» [7], — так охарактеризовал прозаик свое творчество.

Кроме названных книг в рассматриваемый период были опубликованы также сборники новелл И. Забела «Стратегии и тактики» (1985), В. Жабота «Буковая мать» (1986), Л. Гачник «Магдалена» (1987), Л. Ньятин «Теснота нетерпения» (1987), А. Шушулича «Кто убивает сказки и другие истории» (1989), а также микророманы Ф. Лаиншчека «Щель» (1986) и «Детонатор» (1988).

Даже беглый обзор авторов и произведений позволяет отметить, что молодая словенская проза безусловно явление в современной словенской литературе, заслуживающее дальнейшего внимания и анализа. В интервью журналу «Литература» (1994) А. Блатник заметил, что всех авторов МСП объединяет помимо возраста и таланта еще и присутствие в их произведениях чего-то неподвластного рациональному анализу, что и делает их по-настоящему интересными. С этим нельзя не согласиться.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Hribar T.* Slovenski kulturni razvoj 1945—1984. *Sodobnost*, 1985. № 2. S. 189.
2. *Zlobec C.* Anketa sodobnosti. Zgodovina in etika nekega boja. *Sodobnost*, 1991. № 8—9. S. 763.
3. *Juvan M.* Postmodernizem in «Mlada slovenska proza». *Jezik in slovstvo*. 1988/89. № 3. S. 328.
4. *Virk T.* Postmoderna in «Mlada slovenska proza». 1991. Maribor. S. 15.
5. *Androjna I.* Pripovedni položaj v kratkih pripovedih Andreja Blatnika. *Jezik in slovstvo*. 1992/93. № 4. S. 123.
6. *Bajt D.* Slovene short prose of the last twenty years // *Litterae slovenicae*. 1991. № 1. S. 214.
7. *Lenardič M.* Moje ženske. Predgovor. *Ml. knjiga*. Ljubljana. 1989. S. 2.



© 1995 г. ИЛЬИНА Г. Я.

## КРИТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В ХОРВАТСКОЙ ПРОЗЕ 70-Х ГОДОВ

Для Югославии, впрочем, как и для некоторых других европейских стран, рубежом в политической, культурной и литературной жизни стал 1968 г. Этот год как бы сфокусировал в себе тенденции, накапливавшиеся в Югославии в предшествующее время, и обнажил те политические, социальные, экономические, национальные и культурные противоречия, которые получили ускорение после конституции 1963 г., закрепившей процесс экономической децентрализации и расширения прав республик. Он открыл полосу массовых забастовок, демонстраций, студенческих волнений и других форм общественного протеста, которые будут сотрясать Югославию последующие два десятилетия и в конце концов приведут к ее распаду.

Одной из наиболее активных форм протеста становится и художественная литература. В том же 1968 г. увидели свет очень важные для понимания духовного и морального состояния общества романы С. Новака «Благовония, злато и ладан» в хорватской литературе, Д. Михайловича «Когда цвели тыквы» и С. Селенича «Мемуары Перо-калеки» — в сербской. Эти книги сигнализировали о тех изменениях, которые наметились в самом отношении к идейной ангажированности художественной литературы и о тех существенных переменах, что затронули ценностную основу этой ангажированности, отличную от сложившейся в первые послевоенные годы. То, что эти произведения не были случайным явлением, возникшем на волне политических событий, а означали появление новой для послевоенной югославской литературы тенденции, говорит продолжение этого направления, наряду с другими, в 70-е годы в творчестве хорватских (Й. Баркович, И. Аралица, И. Кушан, А. Шолян, И. Брешан), словенских (Б. Зупанчич, П. Козак, Б. Хофман), сербских («проза действительности», А. Исакович, Д. Киш, Б. Чосич, Э. Кош), македонских (К. Чашуле, Й. Павловски, З. Ковачевски) писателей.

Разумеется в югославской прозе и раньше присутствовали критические тенденции, особенно в сатирической литературе, комедиях, скетчах и куплетах. Но жизнь этих жанров была чрезвычайно осложнена строжайшим идеологическим контролем, сковывала их и автоцензура. Отдельные критические моменты проскальзывали также в литературе о войне и в весьма малочисленной прозе и драматургии о современности. Во всяком случае, нередки были запреты отдельных произведений, театральных постановок и кинофильмов, журналов и литературных газет [1].

Более серьезно и глубоко проблемами социализма, его теории и практики

занимались философы («Pragis», Загреб, 1960—1984, издание журнала неоднократно приостанавливалось; «Problemi», Любляна, 1960—1964). Прежде всего они признали наличие конфликтов и в социалистическом обществе, а также право общества на критическое осознание протекающих в нем процессов. Ставя общеполитические вопросы, критикуя советский опыт строительства социализма, они косвенно затрагивали и югославскую его модель. Между тем, даже отвлеченная постановка проблем отчуждения, гуманного социализма, прав личности и народа, национальных взаимоотношений, а уж тем более поддержка белградской и загребской профессурой — основных авторов названных журналов — бунтующих студентов, вызвали резкую реакцию партийного и государственного руководства. Эти профессора были исключены из СКЮ и уволены из университетов. Но семя критического отношения ко всему существу, семя сомнения было брошено в подготовленную почву. Нельзя забывать, что в 60-е годы югославское общество становится все более открытым экономически, его граждане могли относительно свободно ездить за пределы своей страны, им стала доступна практически любая философская, историческая, художественная литература, зарубежные театры и кинофильмы. Поэтому к концу десятилетия в еще большей степени, чем раньше, обнаруживаются противоречия между провозглашенными свободами и репрессивными действиями властных структур, стремящихся защитить идеологическую монополию и свою культурную политику. В ответ на это критический дух все шире проникает во все области творчества и становится неотъемлемой частью общественной жизни Югославии на многие годы.

Появление критической ориентации в художественной литературе приводит к изменению самих творческих позиций. Прежде всего это выразилось в повороте от абстрактно ставившихся проблем отчуждения, равнодушия, всеобщей гонимости человека, внутренней эмиграции и одиночества к современности, от экстерриториальности и вневременности к реалиям социалистической Югославии. Дух реализма, казалось бы навсегда изгнанный из литературы, оживает вновь, как и национальные традиции критического реализма с его этическими и социально-психологическими принципами. Этот процесс захватил все югославские литературы, правда, с разной степенью глубины и интенсивности. В сербской литературе он шел более активно и последовательно. Здесь в конце 60-х — начале 70-х годов сформировалось течение молодых писателей, получившее название «прозы действительности» (Д. Михаилович, В. Стеванович, М. Савич). Критическая устремленность проявилась и у писателей, не принадлежавших к этой группе (например, у С. Селенича, Б. Пекича, М. Булатовича и др.).

В хорватской литературе сложилась иная ситуация. На рубеже 60—70-х годов в нее вступила группа молодых прозаиков, П. Павличич, К. Кеканович, К. Кларич, Г. Трибусон, С. Гольдштайн — творчество которых имело общие, но отличные от сербских молодых, черты. В произведениях этих писателей хорватская критика (Б. Донат, В. Вискович) [2] увидела подражание Борхесу и назвала их борхесовцами. Их тяга к фантазмагорической универсальности, как и у их сербских и словенских коллег в 60-е годы, воплощалась в созданном ими ирреальном мире, лишенном конкретных примет времени и пространства, мире с нарушенной логикой, господством языковой двусмысленности. При этом, по мнению Б. Доната, хорватские молодые, подражая Борхесу, «потеряли его интеллектуальное беспокойство». Они программно отталкивались от реальности, от общественно значимых конфликтов и социального содержания в пользу эlegantности, оккультизма и фантастики, видя смысл литературы в расшифровке тайны искусства и самом процессе письма. Ничего значительного в этот период своего творчества эти писатели не создали. Затем их пути в литературе разошлись.

Между тем, именно в это же время в хорватской литературе появляются произведения, говорящие о том, что процесс формирования в ней критического направления тоже шел. Не все созданные тогда художественные произведения были значимы, но о зарождении самой тенденции они, бесспорно, свидетельствовали (И. Баркович «Айсберги», 1969; И. Аралица «Филипп, рассказ об ореховом

сундучке», 1970; М. Саболович «Опьянение», 1968). Обращает на себя внимание, что представляющие эту линию в хорватской литературе авторы были разного возраста и разных эстетических пристрастий. Так, Й. Баркович (р. 1918) был одним из активных соцреалистов первых послевоенных лет, ныне — он страстный исследователь общественных ситуаций и их роли в судьбе раздавленных ими людей. Своим общественно-политическим романом «Айсберги» он одним из первых в Хорватии участвует в дегабуизации некоторых тем, например, таких как политическая атмосфера конца 40-х годов, столкновение разных общественных групп и потерпевшие в нем жизненное крушение люди. Он остается реалистом эпического склада, для него важны актуальность сюжета, фабула, обусловленность человеческого поведения общественно-политической ситуацией. И. Аралица (р. 1930) и М. Саболович (р. 1935) по сути только входили в это время в литературу, они также придерживались традиционного реалистического письма.

Наибольший резонанс получили произведения трех авторов. Это были уже известные писатели — Слободан Новак (р. 1921), Антун Шолян (р. 1932) и И. Кушан (р. 1933) — писатели, очень разные по своей творческой манере. Проза С. Новака близка к психологическо-реалистической с акцентом на этических проблемах; Шолян и Кушан склонялись к экспериментаторству с явным тяготением к экзистенциальным проблемам бытия. И это очень показательный факт, ибо он говорил о том, что критическая литература вбирала в себя разные стилевые модели — и реалистические и альтернативные реализму, — преобразуя исторический и семейный роман, психологический и исповедально-личный тип прозы, объективизируя сатиру, фантастику, гротеск и иронию. Возникает некий новый художественный конгломерат стилевых и жанровых компонентов, который критика, в том числе и югославская, часто называет постмодернизмом. Но это понятие чаще всего лишено ясного содержания, и поэтому лишь анализ произведения может дать представление о типе художественного творчества, к которому оно принадлежит.

Несмотря на различия исходных позиций, да и дальнейшего развития этих писателей, их объединяло все нарастающее настроение разочарования в реальном воплощении социализма в Югославии. Тема неосуществленных идеалов, разрушения иллюзий, превращения искреннего энтузиазма военных и первых послевоенных лет в моду и циничное словоблудие, тема погубленных судеб, несостоявшейся общественной мечты о возможности построения счастливого будущего, разрушая до основания старое, становится теперь для них основной. Не случайно произведения этих авторов чаще всего представляли исповеди героев, захваченных в водоворот событий. Все они оказываются аутсайдерами, так или иначе сломленными и выброшенными из активной жизни людьми.

В романе И. Кушана «Башня» (1970) герой, сам называющий себя «злонамеренным типом» за неумеренное любопытство и некстати задаваемые вопросы, рассказывает о том, как в местечке Горни Сурковац по инициативе местного политического деятеля некоего Цуцо вместо школы и дороги строится башня. Но вскоре обнаруживается, что башня кривая и что у нее нет даже ступенек, по которым можно было бы на нее взобраться. Ничуть не смутившись этим обстоятельством, автор проекта объявил свое произведение первой спланированной кособоклой башней. Так, строительство башни стало самоцелью и «никто больше не задавался вопросом, для чего она предназначена». Перестает задавать его и рассказчик, превратившись, как и его земляки, «в своего человека», «все больше попивающего ракию и все меньше подающего какие бы то ни было идеи». С помощью реальных деталей, которые передают колорит и психологию среды, Кушан оживляет хорошо узнаваемое в гротескной картине романа время.

Трагедия героя романа С. Новака «Благовония, золото и ладан», инвалида народно-освободительной войны, раскрывается в его горьком расчете со своим прошлым и прошлым своего поколения, не сумевшего революционную победу превратить в победу человечности. Добровольное изгнанничество — он с женой поселяется на одном из далматинских островов и ухаживает за парализованной

полубезумной старухой, бывшей владелицей здешних мест — не спасает его от тяжелых дум. И если бывшая хозяйка острова, по его словам, «будучи инвалидом конфискации, национализации и коллективизации, т. е. историческим инвалидом», потеряла лишь имущество, то у него и его сверстников «была конфискована, национализирована и коллективизирована жизнь». Победа революции обернулась потерей гуманности. Перерождается не только площадь Свободы, которая под сенью разросшихся дубов лишилась неба и солнца и по сути перестала быть площадью, но переродились сами борцы за Свободу: «В нас нет и следа от того, чем мы были раньше и чего мы хотели. Мы были собственными великими предками; сейчас мы их выродившиеся потомки». Им, участникам грандиозного общественного переворота, казалось, что ничего не имея, они приобретут все. «Мы не знали, — размышляет герой, — что все то, что исчезает в мире под воздействием насилия и нашего невежества, все это будет потерей и для нашего мира. Мы думали, что открываем золотую эру, а на самом деле, по-моему, вряд ли найдется теперь охотник отнять у нас тот мир, каким он сейчас стал...». Соединяя исповедальную форму личного свидетельства с объективизированным описанием, конкретную картину и образ с идеей о них, иронию с психологически углубленным фактом, С. Новак добивается органичного сочетания традиционной моралистической, причем откровенно моралистической, прозы с гротескными формами и абсурдистским выворачиванием реальности.

О том, каким этот мир стал, более развернуто рассказывает роман Антуана Шоляна «Гавань» (1974). Первые, искусно сконструированные романы этого писателя («Специальные представители», 1957; «Предатели», 1961; «Небольшая экскурсия», 1965), в центре которых находился молодой, неприемлющий общественные нормы герой, лишь косвенно затрагивали социальные конфликты. В 1970 г. писатель заявляет, что видит смысл писательского труда в том, чтобы «не исследовать свои или чьи-то убеждения, не давать рецепты счастья, а говорить правду о людях, среди которых живешь, и о мире, каким ты его видишь» [3]. И далее: «И если мы не в состоянии увидеть ценности в обнаженных человеческих поступках, то я не знаю, где их искать» [3]. Теперь Шолян, как и многие писатели восточноевропейских стран и Советского Союза (В. Распутин, В. Астафьев, Ю. Ковалец, Й. Радичков и др.), задумывается над вопросом о цене социалистической цивилизации. И не только в ее отношении к деревне или провинции, а в целом к обществу.

Герой романа инженер Деспот направлен строить гавань в родной городишко Мурвицу, где параллельно со строительством порта ему предстоит «развивать новый тип сознательности, готовить людей спокойно воспринимать перемены их патриархального уклада» (цит. по: [4]). Ему кажется, что это перст судьбы — со стройкой воскреснут он, до того неудачник, и его родная Мурвица. Однако очень скоро он начинает понимать, что стройка не зависит от него, что она движется сама по себе и «захватывает, переживает и переваривает все, к чему прикоснется своим жалающим, просачивающимся внутрь жертвы телом». Впервые он задумывается о цене пришедшей в провинцию цивилизации, когда видит прочерченную кем-то на бумаге линию будущей магистрали, проложенной через кладбище и часовню. Но на пути к прозрению было совершено столько компромиссов, столько сделок с совестью, что внутреннее разрушение души остановить было уже невозможно. Деспот последним узнает, что геологи ошиблись и в этих местах нет нефти, а следовательно не нужен и порт. Значит не нужны и все принесенные жертвы, в результате которых прелестное живописное место на морском побережье превратилось в грандиозную свалку. Однако всего страшнее оказалось то, что «никто, буквально никто из людей не видел в случившемся ничего страшного... Все воспринимали это как нормальный на нашем свете абсурд...», «садизм реальности, где действуют злобные законы». Инженер остается один среди бетонных руин, брошенный женой и любовницей, ушли и строители. Распад души завершается потерей и человеческого облика: «Его ризница была



исчерпана. Он чувствовал, что волосы густой и темной шерстью вырастают у него на лопатках и на груди и постепенно, минуя ладони, спускаются на руки».

Всегда свойственные Шоляну ирония и самоирония в этом произведении переходят в сарказм по отношению к столичным управленцам, в изображении торжеств по случаю начальственного приезда в Мурвицу, столь напоминающих подобные ритуалы в советской жизни: речи, тосты, детский хор, славящий свободный труд, в том числе исполняется и песня «Волга, Волга», которую подхватывает весь зал. Казалось бы, литература возвращается к описательным дидактическим формам с идеологическим тезисом. Сменился лишь знак в оценках: восторженный энтузиазм — на пессимизм, надежда на светлое будущее — на безверие. Но это не совсем так, хотя черты всего этого присутствуют и у Шоляна, и у других писателей. Не так, в силу того, что возрождающаяся критическая литература, учитывая пройденный в 60-е годы путь экзистенциального углубления в сущностные вопросы, сумела соединить гносеологическое, познавательное отношение к действительности, основанное на социально-исторических принципах, с принципами онтологически-антропологическими. Поэтому, опускаясь в гущу современных событий, восстанавливая частично или полностью сюжет, конкретную мотивацию и психологический анализ, она видела экзистенциальную драму современного человека в давлении внешних факторов и их разрушительной силе. Это концептуальное слияние двух начал отразилось и на форме. Чаще всего это была литература-исповедь, горькая и жестокая. Но рассказчик в ней не выступает как всезнающий наблюдатель, он сам познает неясную ему истину, ведя рассказ о том, что он знает и чему был свидетелем. Он передает мысли и других людей, и таким образом излагает свое субъективное видение соотнося его с разными точками зрения. Так рождается многозначность повествования, его объемность, благодаря чему усиливается впечатление универсальности трагизма человеческой судьбы в XX в.

Во всех названных произведениях литература обратилась к серьезным проблемам нравственности человека, взявшегося за переделку мира, его взаимоотношений с людьми, оказавшимися втянутыми в этот процесс. Она задумалась над ответственностью за разрушение устоявшихся форм жизни, культуры, морали. Литература забила тревогу, все глубже вникая в проблемы внутренней эмиграции, проблемы молодежи, не принимающей «установленных правил игры в обществе» и ищущей выхода в презрении к обычной жизни, в овладении в совершенстве «самыми вульгарными и дешевыми средствами самообмана», находя их в праздном цинизме, полном равнодушии к будущему, пустом времяпровождении, пьянстве и наркотиках. Она расширяет тематический круг, разбивает существующие запреты и смело обращается к чисто политическим проблемам, имевшим самое непосредственное влияние на нравственное здоровье общества. Это такие проблемы, как национальная вражда, «вдруг» вспыхивающая то тут, то там на территории Югославии, как массовые репрессии конца 40-х годов и молчание общества по этому поводу. Литература боролась за то, говоря словами А. Шоляна, чтобы помочь человеку прожить свою жизнь с человеческим достоинством, не закрывая глаза на правду, какой бы страшной она ни была. Проза критической ориентации не заняла ведущего места, она не вытесняла другие типы творчества, но ей безусловно принадлежит очень важная роль в духовной жизни югославских народов. Ее художественная и этическая энергия была направлена на демистификацию и демифологизацию ложных истин, на критическое преодоление страха перед истиной подлинной. Эта энергия питалась идеями общечеловеческой морали, противостоящей насилию над человеком, унижению его даже во имя возвышенных идеалов.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Peković R.* Ni rat ni mir. Panorama književnih polemika 1945—1965. Beograd, 1986.
2. *Donat B.* Brbljava sfinga. Kronika hrvatskog poratnog romana. Zagreb, 1978; *Visković V.* Mlada proza. Zagreb, 1983.
3. *Šolan A.* Izabrana djela. Zagreb, 1987. Т. 1. S. 335.
4. *Шолян А.* Гавань/Пер. Т. Поповой. М., 1989.



© 1995 г. ШЕРЛАИМОВА С.

## ЖАНРОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЧЕШСКОГО РОМАНА 70—80-х ГОДОВ

Драматическим рубежом в послевоенной истории Чехословакии стал 1968 г.— год наивысшего подъема движения за демократизацию, получившего метафорическое название «Пражская весна», и его тяжелого поражения. Вновь была установлена жесткая цензура, началась идеологическая чистка во всех областях государственной и общественной жизни. Этот процесс, называемый «нормализацией», очень болезненно отразился на культуре, на развитии чешской литературы, в том числе и потому, что писатели (и писательские организации) играли самую активную роль в реформаторском движении 60-х годов. Репрессивные меры затронули их в первую очередь.

Власти распустили Союз чешских писателей, председателем которого был Я. Сейферт. Новый Союз писателей, учредительный съезд которого состоялся в мае 1972 г., создавался под строгим партийным контролем и в него была принята едва лишь четвертая часть членов прежнего Союза. Авторам, чья политическая позиция казалась партийному руководству враждебной или просто сомнительной, было запрещено печататься; многие видные писатели оказались в положении диссидентов (Л. Вацулик, В. Гавел, И. Клима, П. Когоут).

В течение первых лет после разгрома «Пражской весны» более ста чешских литераторов были вынуждены эмигрировать, среди них такие известные прозаики, как М. Кундера, Й. Шкворецкий, А. Лустиг. В результате чешская литература раскололась на «официальную», выходящую в стране легально, и литературу диссидентскую и эмигрантскую, печатавшуюся в подпольных и зарубежных чешских издательствах. Из последних самым крупным было «Sixty — Eight — Publishers», основанное Й. Шкворецким и его женой писательницей З. Саливаровой в Торонто.

Для официальных писательских организаций, литературной прессы и критики (заметим, что после 1968 г. число чешских литературных журналов, которых раньше было около двадцати, сократилось до одного единственного «Literárního měsíčníka») эта вторая литература как бы вообще не существовала до последней трети 80-х годов, когда о ней стали появляться отдельные критические упоминания. Соответственно эмигрантская и диссидентская критика мало и по преимуществу критически отзывалась о литературе официальной.

Тем не менее было бы непростительным упрощением непосредственно переносить схему идеологического раскола чешского общества на литературу. В реальной действительности в разных ее ветвях развивались не только противо-

положные, но и сходные тенденции, что отчетливо просматривается, например, в типологии романских жанров. Неверно было бы и прямо противопоставлять две ветви чешской литературы в качественном отношении.

Целый ряд писателей-диссидентов и эмигрантов создали в тот период произведения, получившие международное признание; назовем хотя бы романы М. Кундеры и Й. Шкворецкого. Но в эмигрантских и подпольных изданиях выходила и посредственная литературная продукция. В официальной чешской литературе были обильно представлены конъюнктурные произведения; большими тиражами и в прекрасном оформлении издавались даже весьма слабые сочинения функционеров Союза писателей. Но легальная литература в стране отнюдь не сводилась к этому. Вот что писал в 80-е годы известный чешский литературовед-эмигрант А. Мештян в книге «Чешская литература 1785—1985»: «Официально разрешенные произведения иногда достигают приличного и даже очень высокого уровня, а среди официальных дебютантов есть и подающие большие надежды» [1].

Можно расходиться с А. Мештяном в оценке отдельных произведений и того, кто именно «подавал надежды», но он безусловно прав в том, что новейшая чешская литературная история складывается из столкновения и переплетения разных литературных ветвей или «кругов», которые не только спорили между собой, но порой и дополняли друг друга.

Легальная чешская литература далеко не сразу оправилась от потрясения августа 1968 г. Чистки, цензура, запреты на публикацию образовали в ней зияющие пустоты. Многие авторы, даже лояльно отнесшиеся к режиму «нормализации», пребывали в состоянии растерянности. Литература на первых порах отчетливо стремилась уйти от острых проблем современности, предпочитая нейтральные сюжеты. Примером может служить отвлеченно-лирический роман Я. Отченашека «Когда в раю шел дождь» (1972), где в традициях психологического реализма автор повествовал о молодых супругах, отказавшихся от суетной городской жизни, занявшихся восстановлением отеля в безлюдном горно-лесистом краю. Типичной для начального послеавгустовского этапа была и повесть З. Плугаржа «Конечная станция» (1971): ее действие происходило в доме для престарелых.

В известной мере отстраненностью от современности объясняется обращение писателей к историческим сюжетам. В жанре исторической прозы выступают не только ранее зарекомендовавшие себя исторические романисты, такие как В. Каплицкий, М. В. Кратохвил, В. Нефф, но и авторы, прежде в этом жанре не писавшие, например, Б. Ржига, О. Данек, В. Кёрнер. Чешский исторический роман переживает своего рода ренессанс, обогащается новыми жанровыми вариантами и приемами (принцип монтажа, широкое использование документов и «работа под документ»). Популярной в 70—80-е годы была и научная фантастика. Однако было бы затруднительно отметить новые художественные достижения в жанре, в котором чешская литература прошлого дала такие высокие образцы, как романы и драмы К. Чапека.

Не только на начальном этапе, но и в последующие годы «нормализации» обращение к политическим событиям 1968 г. было в официальной чешской литературе весьма редким явлением. Печально знаменитым и практически единственным примером этого рода остается роман «Ва-банк!» (1973) А. Плудека, в котором «Пражская весна» представлена как происки сионистов. В большинстве случаев в изображении эпохи 60-х годов писатели останавливались перед решающими событиями 1968 г. Излишняя политическая тенденциозность мешала даже опытным авторам создать правдивую картину кризисных процессов в чешском обществе. Именно поэтому неудача постигла К. Мисаржа. В его романе «Плавание на стебле травы» (1986) узнаваемо и в резко критичных тонах изображена чешская творческая интеллигенция, но невыразительные главные герои, клочковатость композиции и, что самое важное — явная заданность разоблачений не позволили писателю дать подлинно художественный анализ жизни кризисных лет.

В чешской литературе «второго круга» тоже не так много произведений, в которых речь идет непосредственно о событиях 1968 г. Эта проблематика широко обсуждается в политической публицистике самиздата и эмиграции, но в художественных произведениях она, как правило, не выдвигается в центр, а лишь затрагивается «по ходу действия». В качестве примера можно привести роман М. Кундеры «Непереносимая легкость бытия» (Торонто, 1985). Его герои — врач Томаш и его жена Тереза без вины попадают под пресс послеавгустовских репрессий, мечутся между родиной и эмиграцией. Этот роман, получивший международную известность в том числе и благодаря удачной голливудской экранизации, мог стать действительно этапным произведением чешской литературы, но этому воспрепятствовала та же, что у Мисаржа, политическая заданность, пусть и с обратным знаком, и чрезмерное педалирование эротических сцен в ущерб психологизму.

Серьезные художественные достижения чешской литературы 70—80-х годов связаны с углубленным реалистическим исследованием жизни первого послевоенного двадцатилетия, особенно — с новым осмыслением действительности начала 50-х годов. Это относится как к официальной, так и к самиздатской и эмигрантской литературе. Несомненно, что импульс новому прочтению недавнего прошлого дали политические, философские и литературные дискуссии 60-х годов, начавшийся критический пересмотр послевоенной чешской истории. Такой подход диктовался и возросшим жизненным опытом авторов этих произведений.

В эмиграции были изданы написанные ранее (по крайней мере, в основной своей части), посвященные этой тематике романы Й. Шкворецкого и М. Кундеры. Таков, например, некоторыми критиками признаваемый лучшим у автора, роман Й. Шкворецкого «Танковый корпус» (Торонто, 1971); его набор в Праге в 1969 г. был рассыпан. Служба в чехословацкой армии начала 50-х годов героя романа Данни Смиржицкого (выступавшего также в первом автобиографическом романе Шкворецкого «Трусы» (1958) и других его произведениях) изображена здесь в гашековской сатирической манере, с широким использованием армейского и молодежного жаргона. В некоторых романах Шкворецкого о послевоенной чешской жизни звучат не только критические, но и ностальгические, хотя и не без иронии, ноты, ноты сочувствия тем, кто стремился преданно служить утопическим идеалам. Таковы романы «Чудо» (Торонто, 1972) и «История инженера человеческих душ» (Торонто, 1977): в них выступает все тот же Данни — и молодой, и уже постаревший. В обоих романах чередуются разные временные пласты, изображается жизнь чехов на родине и в эмиграции, мастерски даются языковые характеристики персонажей.

Более жесток в изображении чехословацкой действительности М. Кундера в романе «Жизнь не здесь». Он был написан на родине и впервые издан (1973) в переводе на французский язык еще до вынужденной эмиграции автора (1974). Герой романа — амбициозный, но бездарный поэт Яромир, в конце концов ставший доносчиком, нарисован с безжалостной иронией.

Заслуживающие внимания достижения официальной чешской литературы часто также были связаны с новым видением послевоенной жизни, например, роман Я. Коларовой «Мой мальчик и я» (1974); в нем сделана попытка осмыслить современные психологические и этические типы человеческих характеров в свете их предыстории и новейшей истории страны. Роман, построенный по принципу монтажа временных пластов, завершается символической смертью главной героини в канун событий 1968 г. Но остается ее сын, повзрослевший «мальчик», который изображен с любовью, но и с некоторой критической настроенностью.

Чешскую жизнь на переломе от дофевральского к послефевральскому этапу сделал предметом изображения К. Мисарж в романе «Периферия» (1977), который отличала светлая тональность. Не без юмора написаны образы убежденной коммунистки, «французской тети», (вернувшейся после войны из Франции бывшей чешской эмигрантки) и дяди-приспособленца, который вольготно себя чувствует и при рыночной экономике, и при социализме.

Противоречивые судьбы чешской интеллигенции после 1945 г. стремился показать З. Плугарж в романе «В шесть вечера в „Астории“» (1982), который можно считать лучшим в его творчестве. Судьбы семерых выпускников гимназии 1942 г. и их классного наставника Крчмы прослеживаются в романе на фоне перемен в истории страны вплоть до кризиса 1968 г. Акцент сделан здесь не на изображении внешних событий, а на духовных исканиях и заблуждениях героев, на их нравственной биографии. При известной иллюстративности повествования автору тем не менее удается затронуть некоторые важные этические проблемы, предложить свое, пусть и несколько прямолинейное решение с гуманистических позиций.

Чешская жизнь 70—80-х годов с ее новыми коллизиями получила наиболее интересное воплощение в творчестве писателей молодого поколения, чья юность пришлось на бурную эпоху «Пражской весны», а литературные дебюты — уже на период «нормализации». Это поколение И. Швейды (р. 1949), К. Костргуна (р. 1942) и более молодых Р. Йона (р. 1954) и З. Заплетала (р. 1954).

Главным художественным ориентиром для этого поколения было творчество В. Парала, одного из ведущих представителей чешской «иронической прозы» 60-х годов, создавшего оригинальный жанр романа об унифицированной и бездуховной современности. В Парал продолжал писать в этом жанре и в рассматриваемый период. Его самый удачный новый роман этого типа «Муки воображения» (1980). Как и прежние произведения писателя, он посвящен современной технической интеллигенции, иронически изображает погоню за успехом и жизненными благами, однако ирония автора была оттенена грустью о несбывшихся мечтах главного героя.

Молодые писатели восприняли от Парала ироничную манеру письма и набор художественных приемов, равно и преимущественное внимание к интеллигенции технических профессий. Но общие эстетические посылки получили у каждого из них индивидуальную окраску. Пожалуй, по жанровой структуре наиболее близка параловскому роману «Авария» (1975) И. Швейды, принесящая молодому автору шумный успех. Но в ней, при несомненных чертах сходства, нет холодноватой отстраненности, характерной для Парала 60-х годов. То же можно сказать о Костргуне и Заплетале, хотя и они во многом идут в фарватере параловского романа.

Среди книг Костргуна выделяется роман «Свадьба столетия» (1984). Его герой — талантливый молодой зоотехник, возглавляющий строительство по последнему слову науки крупного животноводческого предприятия. Однако он оказывается бессильным против халтуры и интриг и уступает место бездарному карьеристу.

Нарастание критического отношения к современному обществу отчетливо отразил роман З. Заплетала «Полуночные бегуны» (1986), где художественными средствами предпринято своего рода социологическое исследование жизни небольшого промышленного городка в чешской провинции на протяжении точно обозначенного отрезка времени. Писатель показывает поведение представителей различных социальных групп — интеллигенции, рабочих, работников сферы обслуживания и медицины в обычной будничной обстановке. Автор стремится к бесстрастному тону хроникера, но порой переходит и к прямым оценкам героев: «Они жили по своим правилам, а такие слова, как мораль, честь, гордость, правда — вообще изгоняли из своего мозга». В романе ощущается стремление убедить людей, что они живут нелепо и часто действуют себе во вред.

Подобную позицию, по сути, занимает и Р. Йон в романе «Мemento» (1986), посвященном такой болезненной для современного общества проблеме, как наркомания. Откровенная натуралистичность многих сцен и описаний не выливается, однако, в черный пессимизм. Конец всех основных героев романа, не совладавших с пагубной страстью, трагичен, но автор стремится внушить, прежде всего молодому читателю (недаром такую литературу называют «джинсовой»), что на самом-то деле все зависит от его воли, от него самого.

К наивысшим достижениям чешской литературы последнего двадцатилетия критики всех «ветвей» единодушно относят творчество Б. Грабала. Этот писатель, постоянно живущий в Чехии, печатается как в официальных, так и в подпольных

и эмигрантских издательствах. Его произведения, хотя из-за самобытности языка и очень трудны для перевода, переведены на многие языки. Грабал пишет новеллы, повести, романы, пьесы, неизменно отличающиеся виртуозностью языка и сочным юмором. Крупным произведением Грабала в романном жанре стала автобиографическая трилогия «Городок у воды», состоящая из относительно самостоятельных книг: «Пострижение» (1976), «Красивая скорбь» (1979) и «Миллионы арлекина» (1981).

Новым словом в романном жанре явился вышедший в 1980 г. в самиздате, а затем (1983) в издательстве Шкворецкого в Торонто «Чешский сонник» Л. Вацулика. По форме это дневниковые записи автора-диссидента с января 1979 г. по весну 1980-го. Подробно воспроизводится диссидентский быт со своим кругом общения, вызовами на беседы в ГБ, ожиданиями обыска. Большинство героев, начиная с автора дневника, его жены Мадлы и сыновей, выступают на страницах «Сонника» под собственными именами или же узнаваемыми шифрами. Наибольшее место занимают в книге размышления автора о своем деле и своей жизни, его приключения и переживания в эмоциональной сфере. Совсем отсутствует то, что можно было бы назвать прямым обличением режима «нормализации». В этом смысле «Чешский сонник» скорее можно отнести к лирико-философскому исповедальному роману, чем к «горячей прозе».

Конечно, можно сомневаться, столь же ли будет интересна эта книга непосвященному читателю, как тому, кто знает, что «пан Вацлав» это Вацлав Гавел, будущий чешский президент, а задерживающий работу над словарем писателей критик Б.— известный чешский литературовед Иржи Брабец. Наверное, разные читатели воспринимают «Сонник» по-разному. Но в нем, безусловно, заключено нечто большее, чем только любопытные фактические свидетельства. Как справедливо писал рецензент эмигрантского журнала «Listy»: «...этот дневник — сложная фикция, каждая запись — это фельетон, и вообще не дневниковая запись, а хитроумная конструкция, точно ограниченный камушек в причудливой мозаике, которая только постепенно обнаруживает свои краски, раскрывает свой смысл и всю картину» [2].

Анализ чешской литературы 70—80-х годов позволяет сделать вывод, что вне зависимости от принадлежности к той или другой ее ветви роман тех лет отличался целым рядом общих черт, в художественном плане восходящих к роману 60-х годов. В своем абсолютном большинстве роман последнего двадцатилетия — это роман свободной формы, для которого характерно изображение событий с точек зрения разных героев, принцип монтажа, вольное чередование временных пластов, прошлого и настоящего. Во многих произведениях просматриваются и тенденции, получившие наименование «постмодернистских»: широкое использование городского и молодежного жаргона, вообще игра со словом, с языком, с литературными цитатами. Яркие тому примеры — «У королей не бывает ног» В. Неффа, романы Б. Грабала и Й. Шкворецкого.

В чешском романе резко усилилось эротическое начало. Так эротика обильно присутствует в «Непереносимой легкости бытия» Кундеры, из молодежной прозы — у Р. Йона. Но откровенно эротические сцены мы встречаем, например, и у такого «официального» прозаика, как Коларова (роман «Я хотела бы вон то дерево», 1984).

Многие произведения обеих ветвей чешской прозы объединяет тоска по хорошему человеку, гуманистическая устремленность. Она окрашивает такие романы, как автобиографическая трилогия Грабала, «У надежды глубокое дно» (1986) Коларовой, «Бессмертие» (1990) Кундеры.

После «нежной революции» 1989 г. возник новый климат и новые возможности для развития чешской литературы, но и новые проблемы, решение которых требует углубленного осмысления традиции предыдущего этапа.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Měšťan A.* Česká literatura 1785—1985. Toronto, 1987. S. 412.
2. *Listy.* 1981. № 3—4. S. 138.



© 1995 г. ДАНИШ М.

СЛОВАКИ В ГУСАРСКИХ ПОЛКАХ РОССИЙСКОЙ АРМИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

Внешняя политика России в XVIII в. решала задачи, поставленные еще Петром I. Ее целями были усиление влияния в Речи Посполитой, завоевание выхода к Черному и Азовскому морям, освоение огромной территории Причерноморья и Приазовья и ее заселение.

В полной мере реализация царским правительством планов заселения пограничных областей на юге государства началась в 50—60-х годах XVIII ст. Были созданы военно-административные единицы: Новая Сербия и Славяно-Сербия. На этой территории было поселено значительное число иностранцев. Большинство переселенцев представляли славянское население Австрийской империи, Венгерского королевства, Польши, турецких владений на Балканах. Это были прежде всего сербы, болгары, а также поляки, хорваты, словаки, чехи и мораване. В состав гусарских полков, расположенных на территории Новой Сербии и Славяно-Сербии кроме славян входили немцы, мадьяры, турки, итальянцы и др. Сербский, молдавский, венгерский и грузинский гусарские полки были важным звеном оборонительной системы против Турции и Крымского ханства на юго-западных границах Российского государства.

Как отмечает историк В. М. Кабузан, иностранная колонизация не имела решающей роли в заселении приазовских и причерноморских областей. Подавляющая часть новоселов прибыла из прилежавших Полтавской и Черниговской губерний, что и определило численное преобладание переселенцев украинской народности в этом районе [1]. Несмотря на правильность и бесспорность этого вывода, нельзя недооценивать роль иностранцев-колонистов. В Новой Сербии и Славяно-Сербии они использовали свой опыт воинской службы в Славонии и Венгрии, многие из них включались в хозяйственную и политическую жизнь в России.

Официальным документом, свидетельствующим об организации первого регулярного гусарского полка, является указ Петра I от 13 декабря 1723 г. майору Ивану Албанезу, до вступления на военную службу в России служившему в гусарских полках Австрийской империи, сформировать сербский гусарский полк из сербского населения, переселяющегося в Россию [2. Ф. 59. Оп. 1. Д. 89. Л. 1—2]. По указу предполагалось всего укомплектовать четыре полка по 1500 человек, принимая выходцев из-за границы. Первоначально полноценные полки, видимо, сформировать не удалось [3. С. 175]. В 1741 г. было указано содержать четыре гусарских полка по 1063 человек: сербский, венгерский, молдавский и грузинский [4. Т. X. № 7545, 7614].

Даниш Мирослав — канд. наук, директор Института истории Восточной Европы при Университете им. Я. А. Коменского в Братиславе.

Новый этап формирования гусарских полков начался в 50-х годах XVIII в. Царское правительство с целью ускорения процесса заселения южных границ государства публикует ряд указов и манифестов, в которых обещает переселенцам из-за границы земли и большие льготы [4. Т. 13. С. 533—558]. На границе с Турцией и Крымским ханством было решено построить оборонительную линию, используя при этом опыт строительства подобной линии на юге Венгрии и навыки переселяющихся в Россию иностранцев, которые раньше служили на венгерской границе.

На территории Новой Сербии и Славяно-Сербии сербские командиры Иван Хорват, Иван Шевич и Райко Прерадович должны были поселить выходцев из Австрии и турецких владений — сербов и других славян. Представители сербской, румынской, хорватской, мадьярской народностей в списках гусаров указывали в большинстве случаев после фамилий «серб», «волох», «трансильванец», «хорват», «мадьяр». Остальные выходцы из Венгерского королевства называли себя «угринами», «венграми» или «цесарцами»<sup>1</sup>. Среди них много фамилий словацкого происхождения, таких как Иван Козак, Юрай Червен, Янко Подградский, Михал Адам, Габор Лацко, Юрай Худик, Александер Ясногорский, Мартин Шурана и др. [2. Ф. 59. Оп. 1. Д. 4972. Л. 3—6; Ф. 1413. Оп. 1. Д. 7. Л. 74—76]. В архивных материалах мы находим сведения, согласно которым гусар Иван Григорьев, завербованный полковником Филиповичем, заявил при записи, что он словак. В списке гусаров Иван Григорьев сначала записан как «венгр», но первая запись перечеркнута и сделана другая — «словак». В 1750 г. Иван Григорьев дезертировал из венгерского полка Бетлена в Валахию; в Могилеве полковником Филиповичем «принят на поселение» в России и отправлен в Киев, назначенный сборным пунктом для прибывающих в Россию эмигрантов из-за границы [2. Ф. 59. Оп. 1. Д. 1835. Л. 8]. Жаль, что в списках 50-х годов вместе с фамилией очень редко указывались места рождения переселенцев.

4 декабря 1762 г. был издан манифест, позволяющий селиться в России всем иностранцам [4. Т. 16. С. 128]. Дозволено было принимать в гусарские полки беглых малороссов и великороссов, но только людей «вольных, а не крепостных». Этот и другие указы вызвали к жизни невиданное до тех пор переселенческое движение. Только в 1764 г. из-за границы в пограничные области (Елисаветградская провинция) переселилось 5787 добровольцев [5. Ф. 248. Оп. 67. Д. 5991. Л. 582].

Все чаще в списках гусаров появляются фамилии выходцев из Словакии, Чехии и Моравии. О их прибытии в пограничные области мы узнаем из таможенных материалов, прежде всего Васильковского пограничного форпоста, или из списков гусарских командиров. Так, например, в отрядах гусаров полковника Филиповича, сформированных в 60-х годах XVIII в., служили Юрай Форкнер и Франтишек Эрдилин из Братиславы, Юрай Чалута из Крупины, Штефан Чонка и Юрай Руса с женой из Быстрицы, Йозеф Шпрингер из Легартовиец, Иван Кремент и Йозеф Тантенпруннер из Кремницы, Йозеф Хорват с женой из Прешова и др. [2. Ф. 59. Оп. 1. Д. 4963. Л. 13, 74; Д. 4958. Л. 15; 6. Л. 234]. В рядах гусаров генерал-майора Прерадовича служили Павел Суколской и Игнат Шванковский из села Липове, Иван Галло из Рожнявы, Томаш Топличан из Топлиц [2. Ф. 59. Оп. 1. Д. 5290. Л. 30; Ф. 1413. Оп. 1. Д. 36. Л. 280—288].

18 февраля 1765 г. были выданы паспорта капралу Йозефу Хунице и солдату Назару Карпинскому из города Кошице. В Киевской губернской канцелярии они заявили, что желают служить в Новороссийской губернии в гусарских полках. После оформления всех документов в Киеве их отослали в крепость святой Елисаветы<sup>2</sup>. Символическим выражением атмосферы того времени является судьба

<sup>1</sup> На территории Венгерского королевства проживали разные этносы — словаки, хорваты, мадьяры, румыны, украинцы, сербы. В официальных документах они часто называли себя «венграми», «угринами». Поэтому «венгров» Венгерского королевства нельзя отождествлять с современными. Использование в современном русском языке слов «Венгрия», «венгерский», «венгр» в строго определенном смысле создает известную трудность при исследовании истории Венгерского королевства.

<sup>2</sup> Крепость святой Елисаветы была построена на территории Новой Сербии в 1752 г. После реорганизации пограничных областей стала торговым и политическим центром Новороссийской губернии [7].



вахмистра гусарских полков российской армии Петра Бухольца, уроженца города Братиславы [2. Ф. 59. Оп. 1. Д. 9433. Л. 6—7]. Петр Бухольц из города Прешпорка (Братиславы) выехал в Россию с целью найти брата Андрея, служившего в гусарском полку поручиком. В 1756 г. П. Бухольц в Киеве вступил в сербский гусарский полк генерал-майора Хорвата. Участвовал в русско-прусской войне и в битве под Кольбергом был ранен. Попал в плен, оттуда через три года бежал и возвратился на службу в российскую армию. В войне с Турцией опять попал в плен, но из Царьграда ему удалось бежать в Америку. После нескольких лет службы в американской, а позже английской морской флотилиях возвратился в Петербург, где в 1780 г. вышел в отставку в возрасте 56 лет [2. Ф. 59. Оп. 1. Д. 9433. Л. 7].

Большая группа завербованных в гусарские полки представляла население Восточной Словакии и Закарпатья, в большинстве случаев записывавшихся как выходцы «из Угорской Руси», подчеркивая этим свое происхождение. Только в списке гусаров генерал-майора Прерадовича за 1754 г. мы находим фамилии около 50-ти таких выходцев [2. Ф. 1413. Оп. 1. Д. 7. Л. 1—13]. В 1762 г. на службу к генерал-майору Прерадовичу поступили жители из Восточной Словакии Штефан Ступаков из Земплина, Иван Шамровский из Шариша, Андрей Крест из села Ториса, Федор Чуприковский из Ясова, Штефан Яворский из Бардейова [2. Ф. 59. Оп. 1. Д. 4958. Л. 10; Ф. 1413. Оп. 1. Д. 36. Л. 46, 280—286].

В 1774 г. вступил в гусарский полк Николай Булава из Прешова. В 1764 г. он приехал через Мотовиловский таможенный форпост в Киев. В Киевской губернской канцелярии заявил о своем желании учиться в Киевской академии. После трехмесячной учебы, Булава из Академии ушел и в 1765 г. был пострижен в монахи Мотронинского монастыря Переяславской епархии. Без разрешения начальства ходил по монастырям, писал иконы, за что получал деньги. В 1773 г. пришел в Переяславский кафедральный монастырь. Николая Булаву за проступки лишили духовного сана и как иностранца, способного к военной службе, в согласии с его желанием вечно остаться в России в подданстве, отослали в гусарский полк [2. Ф. 59. Оп. 1. Д. 7519. Л. 1—13].

Военными эмиссарами полковника Филиповича в гусарские полки были завербованы также жители Чехии и Моравии. Как чехи в списки записались Якуб Соукуп и Иван Якович с женой и двумя детьми из Праги, Антон Шмид из Литомыержиц, по профессии лесник, Вацлав Свобода из Хрудимы, Ян Вотревич из Литомышле, Йозеф Новак и Антон Петрской с женой и двумя детьми, не указавшие места жительства, и др. [2. Ф. 59. Оп. 1. Д. 4963, 5272, 5622; 6. Л. 261]. Из Моравии происходили Йозеф Пайке из Гайов, по профессии фельдшер, Анна Катарина из Брно, Йозеф Згорник и Йоган Ковальский из Оломоуца, Ян Забравский, Альберт Тучной, Юрай Пунп [2. Ф. 59. Оп. 1. Д. 4963. Л. 74; Д. 4958. Л. 17—18; Ф. 1413. Оп. 1. Д. 7. Л. 73; Д. 15. Л. 70].

В 1760-е годы количество переселенцев из Австрийской империи и Венгерского королевства достигало нескольких тысяч. В большинстве случаев это касалось славянского населения, симпатии которого к России были венскому двору хорошо известны.

В российских манифестах о поселении эмигрантов из соседних стран была несколько раз помещена просьба официальным представителям австрийского правительства о проведении «публичного вербунка в тамошних провинциях» [4. Т. 13. С. 577]. Венские правительственные круги реагировали на издаваемые в России царские манифесты, предоставляющие переселявшимся в Россию иностранцам щедрые льготы, с негодованием. Габсбурги, разрешившие беспрепятственный выезд из своих владений первой партии переселенцев, надеясь тем самым отделаться от беспокойного элемента, затем были напуганы массовым характером переселения. Чтобы удержать тех, кто стремился к переезду, принимали всевозможные меры: закрыли свободный переход границ, стали задерживать офицеров, состоящих на российской службе, не выдавали паспорта, подвергали аресту тех, кто готовился эмигрировать из австрийских владений в Россию [8]. Австрийский посол граф Бретлак при решении одного из споров между российским и австрийским правительствами, связанного с уходом австрийских граждан на поселение в Россию,

объяснял причины запрещения выезда из Австрийской империи [9]. Граф Бретлак заявил, что венский двор уже доказал истинную дружбу к императрице России, когда по требованию российского посла в Вене разрешил завербовать от 500 до 1000 человек. Но это число уже значительно превышено<sup>3</sup> [10].

В венских газетах было запрещено публиковать манифесты русской императрицы, касавшиеся переселения, был издан особый манифест Марии-Терезии от 16 ноября 1763 г., точно определивший наказание для желающих выехать в Россию, и их вербовщиков: низшей мерой наказания было тюремное заключение на пять лет с каторжными работами, а высшей — смертная казнь. После этого русское правительство стало соблюдать большую осторожность в контактах со своим венским послом по вопросам выезда австрийских подданных в Россию на постоянное поселение, чтобы не подавать австрийскому двору ни малейшего повода к конфликтам [11].

Ценным материалом для изучения проблематики гусарских полков являются записки генерал-майора Симеона Пищевича, который в 1751 г. по собственному желанию поступил на службу в русскую армию на должность капитана сербского гусарского полка [12]. Сведения, сохранившиеся в записках Пищевича, правдивость которых можно проверить с помощью официальных документов, дают возможность проникнуть в сущность процесса формирования гусарских полков, оценить их значение в политических и хозяйственных планах царского правительства, показать военную организацию полков, заселение пограничных областей как подготовку к постепенному проникновению России в Причерноморье. Записки дают информацию о способах вербовки за границей, прежде всего в Венгрии, о военно-административной организации Новой Сербии и Славяно-Сербии, о распрях офицерской верхушки — генерал-майоров Хорвата, Шевича, Прерадовича, раскрывая их подлинные интересы в материальном обогащении и поднятии личного престижа как главные мотивы при организации гусарских полков в России.

Путешествуя, Пищевич несколько раз, уже как офицер гусарских полков, проезжал территорией Словакии. Еще перед отъездом в Россию Пищевич в русском посольстве в Вене случайно встретил Карла Пеккена, в то время поручика венгерского гусарского полка [12. С. 158]. Пеккен родился в словацком городе Рожняве, в семье доктора медицины Христиана Пеккена. Военную службу в России начал в 1751 г. и постепенно дослужился до генерал-майора [13. Т. 12. С. 464]. Как офицер венгерского, а позже молдавского гусарского полков принимал участие в Семилетней войне, в войнах с Крымом и Турцией. В 1775 г. участвовал в подавлении восстания Е. Пугачева<sup>4</sup>. До выхода в отставку в 1797 г. был командантом Азовской крепости [13. Т. 12. С. 465].

Карл, а также его брат Христиан Пеккены не были единственными уроженцами города Рожнявы, выехавшими в Россию. В списках добровольцев генерал-майора Райко Прерадовича за 1762 г. приведена краткая биографическая запись о Иване Галло, решившем искать счастье в России. Магистрат города Рожнявы выдал Ивану по его требованию паспорт для выезда за границу. Границу России он перешел на таможе в Василькове и после переезда в Киев поступил на военную службу. По приказу Прерадовича остался в Киеве для вербовки людей в Славяно-Сербию<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> В этот период Австрия была важнейшим союзником России. Русский посол в Вене князь Бестужев-Рюмин видел назначение этого союза в противодействии Османской империи и другим державам, пытавшимся нарушить *status quo* в Центральной и Восточной Европе.

<sup>4</sup> Тот факт, что гусарские полки участвовали в разгроме отрядов Е. Пугачева, как и то, что территория Новой Сербии и Славяно-Сербии была под непосредственным влиянием событий крестьянской войны, вносит в данную проблематику новые аспекты. Вести о повстанческих настроениях в России попадали в соседние страны и посредством иностранного населения пограничных областей, сохранявшего с родными местами тесную связь. Некоторые из жителей новозаселенных областей переходили на сторону восставших и воевали под флагами Пугачева. Автор интересных записок о восстании Пугачева Павел Рунич, русский сенатор и тайный советник, которому императрица Екатерина II доверила сопровождать пленного Пугачева из Симбирска в Москву, был выходцем из Венгерского королевства. Отец Павла Степан Рунич еще в 1750 г. со всей семьей переехал в Новую Сербию из Венгерской Руси [13. Т. 14. С. 601].

<sup>5</sup> Иван Галло, — пишется дальше в доношении генерал-майору Прерадовичу, — умеет писать по-венгерски и латински. Его отец был мастером сапожником. Жена и дети Ивана Галло остались в Цесарии [2. Ф. 1413. Оп. 1. Д. 36. Л. 286].

Киев был местом сбора прибывавших в Россию переселенцев. Здесь собирали документы и материалы о завербованных и формировали группы, которые отправлялись на новые земли, как правило, весной следующего года. Киевский магистрат несколько раз настойчиво просил царское правительство освободить город от обязанности содержать и кормить иностранных переселенцев, потому что это ложилось тяжелым бременем на городскую казну и вызывало недовольство киевлян [14]. В силу этого в городе возникали конфликты между переселенцами и местным населением. Множество жалоб, справок, «доношений» киевлян и переселенцев, сохранившихся в архивах, дают возможность представить ежедневную жизнь и трудности иностранцев в Киеве [15].

В результате проведения в жизнь царских указов, представлявших льготы пограничным областям Новой Сербии и Славяно-Сербии, значительный размах приобрели торговля и ремесла. На здешних ярмарках, кроме традиционных домашних товаров, начали появляться товары отдаленных городов — Москвы, Петербурга, Киева, а также соседних стран, прежде всего Турции, Польши, Венгрии [16].

Российский рынок не был способен удовлетворить потребность в лошадях и военной амуниции для гусарских полков. Факт покупки гусарской амуниции за границей подтверждают материалы Васильковской таможни<sup>6</sup>. Несколько гусарских офицеров, хорошо знавших местные условия, были направлены для покупки лошадей в Турцию, Трансильванию и Венгрию [5. Ф. 14. Д. 134. Л. 1—503]. В 1752 г. ответственным за покупку лошадей в Венгрии назначен капитан Петр Текелли<sup>7</sup> [5. Ф. 14. Д. 134. Л. 4]. Кроме покупки лошадей, офицеры вербовали в гусарские полки местных жителей. Об этом П. Текелли информировал русского посла в Вене князя Бестужева-Рюмина [5. Ф. 14. Д. 134. Л. 12]. На обратном пути в Россию, после приезда в город Кошице (Восточная Словакия), люди Текелли вошли в конфликт с венгерскими чиновниками, требовавшими от них не предусмотренные здешними тарифами высокие пошлины. Это привело к аресту нескольких спутников П. Текелли, о чем информировал военное начальство в Киеве комиссар Русской комиссии в Токае<sup>8</sup> капитан Вишневский [5. Ф. 14. Д. 134. Л. 26]. Вскоре конфликт был улажен. Местные власти направили в Россию объяснение по поводу конфликта с заверениями о возвращении незаконно полученных сумм после решения Высшего венгерского суда [5. Ф. 14. Д. 134. Л. 503].

В 1758 г. Военная коллегия в Петербурге посылает в Трансильванию и Венгрию уже знакомого нам С. Пищевича [5. Ф. 14. Д. 134. Л. 89]. Впоследствии он сообщал Сенату о покупке в Трансильвании у графа Микеша и в Венгрии 28 лошадей. Этой поездке в Венгрию Пищевич уделяет особое внимание в своих записках, так как по дороге, в Восточной Словакии, с ним и его спутниками случилось много неожиданного.

За Прешовом в маленьком селе Лемешаны их остановили чиновник и полицейские. Потребовали паспорта для проверки и, проверив, утверждали, что паспорта фальшивые и их надо отправить в Кошице для подтверждения истин-

<sup>6</sup> В 1757 г. дан паспорт гусару сербского полка для покупки гусарских мундирных вещей в Венгерском королевстве [2. Ф. 59. Оп. 1. Д. 2066. Л. 146].

<sup>7</sup> П. Текелли начал военную службу в австрийской армии, в 1747 г. переселился в Россию и был принят в сербский гусарский полк поручиком. Текелли сражался в Семилетней войне рядом с А. В. Суворовым и был хорошо ему знаком. В мае 1775 г. получил приказ занять Запорожскую Сечь и положить конец вольному устройству запорожцев. Текелли отличился в войнах с турками 1768—1774 и 1787—1791 гг. Умер в 1792 г. в Ново-Миргороде [17].

<sup>8</sup> Русская комиссия в Токае для заготовки и доставки венгерского вина императорскому двору, созданная при императрице Елизавете, выполняла задачи значительно шире экономических. Она действовала и как русский политический и культурный центр в Венгерском королевстве. Через ее комиссаров и перевозчиков вина русскому двору доносились сведения о событиях в Венгрии. Офицеры гусарских полков, приезжавшие в Венгрию по торговым делам и для вербовки гусар, останавливались в Токае, где всегда могли надеяться на помощь и поддержку. В манифесте Елизаветы Петровны от 1751 г. о возможности выезда переселенцев из Венгрии в Россию указывается на город Токай как на опорный пункт при переезде в Россию [4. Т. 13. С. 553].

ности. После четырехнедельного содержания в Лемешанах под надзором Пищевича и гусар отпустили, объяснив такой строгий контроль за иностранцами появлением в Венгрии тайных прусских шпионов, засланных в страну с целью усилить вражду между кальвинистами и лютеранами и тем ослабить Австрию в идущей войне.

На обратном пути, при переходе через Карпаты, гусар настигло наводнение, во время которого погибла жена Пищевича. О местном населении Симеон написал, что в Карпатских горах, на венгерской границе (Восточная Словакия), живет народ славянский, язык у него от прадавна «словенский». Народ этот греческой веры, издавна в унию обращенный, которая от православной лишь тем отличается, что признает главою церкви римского папу. Имеет своих попов, которые богослужение ведут на родном языке. Пищевич рассказывает о реалиях Восточной Словакии, дает интересные факты из жизни и традиции словацкого народа [12. Т. 4. С. 220—334].

Как уже было указано, гусарские полки в составе русской армии участвовали во многих военных экспедициях и походах. О боевых успехах гусарских полков в Семилетней войне и русско-турецких войнах свидетельствует корреспонденция фельдмаршала П. А. Румянцева [18. С. 864]. П. А. Румянцев неоднократно отмечал мастерство и отвагу солдат и командиров этих полков. Десятки донесений офицеров военному командованию и правительственным кругам в Петербурге повествуют о храбрости и удали гусарских полков в военных операциях [18. С. 264, 576]. Во время Семилетней войны венгерский гусарский полк был направлен в Пруссию. Отряды под командованием М. Зорича, Р. Прерадовича, П. Текелли совершали экспедиции для занятий больших городов, захвата разбежавшихся прусских солдат, заготовки провианта и фуража [3. С. 179]. В Померании при осаде города Голнау отличились гусары майора Филиповича, в отрядах которого воевали и словаки [18. С. 528]. В ордере П. А. Румянцева бригадиру П. Д. Еропкину о взятии крепости Дризен дается инструкция, согласно которой, прежде чем начать стрельбу, необходимо послать к коменданту крепости одного трубача и унтер-офицера от гусаров венгерского полка с требованием выдачи всех австрийских пленных — союзников русских. В то же время полковнику Зоричу надлежит овладеть городом с помощью «настоящих венгров» из его полка, которые могут договориться с здешним населением и австрийцами [18. С. 15].

Военные действия в русско-турецкой войне на территории Новороссийской губернии и татарский набег 1769 г. на Новую Сербию описал в своих записках барон де Тотт<sup>9</sup>. Кроме содержащихся в них ценных данных о Новороссийском крае, интересна и сама личность барона. Барон де Тотт был родом из Венгрии. Его отец еще в начале XVIII в. после поражения антигабсбургского восстания Франтишека Ракоци вместе с ним в числе эмигрантов покинул Венгрию и поступил на службу к французам. Фамилия барона Тотта переводится с венгерского на словацкий язык как «словак». Это заставляет нас искать его корни в словацкой среде [19].

После поражения Крымского ханства и присоединения его территории в 1781 г. к России, после окончания русско-турецких войн 1768—1774 и 1787—1791 гг., когда Турция была значительно ослаблена, пограничные области уже не подвергались серьезной опасности. С начала 80-х годов XVIII в. остановился приток колонистов-иностранцев и значительно ускоряется процесс заселения плодородных земель Новороссии местным населением из соседних областей. В 1783 г. гусарские полки были преобразованы в регулярные легкоконные полки Украинской и Екатеринославской конницы [3. С. 180].

Сотни жителей Австрийской империи и Венгерского королевства, среди них и словаки, уходили в Россию с разными целями и намерениями. Бежали от бедности, национального и религиозного гнета с надеждой найти новую, лучшую жизнь. У некоторых были и другие цели — жажда успешной карьеры, богатства,

<sup>9</sup> Барон де Тотт был в 1767 г. назначен резидентом при дворе крымского хана.

авантюр. Участие словаков в заселении Новой Сербии и Славяно-Сербии, военных операциях гусарских полков, хозяйственной и политической жизни занимает значительное место в сложном генезисе словацко-русских связей в XVIII в. На широкой народной базе формировались идеи славянской взаимности, языковой и культурной близости.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кабузан В. М. Заселение Новороссии в XVII — первой половине XIX века. М., 1976. С. 13.
2. ЦГИА Украины.
3. Беловинский Л. В. В российской гусарской службе//Вопросы истории. 1988. № 4.
4. Полное собрание законов Российской империи 1649—1825 гг. М., 1830. Т. X. № 7614.
5. ЦГАДА.
6. ЦГИА (г. СПб.). Ф. 1329. Оп. 1. Д. 131.
7. Историческая статистическая записка о военном городе Елисаветграде//Записки одесского общества истории и древностей. Одесса, 1848. Т. 2. С. 381.
8. Бажова А. П. Из югославянских земель — в Россию//Вопросы истории. 1977. № 2. С. 129.
9. Записка о сербском деле//Записки одесского общества истории и древностей. Одесса, 1858. Т. 7. С. 355.
10. Župa bratislavská. Inventár. Bratislava, 1969.,
11. Писаревский Г. Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII веке. М., 1909. С. 98.
12. Известия о походе Симеона Степанова сына Пищевича, генерал-майора и кавалера ордена св. Георгия//Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1882—1885. Кн. 1—4.
13. Русский биографический словарь. СПб., 1902.
14. Сербь в Кieve//Киевская старина. 1885. Т. 12. С. 505.
15. Исторические материалы из архива киевского губернского правления. Киев, 1883. С. 127.
16. Дружинина Е. И. Северное Причерноморье 1775—1800 годов. М., 1959. С. 180.
17. Суворов А. В. Письма. М., 1986. С. 493.
18. Румянцев П. А. Сборник документов. М., 1953. Т. 1.
19. Записки барона де Тотта//Киевская старина. 1883. Т. 7. С. 143.



© 1995 г. НИКОЛАЕВ С. Л.

## ВОКАЛИЗМ КАРПАТОУКРАИНСКИХ ГОВОРОВ.

### 1. Покутско-буковинско-гуцульский ареал

(продолжение)

В предлагаемом очерке продолжена публикация материалов по фонетике карпатоукраинских говоров. Как и в предыдущей статье ([1]), основное внимание здесь уделяется ударному вокализму говоров покутско-буковинско-гуцульского ареала. В [1] был проанализирован вокализм архаического буковинского говора с. Банилова-Подгорного. Ниже по принятой схеме будет разобран ударный вокализм одного из покутских говоров — с. Тышкóвцы Городенковского р-на Ивано-Франковской обл. Материал (ответы на вопросы Краткой фонетической программы, см. [2], и текст) был записаны на магнитофон участницей Карпатской экспедиции А. В. Тер-Аванесовой весной 1991 г. от А. М. Дидек, 1929 г. р., и А. И. Княгининой, 1922 г. р. (см. Хронику в [2])<sup>1</sup>. Дешифровка магнитофонных записей сделана автором настоящей статьи.

В очерке содержатся также два приложения, в первом из которых продолжена публикация ответов на вопр. 1—10а Краткой фонетической программы; во втором начата публикация акцентологических материалов.

### 1. Синхронная система гласных<sup>2</sup>

1. <ɪ> — фонема (переднерядный дифтонг верхнего подъема) встречается только после мягких согласных, палатальных *k*, *q* и *j*. Перед твердыми согласными отмечен континуум переднерядных аллофонов верхнего подъема, дифтонгов,

---

Николаев Сергей Львович — д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН. Оригинал-макет рубрики готовит М. Н. Толстая.

Начало см. в № 3, 1995.

<sup>1</sup> Дополнение к Хронике. В марте-апреле 1995 г. состоялась экспедиция в Ивано-Франковскую и Закарпатскую области в составе: С. Л. Николаев (руководитель), О. А. Абраменко, А. И. Рыко, Ю. В. Стрельникова, М. Н. Толстая. Группа работала в с. Яворóв Косовского, Яблонíца Надворнянского р-нов Ивано-Франковской и с. Лопухóв (Бру́стуры) и Русская Мокрая Тячевского р-на Закарпатской обл. Был собран материал по большинству лингвистических программ; в с. Русская Мокрая был собран этнологический материал по программе ПЭЛА, сведения по отдельным вопросам этой программы собирались и в других селах. О. А. Абраменко и А. И. Рыко посетили с. Чёрная Тиса Раховского р-на Закарпатской обл., где записали на магнитофон материал по Фонетической программе и тексты. С. Л. Николаев и М. Н. Толстая записали на магнитофон материал по акцентации слов м. р. говора с. Стопчáтов Коломыйского р-на Ив.-Франковской обл. у носительницы этого говора, живущей в г. Косове. Они же посетили с. Синевир Межгорского р-на Закарпатской обл., где собрали дополнительный материал для словаря синевирского говора.

<sup>2</sup> О знаках фонетической транскрипции см. [1].

дифтонгоидов и монофтонгов — напряженные [i̯], [i̯], [i̯], ненапряженные [i̯], [i̯], [i̯], «пониженные» [i̯], [i̯], [i̯]. Перед мягкими и палатальными согласными, как правило, присутствуют напряженные аллофоны. В случае произношения <i> как [i̯] происходит нейтрализация данной фонемы с <i̯> (см. ниже), однако если в словах с [i̯] = <i̯> всегда возможно произношение других указанных аллофонов, то на месте [i̯] = <i̯> произношение [i̯] стабильно. В аналауте — аллофоны [i̯], [i̯].

2. <i̯> — фонема встречается только после мягких и палатальных согласных. Обозначение <i̯> условно, так как основными аллофонами ее являются дифтонгоиды [i̯] или [i̯] (*b<sup>u</sup>ik*, gen. pl. *n<sup>u</sup>iĥ*, *r<sup>u</sup>k*, *n<sup>u</sup>s*, *n<sup>u</sup>χοĥ*) или сочетание [i̯] с последующей огубленностью согласных: *k<sup>u</sup>ka*, *s<sup>u</sup>w* и т. д. Отсутствие огубленности «вокруг» [i̯] достаточно регулярно после велярных и перед *w*. Распределение аллофонов [i̯], [i̯] и [i̯] с последующей лабиализацией согласных не до конца ясно и нуждается в привлечении дополнительного материала. По-видимому, аллофон [i̯] регулярен после губных, аллофоны [i̯] и [i̯ + w] — после прочих согласных, причем последний аллофон обычен при последующих сочетаниях согласных.

3. <i̯e> — переднерядный дифтонг среднего подъема. Фонема встречается как после твердых, так и после мягких согласных. В позиции после твердых согласных и *j* ее аллофонами являются дифтонги (редко дифтонгоиды) <i̯æ> и <i̯ε> (перед твердыми согласными и в ауслауте возможно произношение обоих аллофонов, перед мягкими и палатальными — только <i̯ε>). После мягких и палатальных согласных фонема представлена аллофонами [i̯e] / [i̯ε] и [i̯e] / [i̯ε] (их распределение аналогично распределению <i̯æ> и <i̯ε>: перед твердыми согласными и в ауслауте оба варианта, перед мягкими и палатальными — только [i̯e] / [i̯ε]).

4. Фонема <e> (переднерядный монофтонг среднего подъема) представлена аллофонами [æ] и [ε] перед твердыми согласными и в ауслауте, [e] и [ε] — после мягких согласных. Распределение аллофонов аналогично распределению аллофонов <i̯e>, см. выше.

5. <i̯ə> — фонема верхне-среднего подъема передне-среднего ряда. Встречается только после твердых согласных. Перед твердыми согласными и *j* реализуется в виде монофтонга [ə] после *r* и дифтонга/дифтонгоида [i̯ə] после других согласных. Перед мягкими свистящими (*c*, *s*) представлена аллофонами [i̯ə] и [ɤ] (после *r* — [ə], [ɤ]).

6. <i̯ə> — фонема среднего подъема передне-среднего ряда. Встречается только после твердых согласных и *j*. Всегда реализуется как дифтонг (реже дифтонгоид) [i̯ə].

7. <a> — встречается после всех согласных (после мягких — только в заимствованиях и «олитературенных» формах типа gen. sg. *k<sup>i</sup>n<sup>u</sup>c<sup>i</sup>ĕ* вместо регулярного *k<sup>i</sup>n<sup>u</sup>c<sup>i</sup>ĕ*). После твердых согласных и *j* обычное произношение — среднерядное [a], перед таутосиллабическим *w* обычно произношение сильно лабиализованного [ã] (*dãw*, *prãwda*). После мягких согласных — передне-средний дифтонгоид [i̯ã].

8. <u> — заднерядная огубленная фонема верхнего подъема, отмечена после всех согласных. Чаще ее реализациями являются дифтонг/дифтонгоид с «пониженной» слогаобразующей частью [ɯv] / [ʷv], реже — верхнее [u]. Распределение вариантов неясно. Из системных соображений (ср. <i̯>) эту фонему можно трактовать как <ɯv>.

9. <ɥ> — заднерядная огубленная назализованная фонема верхнего подъема, отмечена после всех согласных. Транскрипционным знаком [ɥ] условно передано сложное произношение ее, видимо, единственного аллофона, который, явля-

ьясь нисходящим дифтонгоидом, состоит из слогообразующего [v] (редко слабо назализованного) и назализованного [ʷ], причем назализованность (степень опускания небной занавески) наиболее интенсивна перед аффрикатами, спирантами и в ауслaute, слабее она перед смычными. Фонема <ʷ> — единственная назализованная гласная фонема в тышковском говоре. Наряду с ней есть «назализованный» спирант [ʷ̥] (в материале он обозначается как ʷ), который образуется при прохождении воздуха между задней частью языка и опущенным мягким небом, чем и объясняется слабая, равномерная назализация его и окружающих гласных: ʷōrá, ʷomāʷáty.<sup>3</sup> Из других карпатоукраинских диалектов назализованные гласные отмечены еще в говорах с. Русская Мокрая Тячевского р-на Закарпатской обл. (<ʷ>) и соседнего с. Лопухов (Брустуры) (<q> и <ʷ>) — см. материал в Приложении 1.

10. <ʷo> — заднерядный огубленный дифтонг среднего подъема. Встречается после всех согласных, отсутствует в анлауте. Аллофоны варьируют от [ʷo] до [ʷo̥], причем вариант с узким o̥ обычен перед таутосиллабическим w. После дентальных согласных неслоговым компонентом дифтонга часто является «пониженное» [ʷ̥], в материале это произношение специально не отмечается.

11. <o> — заднерядный огубленный монофтонг среднего подъема. Отмечен во всех позициях. Обычно выступает в виде [o] или [o̥], редко (как правило, после губных) отмечено произношение дифтонгоидов [ʷo]/[ʷo̥] с очень кратким глайдом [ʷ]. Дифтонгоиды [ʷo]/[ʷo̥] на месте <o> регулярны в слогах с таутосиллабическим w (*dʷówɣij, vʷówna, vʷówk*). Перед конечным *m* отмечен нисходящий дифтонгоид [o̥<sup>h</sup>] (*za seťó<sup>h</sup>m*).

## 2. Исторический комментарий

Праслав. \*i в тышковском говоре перед твердыми согласными обычно отражается как <ia>: *k'ínčičŏty, vŏli, blŏsko, dŏkyj, vŏšn'a, dŏvit s'a, sŏta, ja vŏžu, tŏ vŏdyš, nŏtka, sŏto, knŏška, nŏva, ɣrŏb, proc'ŏdŏta, jalŏňka, dŏn*. Нерегулярно <ia> в *liŏra*.

Перед мягкими согласными и в ауслaute \*i > тышк. <ia>: *telŏč'ka, telŏc'i, pšeničyč'i, k'ŏrnič'c'i/k'irničyč'i; na k'in'ciŏ, vonŏ, na zemliŏ, u nočŏ, trŏ, tr'isliŏ, velŏ*.

Также \*i отражается в виде <ia> после шипящих спирантов š, ž, что говорит о промежуточной стадии \*šy, \*žy (<ia> — регулярный рефлекс праслав. \*y, см. ниже): *žŏto, šŏto, ožŏna, ɣr'išŏty, ɣr'išŏt, na mežŏ*.

Начальное \*ji-, а также \*jъ- (если не происходит его отпадения, как в *ɣra <jъgga*) имеют тышковский рефлекс <iɾ>: *iskra, ínčij*.

Развитие «напряженного» \*ĭ, видимо, тождественно развитию \*i: *šŏja* при импрег. *biŏj, piŏj*, однако неясно <iɾ> в *č'ij, č'ija* 'чей, чья'.

Праслав. \*ě, как правило, имеет тышковский рефлекс <iɾ>: *c'ŏp, na rešekŏi, fs'ŏ, v'ŏter, na xres'kŏ, čŏtov'ŏk, n'ŏimec', tep'l'ščŏj, zep'ŏzo, xl'ŏb, l'ŏs, u l'ŏs'ŏ, m'ŏsto, m'ŏsta, biŏlij, p'ŏje, koŏŏno, na koŏŏn'ŏ, jŏxaty, jŏdu, jŏdeš, v'ŏter, u kŏl'ŏi, ɣŏw'ŏsyty, ɣŏw'ŏs'at, v'ŏnyk, m'ŏŏ, jŏsty, ja jŏm, ti jŏš, v'ŏn jŏst, mŏ jŏli, ɣr'ŏx, r'ŏčka, na r'ŏč'ŏ, dŏlŏt, na stol'ŏ, s'ŏno/s'ŏno, loc. u s'ŏn'ŏ, gen. s'ŏna, na trav'ŏi, po vodŏi, na ruc'ŏ, meŏŏ, sob'ŏ, tob'ŏi, s'ŏryj, s'n'ŏy, zel'ŏzo, v'ŏs'ŏty, b'ŏl'ŏje, čŏrn'ŏje, zelen'ŏje, temŏje, s'ŏjalŏ, m'ŏs'ŏč', l'ŏtnyj, šŏós' na blys'ŏ, verk'ŏty*.

Такой же рефлекс имеет стьяженное \*yjĕ: pl. *moŏdŏi, nov'ŏi*.

<sup>3</sup> Такое произношение звука на месте \*g, укр. литер. г = [h] характерно для подавляющего большинства юго-западных украинских говоров; обычно в диалектной транскрипции он передается знаком h = [h], что неверно, т. к. [h] — ларингальный, а не «небно-заднеязычный» или «небно-ларингальный» спирант.





Такой же рефлекс имеет праслав. \*ѣ после \*j: 3 pl. *stojá, dojá*.

Праслав. \*ѣ после губных согласных отражается в тышковском говоре в виде фонемы <е> с предшествующим j (после p, b, v/w) и n' после m (через промежуточные стадии типа \*рѣ > \*рiã > \*рiæ > \*рjæ, ср. \*ѣ > тышк. <iе> в прочих случаях): *p'jéd, dv'í p'jédu, v'jénuty, s'v'jéto, p'jék, mn'ésó, mn'étyj, mn'étika, mn'éw, mn'éta, mn'éli*.

После других согласных \*ѣ > тышк. <iе> с предшествующей мягкостью: *p'id-n'iéty, tel'iéta, r'íéd, potr'ies, zapr'ieh, l'íéze, s'íede, sydié, jayn'ie, z'iéty, z'íeli, z'ieta, zač'iéty, zač'iéta, zač'íeli, krič'ie, yr'is'íeti*. Неясен рефлекс (даже в фонологическом отношении) в *ščíski* 'счастье'.

Рефлекс \*а после мягких согласных в большинстве случаев совпадает с рефлексом \*ѣ: ном. sg. *zémlié, mez'ié, v'iwcié, erz'ie* 'ржавчина', ген. *stowpc'ie, pn'ie, str'il'iéty*.

Особый рефлекс — фонему <е> — \*а имеет только в середине слова после шипящих (ауслатное \*а после этих согласных дает <iе>, см. выше), ср. аналогичную рефлексию в баниловском говоре: *z'éba/z'éba, š'épka, č'és*.

Праслав. \*у в большинстве позиций отражается как <iа>: *miš, miš, biák, tš, sián, zač'ánuty, miáto, kobiáta, siár, siátyj, rába, na ráb'i, viš, xl'ivá, tyš'ič'i*.

Особый рефлекс, <iе>, праслав. \*у имеет после велярных (k, x — после γ = [ŷ]), являющегося фонетически не велярным, а «небно-заднеязычным» или «небно-ларингальным», \*у > <iа>): *blx'ie, k'ienuty, sok'iera, vovk'ie, yr'ix'ie*.

Рефлексы, идентичные рефлексам \*у, имеет «напряженный» \*ъ: *mertviáj/mertviáj, s'v'it'áj, mn'isn'áj, r'ibiáj, zakráj, mołod'áj, staráj, nov'áj, ráju, miájju*; после велярных: *mn'ik'ie, sux'ie, tak'áj, tonk'áj, kišk'áj*.

Как и в прочих «восточнокарпатских» говорах, праслав. \*у в префиксе \*vy- и в слове \*vumѣ имеет в тышковском рефлекс, формально восходящий к «удлинённому» \*ѡ, т. е. <iу>: *v'ínesty* 'вынести', *v'íplasty* 'выплыть'; *v'imn'i*.

В инфинитиве и формах прош. времени глагола \*byti \*у имеет рефлекс <u> (= <u>), идентичный рефлексу \*u: *buúty, buúta, buúli, buúto*.

Праслав. \*u всегда отражается в тышковском говоре как <u> (= <u>): *c'ul'úju*, асс. f. *dr'úyu*, pl. *dr'úyi, k'úrka*, pl. *k'úry*, асс. sg. *dr'úyu, vúxo*, voc. *k'úto, sl'úžba*, асс. *sl'úžbu, t'út*, loc. u *p'iskú, na ver'x'ú, u s'n'iy'ú*.

Праслав. \*o имеет в тышковском говоре отличный от \*u рефлекс, являющийся при этом весьма архаичным, т. к. тышк. <u> сохраняет праславянскую назализацию (см. о его произношении в «синхронном» разделе): *žulúdok/žvúdok*, 1 pl. *búdem* (но 1 sg. *búdu* с едва различимой назализацией), *kiynúty, prúki, prokúsyt, zúb* (2x), *yrúbij*, асс. *kožú*, 3 pl. *nesút, berút/berút, kladút, ozmút*, 1 sg. *ja idú, pridú, p'idú, ja vedú, ja nesú, unesú, k'inč'ú, ja č'in'ú*.

Основным рефлексом праслав. \*o (не в «новозакрытых» слогах и не в ToRT, oRT-) является тышк. <uo>: *puó'it, puóle*, асс. *na puóle*, loc. *na puóla, muóre*, асс. *na muóre*, loc. *na muóri*, ном. sg. *duól'i, vuól'i, nuš's'i, širušk'ij, muókryj, mušzok*, 3 pl. *suól'i*, instr. *suólew, suósna, p'idtuóya*, 3 pl. *muól'i s'i, buóž'e s'i, kruó'p'je, uruódi, puójas*, ген. *puójasa, mołoduóyo, novuóji, muóyo, svuóyo*, instr. *za r'ikuów, rešetúó, rebruó, seťuó, s'idtuó, čotúó, teptúó, v'iknuó, krytuó, pšonuó, jadrúó, my jmuó*. Ауслатное \*o имеет тышк. рефлекс <o>: *ško, šci, šstryj*, ген. pl. *šs'iw*.

Рефлекс <uo> имеет «второе o» в ToRT: *voťuós'i, voruóna, koruóna, zdoruówje*.

Напротив, как и в других карпатоукраинских говорах (см. [1]), «первое o» в ToRT и o в oRT- отражаются как <o>, т. е. имеют такой же рефлекс, как \*ъ: *sórok; kótos; 3 pl. róbj'i* (<\*orběty, ср. *uruódi* <\*u-roděty).

«Удлиненное» \*ō (в «новозакрытых» слогах) отражается в тышковском в виде <ū>: *b<sup>u</sup>ik, b<sup>u</sup>ib, n<sup>u</sup>iŋ, dv<sup>u</sup>ir, f<sup>u</sup>ist, k'it, k'it<sup>u</sup>ka, s'il<sup>u</sup>, r'ik, v<sup>u</sup>iz, k'in', n'is, n'ixk<sup>i</sup>* (вторично *n'ixok*), *k'ixk<sup>i</sup>, k'il'ko, p<sup>u</sup>izno, b<sup>u</sup>irše, v<sup>u</sup>il'xa, p'it s'k<sup>i</sup>ŋt, gen. pl. do šisk r'ik, barl'ŋŋ (sic!), gen. pl. l'is'ŋw, m'isk<sup>i</sup>ŋw, ɣr'ix'ŋw, vovk'ŋw, syn'ŋw, sov'ŋw.*

Вторично \*ō в *okr'ŋwl'i* (удлинение в словах на \*-ovl'a известно большинству украинских говоров — ср. литер. *kr'ŋvŋ, bud'ŋvŋ* и т. д.; регулярные формы типа *rokr'ŋŋwl'a* отмечены лишь в отдельных закарпатских говорах). Аналогического происхождения \*ō в gen. pl. *bor'ŋn, kor'ŋw, bor'ŋd; dor'ŋška, bor'ŋtka; gen. pl. sl'ŋz* (от *stozá < \*slza*). Видимо, неисконным для тышковского говора является *kr'it* (gen. *krotá*), ср. литер. *krim < \*krŋt* — для всего карпатоукраинского ареала характерны лексемы, восходящие к \**krŋtina/\*krŋtica*.

Рефлексом «сильного» \*ъ (не в ТъГТ) в тышковском говоре является <o>: *són, m<sup>o</sup>ŋx, dóšc, krów, v'ikón, ɣŋtka, v'ŋnk, p'is<sup>o</sup>ŋk, m'ist<sup>o</sup>ŋk, ɣov<sup>o</sup>ŋk, instr. rešetm, p'it xrestm, za set<sup>o</sup>m/za setóm, za stol<sup>o</sup>m/p'it stol<sup>o</sup>m.* Начальное \*vъ- отражается как <v> в *v<sup>o</sup>š*, но o- в рефлексе префикса \*vъz-: *ŋzmi, ŋzmeš, ŋzme < \*vъzme-*.

Неясно <uo> как рефлекс «вставного» \*ъ в *vov<sup>u</sup>ŋn' (< \*ogŋ).*

В рефлексах ТъГТ и ТыТ, как и в других карпатоукраинских системах, видимо, первоначально \*ъ отражался как <uo>: *muŋrkova, kuŋrŋta; suŋnce, loc. na suŋnce* (со старой потерей \*l). В *d<sup>u</sup>ov<sup>u</sup>ŋj/d<sup>u</sup>ov<sup>u</sup>ŋj, v<sup>u</sup>ŋna, v<sup>u</sup>ŋwk, d<sup>u</sup>ov<sup>u</sup>*, присутствует фонема <o>, но, скорее всего, она вторична, и дифтонгоиды здесь восходят к старым дифтонгам в результате упрощения «сверхтяжелых» слогов — ср. рудимент старого состояния в *suŋnce*.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

В Приложении 1 продолжается публикация расшифрованных магнитофонных записей Краткой фонетической программы (вопр. 1—10а, посвященных вокализму) — см. [1; 2]. Ниже приводится материал из девяти карпатоукраинских говоров. Три из них гуцульские: с. Яворов Косовского р-на (инф. П. П. Бучук, 1926 г. р., программа записана в 1995 г. О. А. Абраменко, М. Н. Толстой); с. Яблоніца Надворнянского р-на Ив.-Франковской обл. (инф. М. Ф. Берланюк, 1929 г. р., запись О. А. Абраменко, 1995); с. Чёрная Тіса Раховского р-на Закарпатской обл. (инф. В. М. Гуцуляк, 1937 г. р., запись О. А. Абраменко и А. И. Рыко, 1995). Также приводится материал: изолированного галицкого говора с. Перегінск Рожнятовского р-на Ив.-Франковской обл. (инф. Д. Д. Король, 1919 г. р., зап. А. В. Тер-Аванесовой, 1991); «палеогалицкого» говора с. Лопухов (Брустуры) Тячевского р-на Закарпатской обл. (инф. М. Ю. Фабриций, 1940 г. р., запись О. А. Абраменко, 1995); верховинских говоров с. Торунь Межгорского р-на (инф. А. В. Жаба, 1937 г. р., запись С. Л. Николаева и М. Н. Толстой, 1990) и с. Скотарское Воловецкого р-на Закарпатской обл. (инф. А. В. Беца, 1924 г. р., запись С. Л. Николаева и М. Н. Толстой, 1990); «палеоборжавского» говора с. Русская Мокрая Тячевского р-на Закарпатской обл. (инф. А. М. Полага, 1914 г. р., запись А. И. Рыко и Ю. В. Стрельниковой, 1995); ужанского говора с. Турья Пóляна Перечинского р-на Закарпатской обл. (инф. М. М. Чаки, 1934 г. р., запись Ю. К. Даниловой и К. Л. Киселевой, 1989).

Материал приводится в фонетической транскрипции, без фонологической интерпретации и сравнительно-исторических комментариев. В подзаголовках раскрывается основная тема вопросов (в лексемах не обязательно присутствуют

указанные праславянские фонемы). Дешифровка магнитных записей сделана автором настоящей статьи.

В следующих выпусках данной серии очерков планируется публикация всех фонетических материалов Карпатских экспедиции начиная с 1988 г.

### 1. Рефлексы праслав. \*е и \*ь

**Яворов:** *veselij, berijęza, lięn, \*orijęł, l'it, m'it, zernuó, zamięrs, č'itvjer'tij, pięs, ovijęs, p'óp'it, vijęč'ir, d'ijęwjik, n'ijębo, zeml'ija, pid zemn'ęw, na zemn'iję, rešetuó, na rešeki, rešetóm, š's'ęni, rebruó, rębra, rebrá, usię, usey'ó, sięrece, na sięrci, suónce, na suónci, merz'ija 'межа', na merz'iję, za merz'uów, do merz'ij, d'ijęn, v'iter, xrijęst, bes xrestá, na xreski, pit xrestóm, s xrestámi, umijęr, č'ijęse se, č'ijęsut, t'ijęmnij, po'emņito, nat'ijęr, v'iter, konjęc, bes k'ijęc'ija, jiz'ijęk, jiz'ęká, solijęnij, na berijęz'i, kijęsko, žuówt'ij, žornuó, pišuów, pištá, peč'ijęnij, nozijęm, bez noz'ija, z dušijęw, duš'ija, ģor'ijęč'iję, č'uórn'ij, č'orņije, č'ijęsk, č'ijęsn'ij, šis'k, šijęstij, žuólt', č'otow'ik, pí'r'i, cijęrkva, setuó, za setuóm, pijęk sít, puóle, na puóle, na puóli, sí'm póp'it, vełá, n'ijęsta, veliję, n'ijęsli, vedú, n'ęsú, ved'iję, n'ęsiję, ved'et'iję, n'ęsepiję, tuóre, na tuóre, na tuóri, konjęc, ođovijęc, xrebijęł, t'ijęsk, pięn, pięá, lięxk'ij, liękše, č'erijęšņi, merijęška, ģimec, bijęrex, seredá, neresn'ic'i 'вид рыбы', pič', inf. peč'iję, s pięč'i, na peč'iję, v'it, vełá, pič, v'is, l'ijęta, kytka 'тетка', t'ijęplij, puóskil', t'ep'ijęše, d'ijęwjik, d'ijęs'ik, d'iję, sí'm, sijęmij, d'elijęko, t'el'ic'a, zam'itaju, peruó, bes perá, s peruóm, s'idt'uó, do žijęk'i, z žijękow, žijęk'ij, bez žinuók, žel'izo, č'ot'uó, šijęs'tero rebijęr, zíl'i, t'ep'iję, u t'ep'iję, zelijęnij, zeleniję.*

**Яблонца:** *vesijęlij, berijęza, svijękor, lięn, orijęł, l'it, m'it, zernuó, zamięrs, č'etvjer'tij, pięs, ovijęs, puóp'it, vijęč'ir, dęwjik, n'ijębo, zeml'ija, pid zemlijęw, na zemli, rešetuó, na rešekiję, rešetóm, rebruó, rębra, rebrá, prijšliję, us'ogyó, sięrece, na sięrc'u, suónce, na suón'c'u, mežá, na meziję, za mezijęw, do mež'ij, dijęn', v'iter, xrijęst, bes xrestá, na xreski, p'it xrestóm, s xrestámi, mertvij, č'ijęšet s'a, č'ijęsut, t'ijęmnij, temn'ijet, natijęr, p'ittijęr, v'iter, tjer'ti, konjęc, na k'inciję, bes k'inc'ija, terijęn, jizák, jizaká, jizak'it, dijęxoł, solijęnij, na berijęz'i, m'ijęuóčok, kišk'iję, žuówtij, žuórna, piš'ów, pištá, peč'ijęnij, m'ijęuók, nozijęm, bez noz'iję, z dušijęw, z v'itvijęw, dušá, č'uórnij, č'orņ'ijet, č'ijęsk, č'ijęsnij, š'ijęsk, šijęstij, šijęsta, žot'uóđok, č'otow'ik, pi'r'i, cijęrkva, setuó, za setuóm, gen. pl. s'iję, puóle, na puóle, na puóli, vełá, nijęsli, veliję, nijęsli, ved'ú, nes'ú, vediję, nesiję, vedijęte, nesijęte, tuóre, na tuóre, na tuóri, s k'incijęm, mođovijęc, z mođovijęm, v'inuók, ođovijęc, kojęł, xrebijęł, tęsk, pięn', pn'iję, lięxkij, liękši, č'erijęs'n'i, merijęška, n'ijęmec, bijęrix, zber'iję, seredá, pič, speč'iję, s pięč'i, na peč'iję, pijęč'it, pov'it, povetá, pič, pov'is, t'ijęta, t'ijęplij, puóstel', t'ep'ijęš'ij, dijęwjik, dijęs'ik, diję, uóde 'здесь', s'iję, sijęmij, delijęko, tel'ic'i, metuó, peruó, bes perá, s peruóm, na per'i, s'idt'uó, z žijękow, us'ij žijęk'iję, bez žinuók, žel'izo, čot'uó, š'ijęsk rebijęr, z'ijęli, t'ep'iję, u t'ep'iję, zelijęnij, zelen'iję, mijękil'.*

**Ч. Тиса:** *veseláj, beręza, svákor, klęn, lęn, oręł, l'id, m'id, zomęrz, četvęrtij, pęs, ovęs, p'óp'it, věčir, dęwjik, nębo, zeml'iję, pid zemlijęw, na zemláj, rešet'ó, na rešet'i, rešet'óm, rebr'ó, rębra, rebrá, wsę, pryjšláj, ws'ogyó, sęrece, na sęrcy, suónce, na s'ónc'u, na meziję, za mežęw, do mež'i, dęn', v'iter, xręst, xrestá/xręsta, na xrest'i/na xręst'i, p'it xręstóm, s xrestámy, męrtvij, čęše, čęšut, tęmnij, temn'iję, nótęr, p'ittęr, v'iter, tęrti, konjęc, bes k'inc'iję, dęrn'o, jiz'ęk, dęxoł, solęnij, na beręz'i, na klen'i, zelęnij, zelenęn'kyj, m'iščulák 'мешочек', išk'áj, žuówtij, žuórna, piš'ów, pišlá, pečęnij, nožęm, bez noz'iję, z dušęw, z v'itvijęw, duš'iję, ģor'ijęčo, čuórnij, čorņ'iję, čęst, čęsnij, šis't, šęstij, šęstá, žel'udok, žuólud, čolov'ik, pi'r'e, cęrkow, sel'ó, za sel'óm, gen. pl. sęl/sęl'it, puóle, na puóle, na*

puóly, sím puólyj, velá, nésla, velá, násly, vedú<sup>u</sup>, nesú<sup>u</sup>, vedíže, nesíže, vedáte, nesáte, muóre, на муóre, на муóry, s kin'cám, udovác, kozízel, xrebát, tást, pán', pn'le, léxkyj, lékšyj, čeréšn'e, meréškł, n'ímec, béréh, seredá, nárest, píč, pečá, s páčy, na pečíá, pečáj, v'iw, velá, p'ík, v'íz, tétá, táplyj, puóstíl', tepl'íšče, dáwjiť, dásiť, dá, sím, sámyj, dæližko, telýc'e, metú<sup>u</sup>/metú<sup>u</sup>, per<sup>u</sup>ó, perá, s peró<sup>u</sup>m, na perí, sidl<sup>u</sup>ó, d ž'in'ci, ž ž'íjkow, ž'in<sup>u</sup>ók, žel'izo/zel'izo, čol<sup>u</sup>ó, rebær, zíl'e, tepl<sup>u</sup>ó, u tepl'í, zelényj, zelen'ije, máčil'.

**Перегинск:** veselíj, beréza, svékor, klén, lén, oriét, l'íd, m'íd, zérno, zaméřz, četvértij, pés, ovés, puóp'iw, véč'ir, déw'jať, zeml'ía, níebo, p'id zemléw, na zemlé, rešetúó, na rešet'í, rešetó<sup>u</sup>m, pés'a, rebruó, rebrá, rébra, fs'í l'íude, u<sup>u</sup>s'úó, sérce, na sérci, s<sup>u</sup>ónce, na s<sup>u</sup>ónci, mežiá, na meží, za mež<sup>u</sup>ów, koło mež'í, dén', v'ířter, xřést, bes xřestá, na xřes't'í, p'it xřestó<sup>u</sup>m, s xřestámi, méřtvij, čiése, témnij, řemn'ije, v'ířter (\*vyřtřľ), téřti, konélc', na k'in'cij, bes k'in'c'ía, ternína, soliénij, na beréz'í, na klén'í, zelenén'kij, řaškij, žúówtij, žúórno, p'íš<sup>u</sup>ów, p'íš'tá, pečiénij, m'íš<sup>u</sup>ók, nožím, bez nožá, z dušíew, z v'iwciéw, řor'íáč'o, čúórniť, čiés'c', čiésniť, šís'c', šíéstij, šíesta, šestúó 'шест', žolúdok, č'olov'ík, pír'ja, cíérkva, selúó, za seló<sup>u</sup>m, puóle, na puóle, na puóli, velá, nestá, velíř, neslíe, vedú, přivedú, nesú, vezíe, nesíe, vedetíe, nesetíe, muóre, na muóre, na muóri, z v'icciém, z mořocciém, v'ínélc', v'inó<sup>u</sup>k, udovélc', kozét/kozét, xřibét, tés'c', pén', pn'ía, líéxkij, šče líéksi, čeréšn'a, n'ímec', béréh, čeredá, píč, spečíř, s péči, na pečíř, pečíej, v'iw, velá, velíe, p'ík, v'íz, tétá, téplij, tepl'íščij, déwjiť, dés'eť, díe, s'ím, sémiť, daliéko, telíc'a, telít' s'a, ja metú p'íđtúóy, perúó, s peró<sup>u</sup>m, na per'íř, stebtúó, do ž'íjki, ž ž'íjkow, žel'izo, č'olúó, č'él'ustř, rebér, teplúó, u tepl'íř, zelénij, zelen'ije.

**Лопухов:** veselíj, beríeza, klén, lén, oriét, l'ít (/lét), m'ít/mét, zernúó, zaméřs, četvéřtyj, pés, ovés, puópel, véč'ur, déw'jať, nébo, zeml'á, p'ud zeml'úów, na ziml'í, rešetúó, na rešit'í, rešetó<sup>u</sup>m, pesók 'щенок', rebruó, rebrá, říebra, us'í, usé, us'úóy, sérce, na sér'c'u, s<sup>u</sup>ónce, na s<sup>u</sup>ón'c'u, mežá, na mež'í, za mež<sup>u</sup>ów, dáž'n', v'ířter, xřést, bes xřestá, na xřes'c'í, p'ut xřestom, s xřestámi, méřtvij, témnij, řotimn'iw, řimn'ije, vič'ir'ije, natér, zatér, zatéřti, v'ítéřti, téřli, téřlic'a, konélc', na k'unc'í, bes k'unc'ía, téřen, d'řn'ó/d'řn'úó, jžžák, jžžáká, dat. sg. jžžak'ú, gen. pl. jžžak'ú, solényj, na beríež'í, na klén'í, zelényj, zelenén'kij, dninínka 'денёк', řaškij, žúówtij, p'uš<sup>u</sup>ów, p'ušlá, pečényj, m'íš<sup>u</sup>ók, nož<sup>u</sup>óm, bez nožá, z duš<sup>u</sup>ów, z v'uc'úów, dušá, řor'áče, čúórnyj, čés'c', čésnyj, šís'c', šéstij, žolud<sup>u</sup>ók, žúólur', čolow'ík, pír'a, cérkow, selúó, za sel<sup>u</sup>óm, tri séla, sél, puóle, acc. na puóle, loc. na puól'ú, gen. pl. puól'ú, véla, nésla, véli, níésli, vedú, nesú, vedé, nesíe, vedéti, neséte, muóre, na muóre, на муóř'u, s k'unc'úóm, z mořoc'úóm, v'ín<sup>u</sup>ók, udovélc', kozél, xřibét, p'áž'n', gen. pn'ía, léx'kyj, čeréšn'a, inf. meríežiti, n'ímec', béréx, dáž'n', séředa, píč, inf. péči, řs péči, na pečí, gen. pl. pečíj, v'iw, véla, p'ík, v'ís, tétá, téplyj, puós'c'íl', šče řotépl'ije, déw'jať, dés'æť, dé, óde, s'ím, sémyj, dæléko, telíc'a, telíti s'a, méty, per<sup>u</sup>ó, bés perá, s per<sup>u</sup>óm, loc. na p'ír'í (\*p'er'ji), na p'er'í, s'idl<sup>u</sup>ó, d žon'í / řd žon'í, ž žonúów, žúóni, žel'izo, čol<sup>u</sup>ó, rebér, ž'íl'a, teplúó, u řipl'í, zelényj, řelin'ije.

**Торунь:** veselóy, beréza, svékor, kl'ín', lén, orél, l'íd, m'íd, zernúó, pl. zérna, zaméřz, četvéřtoy, pés, ovés, puópel, véč'ir, déw'jať, nébo, zeml'á, p'íd zemléw, na zeml'í, řéřeto, na řéřet'í, rebr<sup>u</sup>ó, rébra, rebrá, us'í, us'úó, sérce, na sérci, s<sup>u</sup>ónce, na s<sup>u</sup>ónci, mežá, za mež<sup>u</sup>ów, u meží, déž'n', v'ířter, xřést, bes xřestá, na xřes'c'í, p'it xřes<sup>u</sup>óm, s xřestámi, méřtvooj/méřtvóy, čése, čésut, témnooj, řemn'ije, natér, p'ítřter, vóóter, téřti, konélc', na k'in'c'í, bes k'in'c'á, terník, jžžák, solénooj, na beréž'í, na klén'í, zelénooj, řaškóy, žúówtooj, žúórna, p'íš<sup>u</sup>ów, p'íšlá, pečénooj, m'íš<sup>u</sup>ók, nož<sup>u</sup>óm, bez nožá, z duš<sup>u</sup>ów, z v'iwcéw, řor'íáč'úó, čúórnooř, č'orn'ije, čésnooř, šís'c', šéstooř, žolúdok, čolow'ík, pír'ía, cér'kow, sel<sup>u</sup>ó, za sel<sup>u</sup>óm, puóle, na puóle, na puóli, velá,

nésla, nésli, vedú, nesú, vedé, nesé, vedeté, neseté, m<sup>u</sup>óre, na m<sup>u</sup>óre, na m<sup>u</sup>óri, s k'in'c'óm, v'inéč', udovéc', kozél, xrebét, téš's'c', péln', pn'á, léxkoj, čeréš'n'a, merežiti, n'imec', bérefi, čeredá, seredá, pič, peči, s péče, na peči, pečej, v'iw, velá, p'ík, v'íz, r'ítka, téploj, déw'jať, dės'ať, dé, sím, sémoj, daléko, telíc'a, télit' s'a, metú, per<sup>u</sup>ó, bes perá, s per<sup>u</sup>óm, na per'í, s'ill<sup>u</sup>ó, id žon'í, iz žon<sup>u</sup>ów, z<sup>u</sup>ónoo, bez žín, žel'izo, čol<sup>u</sup>ó, p'jáf rebér, tepl<sup>u</sup>ó, zelénooj, zelen'íje.

**Скотарское:** svékor, klín, lén, orél, léd/l'id, méd/míd, zaméřz, četvrtýj, pés, ovés, puópil, véčer, déw'jať, nébo, žeml'á, réšetó, na réšet'i, rebr<sup>u</sup>ó, rébra, sérce, na sérci, s<sup>u</sup>once, na s<sup>u</sup>ónci, mežá, za mežów, dén', véčir, víter, xrést, bes xrestá, na xřes'c'í, xřest<sup>u</sup>óm, s xřystámi, mertvýj, vin čéše, oní čéšut, témnyj, temn'íje, natér, pittér, výter, térti, na k'in'cí, bes k'in'c'á, těr'n'a, jižák, solényj, na beréz'zi, na klín'i, zelenén'kyj, řaškýj, zówtyj, zórna, pišów, pečényj, nožóm, bez nožá, z dušów, z viwc'ów, ģoriáčyj, čórnyj, čorn'íje, čésnyj, šis'c', žoludók, čolovík, píř'a, cérkow, sel<sup>u</sup>ó, za selóm, p<sup>u</sup>óle, na p<sup>u</sup>óle, na p<sup>u</sup>óli, velá, neslá, velí, neslí, vedú, nesú, vedé, nesé, vedeté, neseté, m<sup>u</sup>óre, na m<sup>u</sup>óre, na m<sup>u</sup>óri, vinéc', udovéc', kozél, xrbét, tės's'c', pėn', pn'á, léxkyj, čeréš'n'a, seredá, pič, s péči, na peči, pečej, víw, velá, pík, víz, r'ítka, téplyj, tepl'iššyj, déw'jať, dės'ať, dé, sím, daléko, metú, telíc'a, per<sup>u</sup>ó, bes perá, s peróm, na perí, sidl<sup>u</sup>ó, d žon'í, ž žon<sup>u</sup>ów, žóny, bez žín, žel'izo, čol<sup>u</sup>ó, rebér, tepl<sup>u</sup>ó, zelényj.

**P. Мокрая:** veselýj, klíenik, líén, orél, líéd, miéd, zernýó, zamiéřs, oníés, puópel, viéčur, niébo, žeml'á, pud žeml'úów, na zemní, rešetýó, na rešet'í, z rešet<sup>u</sup>m, piés'a, rebřýó, rebrá, říebra, us'í, us'ítiko, siérce, na siérci, suónce, na suónci, miéža, za miéžow, diéln', v'íter, xrést, bes xřesta, na xřes'c'í, put xřestom, is xřestami, miértvýj, čéše, čéšut, témnyj, temn'íje, natíér, puttíér, výter, tiérti, koňéč', na kun'cí, bes kun'c'á, tíeren, b'řnyó 'бревно', ižák, nié ižaká, ižakúoni, mnúóyo ižakú, díxř', solényj, na beréz'zi, zelíenen'kyj, fájna dnířka, m'išč'úk, řaškýj, žúówtýj, puš<sup>u</sup>ów, pušlá, pečíenyj, řířžu nožúóm, bez nožá, iz duš<sup>u</sup>ów, iz vuc<sup>u</sup>ów, teplýó, čúórnyj, čorn'íje, čiés'c', čiésnyj, šis'c', šíestyj, šíesta, želúdok, žólud', čolov'ík, p'ír'a, c'íérkva, selýó, za seló<sup>u</sup>m, trí siéla, p'jáf siél, puóle, na puóle, na puóli, sím p'úl', viéla, niésla, viéli, niésli, vedú, nesú, nesíé, vedetíé, v'ý nesetíé, muóre, na muóre, na muór'i, is kun'c'óm, v'inéč', odovéč', kozíél, xřebíét, tiés'c', p'ėln', pn'á, pl. líéx'k'í, n. máj líéxke, čeréš'n'a, seredá, speč'í, na peč'í, pečej, p'ík, v'ík, tiéta, tiéplyj, puós'c'íl', diéw'jať, diés'ať, dié, siémyj, daliéko, telíc'a, telíti s'a, ja metú, perýó, bes perá, is peró<sup>u</sup>m, na p'ír'í, sidlýó, id žon'í, iz žonúów, us'í žóny, bez žún, žel'izo, rebíér, zíl'a, teplýó, u tepl'í, zelényj, zelen'íje, metíelíc'a.

**T. Поляна:** beréza, svekrá 'свекровь', klín, lén, orél, lét, mét, zérno, zaméřs, č'vrtvrtýj, pés, ovés, puóřil', véč'ur, déw'jať, nébo, žeml'á, pud žeml'úów, na zemlí, rešit<sup>u</sup>ó, na rešit'í, rešit<sup>u</sup>óm, rebrúó, rebrá, rébra, wsí, ws<sup>u</sup>ó, ws<sup>u</sup>óyo, sérce, na sér'c'u, suónce, na suón'c'u, mežá, na meži, za mežów, déln', víxor 'ветер', xrést, bes xřesta, na xřes'ř'i, put xřestom, s xřistámi, mertvúj, un č'éše, oní č'éšut, témnyj, stėmn'ílo s'a, natér, vúter, térti, koňéč', na kuncí, bes kun'c'á, téren, dernúwka 'дерн', jižák, jižaká, dat. jižakú, gen. pl. jižakú, solényj, na beréz'zi, na klínovi 'на клёне', řaškýj, žúówtýj, puš<sup>u</sup>ów, pušlá, pič'ėnyj, nožúóm, bez nožá, z vuc<sup>u</sup>ów, ģor'ač'úó, č'úórnyj, č'orn'íje s'a, č'és', č'ėsnýj, šis', šėstýj, šėsta, želúdok, č'olovík, píř'a, c'ėř'kow, sel<sup>u</sup>ó, za sel<sup>u</sup>óm, puóle, na puóle, na puól'u, puvelá, nésla, velí, nésli, vedú, nesú, vedé, nesé, vedeté, neseté, muóre, na muóre, s kun'c'óm, v'inéč', udovéč', kozél, xrbét, tės's', pėn', pn'á, léxki, léks'i, čeréš'n'a, meréža, n'imec', bérex, séreda, péc, pič'í, vjux, velá, pjúk, vjús, ř'ítka, téplýj, teplíšše, déw'jať, dės'ať, dé, sím, sényj, daléko, télit' s'a, metú, per<sup>u</sup>ó, bes perá, s per<sup>u</sup>óm,

na perí / na per<sup>u</sup>ónvī, sídl<sup>u</sup>ó, d zon'í, z zon<sup>u</sup>ów, зуónтв, зán, zel'izo, č'oluó, tepluó, u tepluónvī, zelénтв, zelen'íje.

## 2. Рефлексы \*č

**Яворов:** xl'íp, l'ís, u l'ís'i, l'ísa, m'ísto, m'ísta, m'ístá, díto, s'íno, u s'íni, b'ílij, s'p'iváti, kol'íno, na kol'íni, jf<sup>u</sup>xati, jídu, jíd'eš, v'ít'er, u kíl'i, pow'ísiti, pow'íšu, 3 pl. pow'ís'u, p'ís'ni, p'ís'ni, m'ís'ic, v'ín'ik, v'ín'ok, v'ín'ká, m'ít', jíst'i, jé, jím, jís, jfst, jtmuó, jst'íč, jíd'í, d'íč t'i jé, instr. c'ípom, ját, jíli, yr'ix, yr'ixá, yr'ix'á, yr'íx'á, yr'íx'á, r'íká, r'íč'ka, na r'ic'í, pl. r'ík'á, podíl'ít'i, podíl'it, yr'íš'ít'i, yr'íš'ít, yr'íš'ít, p'ís'ok, u p'ísk'ú, p'íská, na stol'í, na kon'í, na traw'í, po vod'í, na zemn'í, na ruc'í, men'í, tob'í, sob'í, krów, díwka, díw'ina, xl'íw, l'ívij, b'idá, pl. cvr'íč, dvanác'ik, za r'ík'ów, v'idruó/v'idruó, mołod'í, doroy'í, nov'í, v'idró'm, s'níx, u s'níy'ú, s'níy'u.

**Яблоница:** xl'íp, l'íis, u l'íis'i, nemá l'íisa, m'íisto, pl. m'íista, dísto, s'íino, u s'íin'i, b'ílij, s'p'iváti, jf<sup>u</sup>xati, ja jídu, v'ít'er, na kíl'i, pov'ísiti, pov'íš'iju, p'íis'n'i, m'íis'ac, v'ién'ik, v'ín'ok, v'ín'ká, u m'íéne ws<sup>u</sup>óyo jé, jísti, ja jím, ti jís, v'in jíst, jtmuó, jst'íč, c'íp, ját, jíli, yr'ix, yr'ixá, yr'ix'í, yr'ix'íw, r'íč'ka, r'íká, na r'ic'í, gen. u pl. r'ík'í, díl'ít'i, díl'it, yr'íš'ít'i, yr'íš'ít, p'ísuók, u p'ísk'ú, nemá p'ísk'ú, na stol'í, na kon'í, na trav'í, po vod'í, na zeml'í, na ruc'í, men'í, sob'í, tob'í, kr<sup>u</sup>ów, díwka, díw'ina, l'íévij, b'idá, dos'p'íváje, dvanác'ik, za r'ík'ów, v'idruó, mołod'í, doroy'í, nov'í, v'idruóm, s'íirij, s'n'íx, na s'n'íy'ú, nemá s'n'íy'u, s'lipuú z'ínku, r'ípa.

**Ч. Тиса:** xl'íb, l'ís, u l'ísi, l'ísa, m'íisce, m'íis'c'a, m'íis'c'í, dílo, síno, u síni, b'ílij, s'p'iváti, kol'íno, na kol'ín'i, v'ít'er, u l'íi, zav'ísyty, pov'íšu/ zav'íšu, pov'ísyty, 3 pl. pov'ís'e, sp'ívan'ka, sp'ív'ok, m'íis'ic, v'ín'yk, v'ín'ok, v'ín'ká, m'íi, jíč, jísty, jím, jíst, jtmuó, jst'íč, jíd'í, cíp, jád, jíly, yr'ix, yr'ixá, yr'ix'á, yr'ix'á, r'íká, na r'ic'í, r'ík'á, r'ík'á, podíl'ít'y, dílyt, yr'íš'ít, yr'íš'ít, yr'íš'í, p'íis'ok, u p'ísk'ú, p'íská, na stol'í, na kon'í, na trav'í, na vod'í, na zeml'í, na ruc'í, men'í, sob'í, tob'í, krów, díwka, díw'yna, l'ívyj, b'idá, dvanác'it, za r'ík'ów, v'idruó, ut sl'ip'íj z'ínci, sl'ip'íj z'ín'ka, mołod'í, doroh'í, nov'í, v'idruóm, síd'j, sítraj, sn'íi, na sn'íi'ú, sn'íi'ú, sl'ip'ú z'ínku, r'ípa.

**Перегинск:** c'íp, xl'íb, l'ís, u l'ís'i, l'íisa, m'íisto, gen. m'íis'c'a, díto, s'íino, u s'íin'i, s'p'iváti, p'íje, kol'íno, na kol'ín'i, na stol'í, jf<sup>u</sup>xati, ja jídu, jídeš, jídu, pov'ísiti, pov'íšu, pov'ísi, p'ís'n'a, m'íis'ec'/m'íis'ac, v'ín'ik, v'ín'ic, do v'ín'c'á, m'íid', jísti, ja jím, ti jís, v'in jísc', jtmuó, jst'í, jíd'át, jíta, mi jíli, yr'ix, gen. sg. yr'ix'ú, gen. pl. yr'ix'w, r'íká, u r'ic'í, r'íč'ka, podíl'ít'i, díl'it, yr'íš'ít, yr'íš'ít, p'íis'ok, u p'ísk'ú, nemá p'ísk'ú, na stol'í, na kon'í, u trav'í, po vod'í, na zeml'í, na ruc'í, men'í, sob'í, díwka, díw'inka, kl'íw, l'íiva, b'idá, c'v'ít'i, zas'p'iváti, dvanác'c'at, za r'ík'ów, vedruó, idú t' sl'ip'íj z'ín'c'í, u sl'ip'íj z'ín'ki, mołod'í, nov'í, vedró'm, s'íirij, s'n'íi, u s'n'íy'ú, s'n'íy'u, s'lip'ú z'ínku, r'ípa.

**Лопухов:** xl'íp, l'ís, u l'ís'i, l'ís, l'íisa, m'íisto, m'íista, m'ístá, díto, s'íino, u s'íin'i, b'ílij, s'p'iváti, s'p'iváti, kol'íno, na kol'ín'i, v'ít'er, na l'íi, pov'ísiti, zav'íšu, zav'ís'at, p'ís'n'a, p'ís'n'i, m'íis'ac, v'ín'ik, v'ín'ok/v'ín'ok, v'ín'ká, m'ít', jé, x'óč'u jísti, ja jím, jís, jíst, jtmuó, jst'í, jíd'át, jém, jés, jé, jtmuó, jest'í, sút, c'íp'ok, ját, jíli, yr'ix, yr'ixá, yr'ix'í, r'íč'ka, r'íká, na r'ic'í, r'íki, r'ík'í, podíl'ít'i, díl'it, yr'íš'ít, yr'íš'ít, yr'íš'ít, p'íis'ok, na p'ísk'ú, p'íská, na stol'í, na kon'í (?), na traw'í, po vod'í, na zeml'í (?), na ruc'í, men'í, sob'í, tob'í, krów, díwka, xl'íw, l'ívyj, b'idá, dvanác'c'el, za r'ík'ów, v'idruó, it sl'ip'íj z'on'í, do sl'ip'íj z'on'í, v'idruóm, sídyj, s'íryj, s'n'íx, na s'n'íy'ú, s'n'íy'ú, s'n'íy'í, sl'ip'ú z'on'ú, r'ípa.

**Торунь:** xl'íb, m'íisto, m'íista, m'ístá, díto, s'íino, u s'íin'i, b'íloj, p'ís'n'u s'p'iváti, kol'íno, na kol'ín'i, f<sup>u</sup>xati, v'ít'er, u l'íi, pow'ísiti, ja pow'íšu, on'í pow'ís'at, p'ís'n'a,

p'is'n'í, m'ís'ac', v'íněc', id v'ín'c'ú, m'íd', ísti, ja jím, too jís, v'ín jís'c', moo jímé, voo jísté, oní jid'át, v'ík, c'íp, moo jílí, yr'íx, yr'íxá, yr'íxó, yr'íx'íw, r'íčka, r'íká, na r'íc'í, r'íkó, r'íkoo, d'ílítí, d'ílít, yr'íšítí, yr'íšít, yr'íšát, p'ís'ók, u p'ískú, p'íská, na stol'í, na koní, na traw'í, na vod'í, na zemlí, na ruc'í, men'í, tob'í, sob'í, d'íwka, l'ívooj, b'idá, dvanáccet', za r'ík'ów, v'idr'ó, it s'l'ip'íi zón'í, do s'l'ip'íóji zónó, molod'í, dorog'í, no'w'í, v'idr'óm, s'idooj, s'írooj, s'n'íh, u s'n'íyú, s'n'íya, s'l'ip'ú zónú, r'ípa.

**Скогарское:** xl'íb, l'ís, místo, d'ílo, síno, bílyj, spívátí, kol'íno, na kol'in'í, víter, w t'íl'í, pow'ísítí, pow'íšu, pow'ísítí, spívanka, m'ís'ac', m'íd', jístí, jím, jís, jís'c', jímé, jísté, jid'át, c'íp, yr'íx, yr'íxá, yr'íxý, r'íčka, r'íká, na r'íc'í, r'íky, d'ílítí, d'ílít, yr'íšítí, yr'íšít, yr'íšát, písók, w p'ískú, p'íská, na stol'í, na traw'í, u vod'í, na zemlí, na ruc'í, men'í, tobí, sobí, d'íwka, d'íwčína, l'ívyy, bidá, c'vítý, dvanáccit', za r'ík'ów, vidr'ó, sl'ipá zóná, u sl'ip'óji zóný, molod'í, vidróm, síryj, sn'íy, w sn'íyú, sn'íyu, rípa.

**Р. Мокрая:** xl'ífb, m'ífsto, gen. m'ísta, gen. pl. m'ífst, pl. m'ístá/m'ísta, d'íflo, s'kíno, u s'ín'í, b'ílyj, s'p'ívátí, kol'íno, na kol'ín'í, v'íiter, uf t'íl'í/u t'íl'í, zav'ífsítí, voný zav'ífs'at, s'p'ívanka, m'ís'ac', v'ílník, v'ínóok, níjé v'íjnká, do v'ín'c'á, m'ífd', ísti, ja ím, ty íš, ován najís'c', my ím'ó, vy ístíé, oný id'át, 'óji jím, yr'íx, yr'íxá, yr'íxý, yr'íx'ó, r'íčka, r'íká, na r'íc'í, r'íký, r'íky, pod'íl'ítí, d'íílít, yr'íšítí, yr'íšít, yr'íšát, p'ísók, u p'ískuóvi, níjé p'ískuú, na stol'í, na koní, na trav'í, po vod'í, na zemlí, na ruc'í, men'í, tob'í, sob'í, krów, d'íwka, d'íwčátko, xl'íw, l'ívyy, b'idá, uws'í, zas'p'ívátí, dvanáccet', za r'íkuów, v'idr'ó, idú wt s'l'ip'óji zóný, molod'í, dorog'í, no'v'í, na l'ísnoj pol'an'c'í, bez l'ísnoj pol'ánky, v'idr'óm, s'ídyj, sívyj, s'n'íy, u s'n'íyú, u s'n'íyoví, s'n'íya, s'l'ip'ú zónú, r'ípa.

**Т. Поляна:** xl'íp, l'ís, gen. l'ísa, m'ísto, m'ísta, m'ístá, d'ílo, síno, u sínoví, bílyj, spívátí, kol'íno, na kol'ínoví, víxor, pov'ísítí, pov'íšu, pov'ís'ut', spívanka, m'ís'ac', v'íněc', v'ín'c'á, od v'ín'c'óv'í, m'ít', jístí, jé, ja jím, 3 sg. j'ís', 1 pl. jímé, 3 pl. jid'át', c'íp, jít 'пчелиный яд', jílí, yr'íx, yr'íxá, yr'íxí, gen. pl. yr'íxú, r'íká, na r'íc'í, gen. sg. и пом. pl. r'íkí, d'ílítí, d'ílít', yr'íšítí, yr'íšít', yr'íšát', písók, u p'ískuóv'í, p'íská, na stol'í, na koní, na trav'í, po vod'í, na zemlí, na ruc'í, men'í, tob'í, sobí, d'íwka, l'ív'íj, bidá, kvít'í, dvanáccit', za r'ík'ów, v'idr'ó, ot sl'ip'úji zón'í, u sl'ip'óji zón'í, v'idr'óm, sn'íx, f sn'íyoví, sn'íyí, sn'íya, sl'ip'ú zónú, rípa.

### 3. Рефлексы праслав. \*o, \*ъ и \*e, \*ь в позициях лабиализации и удлинения

**Яворов:** píč', píčén, 'óko, 'óč'í, n. 'óstre, bík, píp, bíp, p'jék' n'íx, són, pít, dvír, físt, k'ít, k'ítka, síl', rik, l'ít, m'ít, sím, síčémij, líčxk'íj, umíčér, l'íčéplij, žúóv'íj, v'óol'a, kor'óva, duól'a, vorúona, n. šíruók'e, za seš'óm, vís, k'íj, s kon'íčém, n'ís, m'úx, m'úokrij, v'óotos, m'úozok, γ'ir'k'íj, n. γ'ir'k'íčé, n'íxok, pl. n'íx'k'í, sín'íw, dvoríw, bík'íw, stolíw, beríčé, beríčéš, [berem'ó], beríčé'e, ber'ú'it, šís'k, l'íčésk, pálec, v'íčés', xričést, bíčérex, v'íčérx, na ver'óú, píčér'vij, píp'í, vóš, zámok, d'óš'č, kréw, poríx, γ'or'úx, žúótop, priáyor'š'í, drvá, k'ərn'íc'a, sk'íl'ko, tíl'ko, pízno, bírše, nuóč'ow, suól'ow, pokríw'a daxá, boroná, borín, tík, víl'xa, víwč'á, osá, osíw, sová, sovíáj, k'ítka, sosná, suósn'íw, pričís, priv'íw, nap'ík, kor'ówka, n'íška, tx'ír', kor'ów, borodá, borít, v'idr'óm, serpuóm, za stol'óm, nož'ím, kl'uč'úom, s kon'íčém, podojmíát'í, k'in'č'íét'í, k'in'č'ú, viknuó, d'íčéve'ero vikón, píč'úóga, pídu, píde, píde'emo, ja 'ózmu, t'í 'ózmeš, m'í 'ózmemo, pít stít, pít stol'óm, ríš'š'í, do moloduóga, novuóga n'emá n'íč'úóga, muóga dr'úya, svuóga, u n'íčéyo, u n'íčéji, pítkúona.

**Яблоница:** píč, píčén, 'óko, 'óč'í, 'óstrij, b'ík, p'íp, b'íp, suón, p'ít, dv'ír, v'ít, xv'íst, k'ít, k'ítka, síl'w, r'íčk, l'ít, m'ít, s'ím, n. síčéme, líčxk'íj, m'íčérvij, tíčéplij, žúóvtij, v'óol'a, kor'úva, duól'a, vorúona, šíruók'íj, seš'ú, za seš'úom, v'ís, k'in'w, s kon'íčém, n'íš, m'úx, m'úokrij, v'óotos, m'úozok, γ'íirko, n'í'xok, sín'íw,





*p#órox; p#úst, gen. p#ústa; p#úti, gen. p#úta; r#úti; s#úkol; s#úk, gen. s#úka; st#úros#; s#ún; top#ól'a; t#úloka; v#úlos; vol#úx; v#úsk, gen. v#úska; v#ús, gen. v#úza; v#úwk; x#úlot; xvor#úst; zvún, gen. zv#únny; bolu#úto; g#úre; g#orn#úá; ku#úleso; kr#úosna; mu#óre; p#úle; sl#úono; v#úle/vu#úle; z#úloto.*

**Торунь:** *píč, pé#ín', úko, úci, ústroj, b'ík, p'íp, sn'íp, b'íb, n'íy, s#ún, p'ít, dv'ír, v'íl, xv'íst, k'ít, k'ítka, s'íl', g'íd, l'íd, m'íd, s'ím, sémooy, léxkooy, mértvooy, téplooy, z#úwtooy, v#ól'a, kor#úona, d#úól'a, šir#úokooy, sel#úo, za sel#úm, v'íz, k'ín', is kon#úm, r'ík, n'ís, m#úx, m#úokrooy, v#úolos, m#úozok, n#úoxu#', pl. n'ítá, l#úoku#', pl. l'íktá, ko#z'l'íw, soon'íw, beré, beréš, beremé, bereté, berút, šís#c', té#s#c', pérst, xrést, bérefi, vér'x, na ver'xú, péršooj, pí#a, v#úš, pl. úši, zámo#k, d#úóžž, kr#úow, v#úoron, por'íy, g#or#úox, z#úolob, k#úormit, príy#orš#či, droová, dr#úow, koorníc'a, k'íl'ko, l'íl'ko, p'ízno, b'íl'se, u nočí, s'íl'ow, p#okr'íwl'a, boroná, b#úor#on'íw, r'ík (\*tok#), r'ík (\*tek#), v'íl'xa, v'íw#c'á, ós'íw, s#úosna, s#úos'n'íw, prin'ís, priw'íw, nap'ík, n'íška, dor#úška/dor'íška, v'idr#úm, sérpom, za stol#úm, no#ž#úm, kl'uč#úm, kon#úm, p'ín'n'átí, k'ínčátí, ja k'ínču, v'íkn#úo, m'íst, p'ídú, p'ídé, p'ídemé, v#úoz'mu, v#úoz'meš, v#úoz'me, p'ít s#c'íw, p'ít stol#úm, molod#úoyo, nov#úoyo, m#úoyo, sv#úoyo, u n#úoyo, u néji.*

**Скотарское:** *píč, pé#n', #úoko, #úoci, #úostryj, bík, pí#p, bíb, n'íy, pí#t, dv'ír, v'íl, xv'íst, sí#l', l'íd, m'íd, sí#m, léxkyj, mertv#ýj, dor#úoya, d#úól'a, vor#úona, šir#úokyj, sel#úo, za sel#úm, v'íz, k'ín', s kon#úm, r'ík, n'ís, m#úx, m#úokryj, v#úolos, m#úozok, n#úoxo#', n#úox'ti, syn'íw, beré, beréš, beremé, bereté, berút, šís#c', té#s#c', pálic', xrést, bérey, vér'x, pí#a, v#úš, zámo#k, d#úóžž, kr#úow, v#úoron, por'íy, g#or#úox, z#úolob, dryv#á, kr#úníc'a, k'íl'ko, l'íl'ko, p'ízno, bí#l'se, sí#l'ow, p#okr#úowl'a, boroná, bor#ún, r'ík, v'íl'xa, víw#c'á, s#úosna, so#sn'íw, prin'ís, privi#w, zapík, n'íška, bor#úod, no#ž#úm, kl'uč#úm, vikn#úo, pidl#úoya, pí#ú, pí#de, pí#deme, v#úoz'mu, v#úoz'meš, v#úoz'me, v#úoz'meme, pit st'íl, stol#úm, r'íšča, m#úoyo, sv#úoyo, u n'oyo, u néji.*

**Р. Мокрая:** *píč, úko, o#b'í o#ci, o#stryj, búk, búb, pí#p, núy, só#n, pu#ót, dv#úr, v#úl, xv#úst, k#út, k#útká, sú#l', g#úd, lí#n, m#íed, sí#m, sí#emyj, lí#éxkyj, m#íertvyj, tí#éplyj, z#úowtyj, vu#ól'a, kor#úona, du#ól'a, vor#úona, šir#úokyj, sel#úo, za sel#úm, v#úz, k#ún', kon#ú#m, m#úox, m#úokryj, v#úolos, m#úozok, g#úr'ko, nú#xo#', pl. nú#x'ti, syn#ú#, dv#or#ú#, v#úowku#, sad#ú#, stol#ú#, ov#ún berié, beriéš, beremié, beret#é, berút, šís#c', tí#és#c', pí#erst, us'ýj, x#ríést, bí#erey, ví#ér'x, na ver'xú, pí#éršyj, pí#érvyj brát, pí#r'ka, v#úo#ša, pl. v#úúši, zámo#k, d#úóžž, kr#úow, v#úoron, por#úy, or#úox, k#úrn'íc'a, k#úl'ko, t#úl'ko, pí#zno, náj bú#š, u noč#í, sú#l'ow, bor#úon, t#úo#k, vu#c'á, pl. v#ú#c'í (редкое слово — обычно st#úíška), ós, sv#úow, sv#úosna, gen. pl. sv#úosnij, prin'í#s, priv#úíw, zap#úík, kor#úowka, dor#úška, tx#úr', bor#úod, v'idró#m, sí#érpom, za stol#úm, no#ž#úm, kl'uč#úm, s kon#úm, pud'n'átí, most#úo#k, óbolok 'okno', p#om#úst, ja í#ú, pí#jdu, pí#jde, pí#jdeme, v#úz'm#ú, v#úz'meš, v#úz'me, v#úz'meme, put st#úl, put stol#úm, molod#úoya, nov#úoya, m#úoyo, sv#úoyo, u pí#eyo, u pí#éji, p#itk#úona, vyt sp#éky 'ot žary'. Дополнительный список: bú#b, gen. bú#obu; br#úd, gen. br#úoda; bu#óřš#; do#ly#ún', gen. do#ly#óni; g#ún#j; g#úol#ú; g#úolos; g#úd; g#úorod; or#úox; g#ú#s#c', gen. g#ú#s#c'a; g#ú#b, gen. g#ú#oba; g#ú#m, gen. g#ú#óta; g#ú#orb; k#úolos; k#ún', gen. kon'ká, pl. k#úon'í; k#úorin'; kor#úol'; k#úor#č; k#úor#ž; l#úm, gen. l#úoma; mor#úoz; m#úozok; m#úox; nú#xo#'; n#ús, gen. nu#ósa; pl#út, gen. pl#úóta; pu#órox; ró#z; sn#úp, gen. sn#úopa; sv#úokol; st#úorož; só#n; top#ól'a; t#úloka; v#úolos; pl. vol#úoxy; v#úsk, gen. v#úoska; v#úz, gen. vu#úza; v#úwk; x#úlod; xv#or#úost; zv#ún, gen. zv#úona; bol#úoto; g#úore; g#orn#úá; k#úoleso; kr#úosna; mu#óre; pu#óle; sl#úono; vu#óle; z#úloto.*

**Т. Поляна:** *pé#n', v#úoko, vu#úo#i, o#stryj, búk, pí#p, bú#p, nú#x, s#ún, dv#úr, v#úl, xv#úst, sú#l', r#úk, lét, mé#t, sí#m, sé#mtyj, léxk#ij, mertv#éj, té#plyj, z#úowtyj, kor#úona, du#ól'a, vor#úona, šer#úokij, sel#úo, za sel#úm, v#ús, k#ún', s kon#úm, n#ús, m#úox,*

muókraj, vuólos, m<sup>u</sup>ózos, n<sup>u</sup>óxu', pl. n<sup>u</sup>óxl'i, stáná, beré, berés, beremé, bereté, berúf, šis', tés', pálic', xrést, bérax, bérimn'a, vér'x, na ver'xú, péršvaj, pérnvaj, pír'a, v<sup>u</sup>óš, zámok, d<sup>u</sup>óš', kr<sup>u</sup>ów, v<sup>u</sup>óron, ruóruv, vuóruv, z<sup>u</sup>ólup, k<sup>u</sup>órmif, dréva, kál'ko, túl'ko, ružno, búlše, u nočf, súl'ov, ruóruv'á, vúl'xa, vuc'á, prín'ús, prívájx, napjúk, náška, kor<sup>u</sup>ów, z vidr<sup>u</sup>ó'm, sérpom, za stol<sup>u</sup>óm, nož<sup>u</sup>óm, kl'uc'úóm, kón<sup>u</sup>óm, pudn'atf, ja kún'č'u, múst, rájdu, rájde, vuóz'mu, v<sup>u</sup>óz'meš, v<sup>u</sup>óz'me, v<sup>u</sup>óz'meme, put stúl, molod<sup>u</sup>ógo, nov<sup>u</sup>ógo, svuógo, w n<sup>u</sup>ógo, w néji.

#### 4. Рефлексы праслав. \*i и \*y

**Яворов:** mǎš, žǎto, vǎli, d'ǎšel', mǎ, bǎk, blǎsko, t'ǎ, d'ǎk'ij, d'ǎŋa, lǎpa, sǎn, zažǎnuw, x'ǎtrij, vǎšŋa, d'ǎvit se, sǎta, mǎto, kobǎta, sǎr, sǎt'ij, rǎba, na rǎb'i, ja vǎžu, t'ǎ vǎd'iš, n'ǎtka, šǎto, sǎto, kričú, klǎn, kn'ǎška, mǎto, trǎ, čotǎre, grǎp, d'ǎrǎ, d'ǎrka, sok'ǎra, bu'ǎti, bu'ǎta, bu'ǎli, bu'ǎto, vǎn'es't'i, vǎxod'ǎt'i, vǎmŋi, vǎdra, vǎ, x'ǎivǎ, šǎt'ǎ, žǎt'ǎ, motǎl'.

**Яблоница:** mǎš, k'ǎnuti, žǎto, vǎta, diéšil', mǎ, bǎk, blís'ko, tǎ, lǎpa, sǎn, k'ǎslij, zažǎnuw/rožǎp, x'ǎtrij, víš'n'a, diévit s'a, máje sǎtu, mǎto, kobǎta, sǎr, sǎt'ij, rǎba, na rǎb'i, vǎžu, vǎdiš, niétká, šǎto, sǎto, kričú, pl. kriéta, kniéška, niéva, čotǎre, grǎp, dǎrǎ, diérka, sok'ǎra, bu'ǎti, bu'ǎta, bu'ǎli, bu'ǎto, v'ǎnesti, vǎxodǎti, vǎnosǎti, v'ǎmn'i, vǎ, šǎti, žǎti, motǎl'.

**Ч. Тиса:** mǎš, žǎto, vála, mǎ, bǎk, blás'ko, tá, dákyj, dán'e, lápa, sán, 3 pl. pošánut, pošáb/pošánuw, x'ǎtryj, vǎšn'e, dávyt se, sála, málo, kobála, sár, rába, na ráb'i, vážu, vádyš, nátká, šálo, krǎl'ó, klán, knáska, trǎ, čotǎre, grǎb, dǎrǎ, sok'ǎra, bu'ǎty, bu'ǎla, bu'ǎly, bu'ǎlo, v'ǎnesty, v'ǎplysty 'выплыть', vǎxodǎty, vǎnosǎty, v'ǎmn'e, vǎdra, šǎty, žǎty, motǎlyk, dǎrǎ.

**Перегинск:** mǎš, žǎto, vǎli, dǎšel', mǎ, bǎk, blís'ko, tǎ, diékyj, lǎpa, sǎn, zažǎnuw, xǎtrij, víš'n'a, diévit s'a, sǎta, mǎto, kobǎta, sǎr, sǎt'ij, rǎba, na rǎb'i, vǎžu, vǎdiš, niétká, šǎto, sǎto, kričú, pl. kriá, kniéška, niéva, trǎ, grǎb, d'ǎrka, sokǎra, v'ǎnesti, v'ǎvesti, védra.

**Лопухов:** mǎš, žǎto, ošvíli 'вилы', mǎ, bǎk, blís'ko, tǎ, motǎka, díkyj, dǎn'a, lǎpa, sán, 3 pl. rožǎnut, prt. m. rožǎp, xǎtryj, víš'n'a, dívit s'a, síla, mýlo/mǎlo, nítká, šílo, síto, krič'ó, klín, kníška, níva, trǎ, čotǎri, grǎp, d'erǎ, sokǎra, bu'ǎti, bu'ǎla, bu'ǎli, bu'ǎlo, vǎnesti, vǎl'isti, vǎjti, vǎdra, vǎ, kl'ivǎ, šǎti, žǎti.

**Торунь:** mǎš, kódati, žǎto, vílō, dǎšel', mǎ, bǎk, blís'ko, tǎ, díkyj, lǎpa, sǎn, kóslōj, 3 pl. rožǎbnut, rožǎb, xǎtroj, vǎšn'a, dívit s'a, síla, mǎl'ó, kobóla, sǎr, sǎtoj, rǎba, na rǎb'i, ja vížu, to vídiš, nítká, šil'ó, síto, krol'ó, klín, knípa, níva, trǎ, grǎb, d'ǎrǎ, sokǎra, bóti, bóla, bóli, bólo, vǎnesti, vǎmn'a, vǎdra, vǎ, vǎs'ókōj, vǎdr'ó.

**Скотарское:** mǎš, žǎto, víly, dǎšel', mǎ/mǎ, bǎk, blís'ko, tǎ, díkyj, lǎpa, sǎn, rožǎnuti, xǎtryj, vǎšn'a, síla, mýl'ó, kobýla, sýr, sýtyj, rýba, na rýbi, vížu, vídiš, nítká, šil'ó, síto, kryl'ó, klín, kníška, níva, trǎ, grǎb, d'ǎrka, sokǎra, býti, býla, býli, býlo, vǎnesti, vǎmn'a, védra, vǎs'ókōj, vidr'ó.

**Р. Мокрая:** mǎš, žǎto, ošvíla, mǎ, bǎk, blís'ko, tǎ, motǎka, díkyj, dǎn'a, lǎpa, sǎn, rožǎb/rožǎnuw, xǎtryj, dívit s'a, síla, mýl'ó, kobýla, sýr, sýtyj, rýba, na rýb'i, ja vížu, ty vídiš, nítká, šílo, síto, kryl'ó, klín, kníška, níva, trǎ, čotǎre, grǎb, d'ǎrǎ, sokǎra, býti, býla, bu'ǎli, býlo, vǎnesti, vǎl'isti, vǎxodǎti, vǎdra, vǎ, x'ǎivǎ, šǎti, žǎti, motǎl', vyddála s'a.

**Т. Поляна:** mǎš, žǎto, víly, mǎ, bǎk, blís'ko, tǎ, díkyj, lǎpa, sǎn, rožǎp, síla, mǎlo, kobǎla, sǎr, sǎt'ij, rǎba, na rǎbi, vížu, vídiš, nítká, šel'ó, síto, kryl'ó, klín, knípa, níva, trǎ, grǎp, d'ǎrǎ, bóti, bóla, býli, býlo, imp. vǎnesi, vǎmn'a, vǎdra, vǎ.

#### 4а. Безударный вокализм после мягких свистящих и шипящих

**Яворов:** *zĩjka, pšonuó, zowtóok, zołú<sup>w</sup>dok, šǝstu zĩjku, zal'izo, u pšonǝ, ožen'iw se, do šǝs'k ruók'iw, c'ĩná, c'ĩtá, c'ĩpom, c'ĩpami, c'ul'úju, gen. sg. c'ĩn'ǝ, c'ĩwka, c'ĩn'ǝf'i, c'ĩd'ǝta.*

**Яблонница:** *zoná, z'ĩjka, do z'ĩnk'i, pšonuó, zowtuóok, z'ĩjku, zułú<sup>w</sup>dok, šǝstu z'ĩjku, idǝ d z'ĩnc'i, zel'izo. u pšon'ǝ, žen'iw s'e, pšenic'i, c'ĩná, c'ĩtá, uc'illw, c'ĩpom, c'ĩná, c'ĩl'úju, nemá c'inǝ, c'ĩwka, c'inú, c'inǝtǝ, proc'idǝta.*

**Ч. Тиса:** *z'ĩjka, pšonuó, zowtóok, z'ĩjku, zelú<sup>w</sup>dok, šǝstu z'ĩjku, d z'ĩnci, zel'izo, u pšon'ǝ, žen'iw se, pšeny'c'e, do šǝz' hód'iw, ciná, cilá, uciláw, cin<sup>w</sup>ów, c'ul'úju, bes ciná, cíwka, cin'ǝ, cinǝtǝ, cin'ú<sup>w</sup>, procidáta.*

**Перегинск:** *zĩjka, za zĩjkw, pšonuó, zowtóok, vǝžu šǝstu zĩjku, idú d z'ĩn'c'i, zel'izo, pšenic'a, žen'iw s'a, c'ĩná, c'ǝlǝj, c'ĩp, instr. pl. c'ĩpami, c'ĩl'úju, c'ĩwka, proc'idǝtǝ.*

**Лопухов:** *d'era, zoná, za zon<sup>w</sup>ów, pšonuó, zowtuóok, zonú, zołú<sup>w</sup>dok, šǝstu zonú, u zonǝ, d zon'ǝ, zel'izo, u pšon'ǝ, žen'iw s'a, pšenic'a, do šǝstǝ ɣ<sup>w</sup>ódu, c'ĩná, c'ĩlá, c'ul'úju, bes c'ĩnǝ, c'ĩwka, pǝ c'ĩn'ǝ, trǝba wc'ĩn'ǝtǝ, ja wc'ĩn'ú, c'ĩd'ǝta, proc'izú.*

**Торунь:** *zoná, pšonuó, šǝstu zonú, u zonó, id zon'ǝ, zel'izo, c'ĩná, c'ĩwka.*

**Р. Мокрая:** *zoná, za zonyów, pšonyó, zowtóok, zonú, zelú<sup>w</sup>dok, šǝstu zonú, u zony, zel'izo, u pšon'ǝ, vǝn ožen'iw s'a, pšenic'a, do šǝs'c' ɣ<sup>w</sup>ódu<sup>w</sup>, c'ĩná, oná c'ĩlá, uc'ill'iw, celúju, bes c'ĩnǝ, pǝ c'ĩn'ǝ/pǝ c'ĩn'ǝ, c'ĩn'ǝtǝ, c'ĩn'ú, proc'id'ǝta.*

**Т. Поляна:** *zoná, za zonyów, pšenic'a, zow<sup>w</sup>ók 'желток', vǝžu zonú, zalú<sup>w</sup>dok, šǝstu zonú, u zonǝ, od zon'ǝ, zel'izo, žen'iw s'a, c'ĩná, c'ĩlá, c'ĩpami, c'ĩlúju, bes c'ĩnǝ, pǝ c'ĩn'ǝ, c'ĩn'ǝtǝ, c'ĩn'ú, proc'id'ǝta.*

#### 5. Рефлексы праслав. \*ѣ и \*а после мягких

**Яворов:** *t'ǝl'ǝ, k'iz'ǝtǝ, z'ǝba, mǝjǝckano, p'jítá, mǝtá, r'ǝt, mǝnik'ǝj, jiz'ǝk, n. prt. ziv'jǝtǝ, s'v'it'ǝj, tr'ǝs, nat'ǝs, tr'istá, nat'ristá, tr'islǝ, nat'rislǝ, zapr'ǝx, <sup>w</sup>upr'ǝs, š'ǝpka, z'ǝt'ǝ, z'ǝl'ǝ, z'ǝtǝ, zač'ǝtǝ, zač'ǝtǝ, zač'ǝl'ǝ, dǝtǝl, mǝjǝckaje, mǝjǝckaw, peč'ǝtka, uǝže, ǝǝže, s'ǝd'e, š's'ǝs'ki, č'ǝs, str'il'ǝt'ǝ, boját'ǝ se, p'jǝda, acc. p'jǝdu, pl. p'jǝd'ǝ, v'ǝs'it'ǝ, na z'ǝb'ǝ, var'ǝ, muól'ǝ se, suól'ǝ, buóž'ǝ se, krop'ǝ, kric'ǝ, sidǝ, stojǝ, kótoǝs', jǝɣnǝ, jic'ǝ, jic'ká, jǝc'a, jǝbtuko, jǝsɣ, jǝbɣnka, jǝma, jǝtova, zem'ká, z'óri'ǝ, jǝlic'a, jǝč'mǝn, u jǝm'ǝ, zájic, zájic'a, b'il'ǝje, č'orn'ǝje, zelen'ǝje, duól'a, vuól'a, puójis, puójisa, s'ǝjali, d'ǝwɣik, d'ǝs'ǝk, m'ǝs'ǝc', p'ǝitnácik, m'ǝs'n'ǝj, kɣɣnú<sup>w</sup>'ǝ, r'ǝbǝj, bes p'jǝk, voda s'v'ic'ǝna, r'ǝs'ǝ'a.*

**Яблонница:** *z'ǝba, mn'ǝckanij, mn'etá, r'ǝt, mn'ek'ǝj, tr'ǝs, tr'istá, nat'ǝs, nat'ristá, tr'ǝslǝ, zapr'ǝx, upr'ǝx, š'ǝpka, z'ǝtǝ, z'ǝl'ǝ, z'ǝtǝ, nač'ǝtǝ, nač'ǝl'ǝ, mn'ǝw, mn'ǝl'ǝ, peč'ǝtka, jǝze, s'ǝde, č'ǝs, instr. adv. č'ǝsom, str'il'ǝje, str'il'ǝtǝ, boját'ǝ s'e, bojáta s'e, bojál'ǝ s'e, p'jǝda, p'jǝdǝ, bájati, 3 pl. muól'it' s'e, suól'it, buóž'it s'i, kruóp'it s'i, sid'ǝt, stoját, kuótoǝs'k (sic), jayn'ǝ, jic'ǝ, gen. jic'ǝ, pl. jǝc'ǝ, jǝbɣka, jǝsen', jǝstr'ip, jǝma, ǝǝs jatúovij, zem'ǝ, zar'ká, jač'm'ǝn', jǝduó, u jǝm'ǝ, zájic', zájic'a, b'il'ǝje, č'orn'ǝje, zelen'ǝje, duól'a, vuól'a, puójas, puójasa, s'ǝjali, dǝs'ǝk, kuúz'n'ǝmǝ, m'ǝs'ec, p'ǝitnácik, mn'isnǝj, kɣɣnuóti, r'ǝbǝj.*

**Ч. Тиса:** *tǝl'ǝtǝ, z'ǝba, mn'ǝckanij, p'jǝtá, mn'etá, r'ǝd, mn'ek'ǝj, jiz'ǝk, vǝjnut, zov'jǝly, sv'etǝj, tr'ǝs, nat'ǝs, tr'ǝslá, nat'ǝslá, tr'islá, nat'ristá, zapr'ǝx kon'ǝ, š'ǝpka, z'ǝtǝ, z'ǝl'ǝ, nǝč'ǝtǝ, nǝč'ǝtǝ, nǝč'ǝl'ǝ, dǝtǝl, mn'ǝckatǝ, peč'ǝtka, ǝǝže, prt. m. ǝǝh, sǝde, str'il'ǝtǝ, bojátǝ se, bojálǝ se, bojálǝ se, p'jǝdá, dv'ǝ p'jǝdy, pɣowl'ǝtǝ ty, v'ǝs'itǝ, na z'ǝb'ǝ, var'ǝ, muól'e se, s'óǝe, buóž'e(š) se, kry'ǝ, sydǝ, stojá, jayn'itko, jic'ǝ, jǝc'ǝ, jǝc'ǝ, jǝbɣka, jǝsin', jǝstr'ub, jǝma, jǝlova, jač'm'ǝn', jǝduó, u jǝm'ǝ, zájec, zájic'e, b'il'ǝje, č'orn'ǝje, zelen'ǝje, <sup>w</sup>óǝe, rem'ǝn', sǝjali, dǝwɣit, dǝsɣ, m'ǝs'ǝc', p'ǝjtnácit, mn'ǝsnǝj, kɣɣnuóty, r'ǝbǝj, sv'itǝlka, za p'jǝt, sv'ǝč'ǝnyj, tǝs'ǝ'e, plǝmn'e.*

**Перегинск:** *teľiáta, kuóz'ata, mn'áso, žiába, f. zmn'ákackana, šeliénij, p'játá, r'ád, mn'akéj, izák, z'iw'jáli, z'iw'jáv, s'v'atéj, tr'ías, tr'íastá, tr'íaslí, zapr'íáf, úpr'íaz, šápka, žiáti, žiáli, žiáta, žiáv, začíati, začíata, začíali, ģor'ákacka, mn'áv, tréba wz'íati, ja wz'áv, oná wz'íata, mi wz'áli, pečiátka, w'jáze, l'áze, s'íade, ščás'c'a, čas, str'il'íati, bojáti s'a, bojála s'a, bojáli s'a, p'jád', p'jádi, v'íšati; muól'at s'a, suól'at, buóž'at s'a, kruópl'at, krič'íat, sid'íat, stoját, jaģn'ía, k'óz'a, teľ'á, jic'íe, pl. jéc'a, gen. pl. jéc', jačmín', jábłoka, Jás'in' (соседнее село), jástrub, jáma, zeml'á, záječ', gen. zájc'a, d'ól'a, vuól'a, zyrájami 'стаями', déw'jať, dés'at', m'ís'ac', p'jatnácc'el', mn'asná zúpa, l'agynúti, r'ábéj, s'v'áto/s'v'æto, tís'ač'a, strémena.* Дополнительный список: *zeml'á, meziá, bes k'in'c'ía, bez noziá, duš'ía, ģr'íšiát, pol'ána, p'id'n'íati, p'id'n'áta, p'id'n'áv, p'id'n'áli, k'in'č'íeti, s'k'in'č'íew, s'k'in'č'íeta, s'k'in'č'íeli, k'in'č'ú, s'k'in'č'íat (формы от \*копѣцiti), deržiati, ģor'š'č'ía, moŵč'íati, moŵč'íaw, moŵč'íata, moŵč'íali, moŵč'ú, moŵč'íat, kl'uč'ía, s kl'uč'íami, méč, gen. meč'ía, sáziá, pr'íáziá, gen. z lic'ía, v'iw'c'ía, z v'iw'c'íami, nemá k'in'c'ía, z duóŵŵimi k'in'c'íami, s'v'ætéj.*

**Лопухов:** *teľ'á, pl. teľ'áta, k'óz'q, pl. k'óz'ata, mn'áso, žába, p'játá, mn'atá, r'át, mn'akéj, jžák, s'atíj, tr'ás s'q, natr'ás, tr'ásla, natr'ásla, tr'ásli, natr'ásli, zapr'íáx, upr'íáška, šápka, žáti, žátva, žáli, žála, žáv, načáti, načála, náčali, d'átel, imn'áti, imn'áješ, znáti, pečát', l'iyáje, l'áze [q?], s'áde, ščás'c'a [q?], čas, časí, 3 pl. str'il'íájuť, str'il'íati, ģul'íati, ģul'íaju, ģul'áje, bojáti s'q, bojála s'q, bojáli s'q, p'jáf 'пядь', bájati, báje(ŵ), v'íšati, na žáb'i, var'át, muól'ut, s'ól'at, b'óžat s'q, sid'íat, stoját, kol'ód'as' [q?], jáģn'a, jejc'íe, pl. jájc'a, gen. sg. jejc'á, jábliko, jásin', jástr'ap, jáma, jálova, zeml'á, zor'á, jačmín', u jám'i, zájác' [q?], zájác'a, vuól'a, d'ól'a, p'újas, p'újasa, s'íjali, zyrája, déw'jať, dés'eť, kúz'n'omi, m'ís'ac', n. mn'asné, l'agynúti, r'abýj, s'ačényj, tís'ača.*

**Торунь:** *teľ'áta, kožen'áta, mn'áso, žába, mn'átooj, p'játka, r'íád, mn'axkóoj, v'jánut, s'atóoj, tr'ías, tr'íasla, tr'íasli, zapr'íáy, šápka, žáti, žáli, žála, načáti, načála, načáli, d'átel, mn'áckati, p'id'n'áti, p'id'n'áv, p'id'n'ála, pečát', v'jáze, l'áze, s'áde, ščás'c'a, čas, str'il'áti, ģul'áti, 3 pl. boját s'a, p'jád', d'v'í p'jádi, š'ís'c' p'jádij, bájati, lájati, v'íšati, na žáb'i, variát, m'ól'at s'a, s'ól'at, kr'ópl'at, sid'át, stoját, jaģn'á, jajcé, jájc'a, jajc'á, jáblooko, jásin', jástr'ab, l'ébij', jáma, jálova, jál'óva xášča, zeml'á, zor'ía, jačmín', u jám'i, záječ', záječ'a, d'ól'a, v'ól'a, p'újas, s'íjati, déw'jať, dés'at', m'ís'ac', p'jatnácc'el', mn'asnóoj, l'agynúti, r'íábsooj, bes p'jáf, tóos'ača.*

**Скотарское:** *teľ'áta, mn'áso, žába, mn'átyj, p'játá, r'jad, mn'axkýj, izák, v'jáne, sjatýj, sjáto, triás, triásla, triásli, zapr'íáy, zapr'íaylá, šápka, žáti, žáli, žála, načáti, načála, načáli, mn'áti, mn'áv, mn'ála, wz'atí, ja wz'áv, oná wz'alá, mę wz'alí, v'jáze, l'áze, s'áde, ščás'c'a, čas, str'il'áti, bojáti s'a, bojála s'a, vín s'a bojáv, pl. p'jádi, bájati, báje, na žábi, variát, m'ól'at s'a, s'ól'at, b'óžat s'a, kr'ópl'at, stoját, jajcé, jájc'a, jáblyka, jásin', jástr'ab, jáma, jál'iwka, zeml'á, z'órja, jad'ó, jářec' 'ячмень', záječ', zájc'a, p'újas, síjali, déw'jať, dés'at', mís'ac', p'jatnácc'el', mn'asnýj, l'agynúti, r'ábýj, bes p'jáf, t'ýs'ača.*

**Р. Мокрая:** *teľ'áta, kuóz'ata, mn'áso, žába, mn'áč, mn'atá, r'ád, mn'akkýj, izák, v'jánuti, s'atýj, tr'ás, natr'ás, tr'eslá, natr'eslá, tr'ásli, natr'esli, zapr'íáy, šápka, žáti, žátva, žála, žáli, načáti, načála, pečát', v'jáze, l'áze, s'áde, ščás'c'a, čas, str'il'áti, ģul'íati, ģul'íaju, ģul'áje, bojáti s'a, bojála s'a, bojáli s'á, lájati, v'íšati, na žáb'i, variát, syól'at, kričát, sid'át, stoját, koľuód'áz', jáģn'atko, jajc'íe, jájc'á, jájc'a, jáb'ka, jásin', jástr'eb, jáma, jálova, zár'á, jačmín', zájác', zájác'a, b'il'íje, zelen'íje, duól'a, vuól'a, puójas, puójasa, síjali/s'íjali, díes'at', za kúz'n'ami, m'ís'ac', p'jatnácc'el', n. mn'asníe, l'agynúti, n. r'ábíe, bes p'jáf, s'ačényj, t'ýs'ača.*

**Т. Поляна:** *tl'áta, kuzl'áta, mn'áso, zába, mn'átŭj, pjátá, mn'áta, r'át, mn'atk'ij, jžák, jánut'ĭ, s'at'ŭj, tr'ías, tr'íasla, tr'íasl'ĭ, zapr'íax, šápka, záti, záli, zála, nač'at'ĭ, nač'alá, nač'al'ĭ, d'át'ĭl', mn'át'ĭ/mn'átat'ĭ, jazáw, pič'átka, l'áze, s'áde, š'ás't'a, č'ás, striľ'át'ĭ, ħul'át'ĭ, ħul'ávu, boját'ĭ s'a, bojála s'a, bojál'ĭ s'a, v'ířat'ĭ, na zábi, var'át', mŭó'l'at' s'a, s'úó'l'at', s'ĭd'át', stoját', jayn'á, jajc'é, jajc'á, jajc'a, jábl'ko, jásin', jájstr'ap (sic), jáma, jálwka, jálwŭŭj l'is, zeml'á, zŏr'á, jač'm'ĭn', jad'r'ó, w jámi, zájajc', zájajc'a, b'ĭl'ĭje, duó'l'a, vuó'l'a, p'úójas, síjal'ĭ, d'ewjat', d'és'at', m'ís'ac', petnáccit', t'aynút'ĭ, f. r'ába, s'ac'énŭj, t'ís'ac'u, b'erepn'a.*

### 5а. Рефлексы праслав. \*ŏ и \*u

**Яворов:** *ŷúsi, ŷúska, n. vus'k'ĭé, vútika, v'úlic'a, v'úxo, dúp, vúsa, muká, múč'it se, m'úxa, k'úrka, s'úka, súk, zámuř, prúti, búboŭ, p'úx.*

**Яблонница:** *ŷúsi, ŷusak, us'k'ĭej, vuútká, vuúlic'e, vuúxo, dúp, obá vuúsa, ž'úk, párobok, muká, mŭúka, mŭúxa, kuúrka, suúka, suúk, prúti, buúbent (sic?), p'úx.*

**Ч. Тиса:** *húsy, usk'ĭj, vútika, v'úlyc'e, v'úxo, pl. v'úxá, dúb, vúsa, ž'úk, muká, múka, m'úxa, k'úrka, s'úka, dubráná, súk, prúti, búben', p'úx.*

**Лопухов:** *ŷsi, ŷsa, ŷsak, vusk'ĭj, v'údic'a, vúlic'a, vúxo, vúxa, dúp, pl. vústa 'усы', žúk, muká, mŭka, m'úxa, k'úric'a, súka, súk, prút, búben. Дополнительный список: br'ús, búk, dúx, ŷk, k'l'úč, klúp, koŷút, krúk, krúx, k'úm, kút, loŷúša 'лопух', v'íŷol', vúzel, vúř, p'úpec', strúx 'форель', slúx, sút, str'úp, tr'út 'труд', trút, pl. trúti 'трутень', tr'úp, x'úřč, zúp, zvúk.*

**Р. Мокрая:** *ŷs'átko, ŷska, ŷsak, n. usk'ĭe, vúdic'a, v'úlic'a, v'úxo, dv'ĭ v'úxa, dúb, vústo 'ус', pl. vústa, ž'úk, muká, m'úxa, k'úric'a, s'úka, prút, búben, p'úx. Дополнительный список: brús, b'úk, dúx/d'úx, ŷk 'рыло', kl'úč, klúb, koŷút, krúy, k'úm, kút, loŷúx, lúy, vúzel, vúž, p'úpec', pstrúy, sl'úx, súd, str'úp, tr'úd/tr'úd, trúten', gen. tr'úpa.*

### 6. Рефлексы \*je-

**Яворов:** *ósin, óleŭ, ózero, jž'ĭék, jil'ác'a, od'ĭn.*

**Яблонница:** *ósin', ólin', ózero, jal'ĭjka, od'ĭn.*

**Ч. Тиса:** *ósin', ólin', ózero, jal'ác'e, od'ĭn, ož'ĭn.*

**Перегинск:** *ós'in', óleŭ', ózero, jal'íc'a, od'ĭn, udná (sic), vuž'ĭni 'ежевика'.*

**Лопухов:** *ósin', óleŭ', ózero, jžák, jal'íc'a, od'ĭn, ož'ina.*

**Торунь:** *ós'in', ólin', ózero, jal'íc'a, jedén, ož'ina.*

**Скотарское:** *ósin', ólin', ózero, jal'ĭjka, od'ĭn/jedén.*

**Р. Мокрая:** *ós'in', ólin', ózero, izák, od'ĭn.*

**Т. Поляна:** *ósin', óleŭ', jžák, jal'č'ka, jedén.*

### 7. Рефлексы \*jъ- и \*ji-

**Яворов:** *ŷl'á, ŷŭl'ka, pl. ĭáskry, ŷrá, ĭnč'e, ŷrát'ĭ, ikrá, imŭĭe, ja jdú, ja p'riájdu, t'ĭ p'riájdeš, vin p'riájde, im'ĭt'ĭ, máti.*

**Яблонница:** *ŷl'á, ŷŭl'ka, iskrá, ikrá, imn'ĭe, ja jdu, ja p'riidu, p'riid'ĭe, p'riid'ĭe, up'ijmáti, ístinna práwda.*

**Ч. Тиса:** *yhlá, yhólka, áskra, yhrá, yhráty, ykrá, ymn'e, prájdu, prájdeš, prájde, máty, ymáty, ástynno.*

**Перегинск:** *ŷl'á, ínšij, ja jdú, ti p'rijdeš, p'rijde, im'ĭti, ja jm'ĭew kotá, imn'á.*

**Лопухов:** *ŷl'á, ŷŭl'ka, ískra, ŷrá, ínčy, ŷrát'ĭ, ikrá, ja jdú, ja p'réjdu, ti p'réjdeš, p'rijde, máti, imn'áti.*

**Торунь:** *ŷl'á, iskrá, ŷrá, ŷrát'ĭ, imn'á, ja jdú, p'réjdu, p'ĭdu, im'ĭti 'поймать', ja íml'u 'поймаю', v'ĭn ím't.*

**Скотарское:** *ɣylá, ɣyrá, ískra, imn'á, ja jǵú, ja prídu, prídeš.*

**Р. Мокрая:** *ɣylá, ɣólka, ískra, ɣyrá, ɣyráti, íkra, préjdu, príjdeš, príjde, máti, pojmáti, ístinno.*

**Т. Поляна:** *ɣylá, ískra, ínšakǵj, imn'á, ja jǵú, ja préjdu, tǵ préjdeš, vǵn príjde, máti, pojmáti.*

### 8. Рефлексы «напряженных» редуцированных и редуцированных перед мягкими сонантами

**Яворов:** *n'i bǵáj, n'i pǵáj, nakrǵáj, mǵǵju, rǵǵje, zakrǵǵju, šǵǵja, vorobǵǵc, soǵov'ǵj, č'ǵj, č'ǵja, moǵod'ǵǵj, starǵǵj, suǵǵǵj, tak'ǵǵj, zmǵjá, pǵǵǵn, Rožǵǵǵn* (название села), *uzd'ǵǵówš, dǵǵ'vá, k'ǵǵǵn'íc'a, viǵǵǵprik, dǵǵówǵj, tonǵk'ǵǵj, novǵǵǵj, l'ǵǵtn'ǵj, rán'ǵj, d'ǵǵǵǵn, gen. bez nná, adv. sóǵnno, ǵóǵto 'gorlo'.*

**Яблоница:** *bǵǵj, pǵǵj, l'ǵǵj, krǵǵj, mǵǵju, šǵǵja, vorobǵǵc, soǵov'ǵǵj, č'ǵǵj, č'ǵǵja, moǵodǵǵj, starǵǵj, suǵǵǵj, tak'ǵǵj, zmǵjá, pǵǵǵn', dǵǵǵǵǵna, k'ǵǵǵn'íc'i, verǵǵǵǵr', dǵǵówǵj, ton'k'ǵǵǵj, novǵǵǵj, l'ǵǵtnǵj, ránǵj, dǵǵǵn', voǵǵǵǵn', suǵǵǵnǵj, ǵóǵtǵǵǵǵka 'gorlo'.*

**Ч. Тиса:** *bǵǵj, pǵǵj, mǵǵju, rǵǵju, šǵǵja, vorobǵǵc, solovǵǵǵjko, čǵǵj, čǵǵja, molodǵǵj, starǵǵj, suǵǵǵj, takǵǵj, zmǵjá, pǵǵǵn', rožǵǵǵn, uzd'ǵǵówš, drǵǵva, kǵǵǵn'ǵc'e, d'ǵǵówšǵǵj, tonǵk'ǵǵj, novǵǵǵj, l'ǵǵtnǵj, ránǵj, dǵǵǵn', ǵorǵǵǵǵka 'gorlo'.*

**Перегинск:** *bǵj, pǵj, l'ǵǵj, zakrǵj, mǵju, rǵju, zakrǵǵju, šǵǵja, vorobǵǵc, solovǵǵǵj, čǵj, čǵja, moǵodǵǵj, starǵǵj, suǵǵǵj, takǵǵj, zmǵjá, pǵǵǵn', drǵvá/drǵvá, drǵów, za dǵǵvǵmǵ, kǵǵn'íc'a, d'ǵǵówǵj, tonǵkǵj, novǵǵǵj, l'ǵǵtnǵj, déǵn', oǵǵǵǵn', bǵǵǵǵá, bǵǵǵǵ, slezá, slǵz'ǵw, brová, nad brováǵmǵ, mǵórkva, berǵǵǵǵ, u bǵǵǵǵǵǵz'i, verǵǵǵǵǵi, ǵorbǵǵǵǵj, v'ǵǵówk, vǵówka.*

**Лопухов:** *bǵj, pǵj, lǵj, krǵj, šǵja, orobǵǵc', solovǵǵj, čǵj, čǵja, molodǵǵj, starǵǵj, suǵǵǵj, takǵǵj, zmǵjá, pǵǵǵn', režǵn, uwd'ǵǵówš, k'ǵǵǵn'íc'a, strǵǵǵǵn', verǵǵǵǵr', vǵǵdnǵǵšče, d'ǵǵówǵǵj, tonǵk'ǵǵj, novǵǵǵj, l'ǵǵtnǵj, dǵǵǵn', s'ǵǵóǵǵǵj, ǵǵǵǵǵǵka.*

**Торунь:** *bǵj, pǵj, l'ǵǵj, prikǵǵǵj, mǵǵju, rǵǵju, prikǵǵǵǵju, šǵǵja, vorobǵǵc', solovǵǵj, čǵj, čǵja, molodǵǵj, starǵǵj, suǵǵǵj, takǵǵj, pǵǵǵn', rožǵn, vorǵǵn'á, ud'ǵǵówš, dǵǵ'vá, k'ǵǵǵn'íc'a, verǵǵǵǵr', d'ǵǵówǵǵǵj, tonǵkǵǵj, novǵǵǵj, l'ǵǵtnǵǵj, zád'n'ǵǵj, déǵn', k'ǵǵz'ǵčǵǵǵj 'kozǵj', oǵǵǵǵn'.*

**Скотарское:** *bǵj, pǵj, nakrǵǵj, um'ǵǵj, rǵǵju, mǵǵju, ja šǵǵju, šǵǵja, čǵj, molodǵǵj, starǵǵj, suǵǵǵj, takǵǵj, pǵǵǵn', drǵvá, kǵǵn'íc'a, d'ǵǵówǵǵǵj, tonǵkǵǵj, novǵǵǵj, déǵn', oǵǵǵǵn'.*

**Р. Мокрая:** *pǵj, bǵj, mǵǵju, rǵǵju, šǵǵja, vorobǵǵc', solovǵǵj, čǵǵj, čǵǵja, molodǵǵj, starǵǵj, suǵǵǵj, takǵǵj, zmǵjá, rožǵǵǵn, k'ǵǵǵn'íc'a, st'ǵǵǵǵǵn', verǵǵǵǵr', d'ǵǵówǵǵǵj, tonǵkǵǵj, novǵǵǵj, l'ǵǵtnǵj, ránǵj, dǵǵǵǵn', oǵǵǵǵǵn'* (редкое слово — обычно *vǵtra*), *sóǵǵǵǵj.*

**Т. Поляна:** *bǵj, pǵj, l'ǵǵj, krǵǵj, ja mǵǵvǵ, ja rǵǵvǵ, ja krǵǵvǵ, šǵǵja, vorobǵǵj, č'ǵǵj, č'ǵǵja, molodǵǵj, starǵǵj, suǵǵǵj, takǵǵj, pǵǵǵn', dǵǵ'vǵó, gen. pl. drǵǵw, verǵǵǵǵr', d'ǵǵówǵǵǵj, tonǵkǵǵj, novǵǵǵj, ránǵj, déǵn', oǵǵǵǵn'.*

### 9. Последовательности ТЪРТ и ТРЪТ

**Яворов:** *lǵǵǵnu, ɣrǵá, (ɣ)rǵán'ǵje, brǵva, gen. brǵvǵ, pl. br'ǵvá, nad br'ǵvǵmǵ, loc. u krǵv'ǵ, kr'ǵvǵǵǵj, ǵɣɣmǵǵt, xǵǵbǵǵǵt, sǵ'ǵzá, pl. sǵ'ǵzǵǵ, gen. sǵ'ǵzǵw, bǵǵǵá, gen. pl. blǵǵǵ, jǵbǵǵko, jǵbǵǵka, k'ǵǵǵǵǵna, mǵórkva, kǵórc'ma, ǵorbǵǵǵj, verǵǵǵǵt, viǵǵǵn'e se, žerǵǵó, d'er'zǵǵǵt, d'ǵǵǵǵzǵt, st'ǵǵp, kǵbasá, v'ǵǵǵna, vǵówk, vǵówka, pl. vǵówk'i, vǵwk'ǵw, dǵówx, dǵwǵǵǵ, n. dǵówǵe, dǵówǵna, lǵǵška, drǵvá, drǵw, brǵǵs'ǵt, strǵǵč'ǵ, strǵǵú, dǵǵǵǵt, ǵ'ǵp, ǵǵǵbik.*

**Яблоница:** *ɣtnǵú, bez ɣtná, brǵvǵ, nad brováǵmǵ, u krǵvǵ, k'ǵvǵǵǵj, ǵɣɣmǵǵt, xǵrǵǵǵǵǵj, xǵbǵǵǵt, pl. slǵzǵé, gen. pl. slǵz'ǵw, blǵá, blǵǵǵ'ǵw, jábǵlǵka, jábǵton'e, k'ǵrǵǵǵna, mǵórkva, kǵórsma, kǵmǵǵǵt, ǵorbǵǵǵj, svǵǵǵǵt, viǵǵǵne, berǵǵǵǵ, žerǵǵó, derǵǵǵǵt, dǵǵǵǵzǵt, stǵówpa, kǵwbasá, vǵówǵna, vǵówk, vǵówka, vǵwk'ǵé, vǵwk'ǵǵw, dǵwǵǵǵ, dǵówǵǵj, dǵówǵna, lǵǵška, dǵǵǵǵna, dr'ǵów, brǵǵǵt, strǵǵč'ǵ, strǵǵú, drǵǵǵǵt, dǵǵǵǵu, ǵǵǵp, ǵǵǵbik, vǵówč'ǵk.*

**Ч. Тиса:** gen. *ln<sup>u</sup>*, bez *yln<sup>u</sup>*, *yr'z'ie*, *yr'z'ève* 'ржавое', *brov<sup>u</sup>*, *nad brónov*, *nad brovámy*, *u króvy*, *kyrványj*, *γremát*, *xreščéxnij*, *xrebét*, *slzá*, *slz'iw*, *bl'xá*, *blóxiw*, *na bl'sií*, *jábylko*, *jábl'ňka*, *kərtiána*, *m<sup>u</sup>orkva*, *k<sup>u</sup>óršma*, *řorbátyj*, *vert'ítj*, *vérne*, *berl'ífi*, *žarel'ú*, *derz'iéty*, *dérzy*, *st<sup>u</sup>ówp*, *kowbasá*, *v<sup>u</sup>ówna*, *v<sup>u</sup>ówk*, *v<sup>u</sup>ówka*, *vowk'íž*, *dowfiž*, *d<sup>u</sup>ówfij*, *d<sup>u</sup>ówžna*, *láška*, *dráva*, *dr<sup>u</sup>ów*, *brásty*, *strácy*, *stryžú*, *dryz'iéty*, *řorb*, *řorb<sup>u</sup>ók*, *vowčen'ie*.

**Лопухов:** *léna*, bez *léna*, *irzá*, *iržáwščina*, *iržávyj*, *iržáv'ije*, *nad brívami*, *nad briv<sup>u</sup>óm*, *br<sup>u</sup>v<sup>u</sup>ó*, *u kr<sup>u</sup>óni*, *kərványj*, *γremít*, *kreščéxnij*, *xr<sup>u</sup>bét*, *úótrup*, *sl<sup>u</sup>zá*, *blyxá*, *bl<sup>u</sup>óx*, *pl. bláxi*, *loc. na blys'í*, *jábl'ko*, *jábl'ňka*, *k<sup>u</sup>rtína*, *gen. k<sup>u</sup>rtíni*, *m<sup>u</sup>orkva*, *k<sup>u</sup>órčma*, *řorbátyj*, *ver'ítj*, *vérnet s'a*, *b<sup>u</sup>řl'úž*, *loc. u b<sup>u</sup>řl'úž'í*, *žerel'ú*, *d<sup>u</sup>řzátj*, *déržit*, *st<sup>u</sup>ówp*, *k<sup>u</sup>basá*, *v<sup>u</sup>ówna*, *v<sup>u</sup>ówk*, *v<sup>u</sup>ówka*, *pl. v<sup>u</sup>ówci*, *gen. pl. v<sup>u</sup>ówcy*, *d<sup>u</sup>ówyj*, *pl. dowyí*, *d<sup>u</sup>ówžna*, *líška*, *d<sup>u</sup>vá*, *dr<sup>u</sup>ów*, *brístj*, *stríci*, *strížú*, *d<sup>u</sup>řzátj*, *zadr<sup>u</sup>žáv*, *γ<sup>u</sup>órp*, *řorb<sup>u</sup>ók*.

**Торунь:** *il'ná*, *irzá*, *br<sup>u</sup>v<sup>u</sup>ó*, *gen. br<sup>u</sup>vá*, *instr. nad br<sup>u</sup>v<sup>u</sup>óm*, *nad br<sup>u</sup>vámj*, *u kroví*, *koorvávaj*, *γrimít*, *xreščéxnaj*, *xrebét*, *sl<sup>u</sup>zá*, *gen. pl. slóz*, *bl<sup>u</sup>xá*, *gen. pl. blóx*, *jábl'oko*, *jábl'ňka*, *k<sup>u</sup>rtína*, *m<sup>u</sup>órkow*, *k<sup>u</sup>órčma*, *řorbátowj*, *ver'ítj*, *vert'ít*, *vérne*, *barl'íy*, *déržat*, *deržátj*, *st<sup>u</sup>ówpa*, *kowbasá*, *v<sup>u</sup>ówna*, *v<sup>u</sup>ówk*, *v<sup>u</sup>ówka*, *vowk<sup>u</sup>ó*/*v<sup>u</sup>ówci*, *vowk'íw*, *d<sup>u</sup>ówy*, *dowýó*, *d<sup>u</sup>ówyowj*.

**Скотарское:** *irzá*, *gen. pl. brów*, *nad br<sup>u</sup>vámj*, *krów*, *u kroví*, *k<sup>u</sup>ványj*, *γrimít*, *xrbét*, *slzá*, *slz*, *jábl'ka*, *láška*, *jábl'ňka*, *krtína*, *m<sup>u</sup>órkow*, *k<sup>u</sup>órčma*, *řorbátyj*, *ver'ítj*, *vérne*, *brl'úga*/*b<sup>u</sup>řl'úga*, *žerel'ú*, *deržátj*, *deržit*, *st<sup>u</sup>ówpa*, *kowbasá*, *v<sup>u</sup>ówna*, *v<sup>u</sup>ówk*, *v<sup>u</sup>ówka*, *pl. v<sup>u</sup>ówci*/*vowk<sup>y</sup>*, *dowý*, *d<sup>u</sup>ówyj*.

**Р. Мокрая:** *liéna*, bez *liéna*, *iržáv'ije*, *gen. brvá*, *instr. nad br<sup>u</sup>vóm*, *nad br<sup>u</sup>vámj*, *u kroví*, *k<sup>u</sup>ványj*, *γr'mít*, *xr<sup>u</sup>bét*, *gen. pl. sl<sup>u</sup>óž*, *bl<sup>u</sup>xá*, *blóx*, *na bl<sup>u</sup>s'í*, *jábl'ka*, *jábl'ňka*, *m<sup>u</sup>orkva*, *k<sup>u</sup>óršma*, *řorbátyj*, *sviérdeř*, *ver'ítj*, *v<sup>u</sup>érne*, *berlyóga*, *loc. u berlyóž'í*, *d<sup>u</sup>éržit*, *nijé st<sup>u</sup>ówpa*, *kowbasá*, *v<sup>u</sup>ówna*, *v<sup>u</sup>ówk*, *v<sup>u</sup>ówka*, *v<sup>u</sup>ówky*, *v<sup>u</sup>ówku*, *dowý*, *d<sup>u</sup>ówyj*, *d<sup>u</sup>ówžna*, *lýška*, *d<sup>u</sup>vá*, *drów*, *brýstj*, *ja str<sup>u</sup>žú*, *d<sup>u</sup>žátj*/*d<sup>u</sup>žátj*, *γ<sup>u</sup>órb*, *řorb<sup>u</sup>ók*, *vowč<sup>u</sup>ók*.

**Т. Поляна:** *léna*, bez *léna*, *irzá*, *iržáv'ij*, *iržáv'ije*, *gen. úóberva*/*úóberva*, *u kr<sup>u</sup>óni*, *γrimít*, *xr<sup>u</sup>bét*, *slzá*, *tr<sup>u</sup>épéc'e s'a*, *trepet'ít*, *bl<sup>u</sup>xá*, *bléx*, *jábl'ko*, *jábl'ňka*, *k<sup>u</sup>rtína*, *m<sup>u</sup>órkow*, *k<sup>u</sup>órčma*, *kormítj*, *řorbátowj*, *vert'ít s'a*, *u<sup>n</sup> vérne*, *w b<sup>u</sup>řl'úž'í*, *žerel'ú*, *st<sup>u</sup>ówpa*, *kowbasá*, *v<sup>u</sup>ówk*, *v<sup>u</sup>ówka*, *vowk'í*, *vowkú*, *dowý*, *d<sup>u</sup>ówyj*, *d<sup>u</sup>ówžna*.

## 10. Рефлексы \*-ьje

**Яворов:** *zíkíe*, *š's'íeš'ki*, *prú<sup>u</sup>ki*, *svin'á*, *zdor<sup>u</sup>ów'ji*, *zíl'a*, *vesíl'a*.

**Яблоница:** *prú<sup>u</sup>ki*, *svin'á*, *voř<sup>u</sup>ós'i*, *zdoru<sup>u</sup>óv'i*, *z'íj'l'i*, *ves'íj'l'i*.

**Ч. Тиса:** *prú<sup>u</sup>te*, *svyn'ie*, *kol<sup>u</sup>ós'e*, *zíl'e*, *vesil'ie*, *pytie*.

**Перегинск:** *zit'á*, *ščás'c'a*, *svin'á*, *zíl'a*, *voř<sup>u</sup>ós'a*, *zdoru<sup>u</sup>ówl'a*, *ves'íj'l'á*.

**Лопухов:** *zit'á*, *ščás'c'a* [a?], *prú<sup>u</sup>a*, *svin'á*, *kol<sup>u</sup>ós'a*, *zdor<sup>u</sup>ówl'a*, *zíl'a*, *ves'íj'l'a*.

**Торунь:** *zit'á*, *ščás'c'a*, *svin'á*, *kol<sup>u</sup>ós'a*, *zdor<sup>u</sup>ówl'a*.

**Скотарское:** *zit'á*, *svin'á*, *kol<sup>u</sup>ós'a*, *vol<sup>u</sup>ós'a*.

**Р. Мокрая:** *zit'á*, *ščás'c'a*, *d<sup>u</sup>ówyje span'á*, *svin'á*, *zdor<sup>u</sup>ówl'a*, *zíl'a*, *ves'íj'l'a*, *pit'á*.

**Т. Поляна:** *šás't'a*, *prú<sup>u</sup>a*, *svín'á*, *zdor<sup>u</sup>ówl'a*, *zíl'a*, *ves'íj'l'a* 'новоселье'.

## 10а. Рефлексы «слабых редуцированных» в особых позициях

**Яворов:** *dóš'ka*, *skl<sup>u</sup>ó*, *psíe*, *č'isnóžk*, *č'is'n'íká*, *č<sup>u</sup>ówn'ík*, *č<sup>u</sup>ówn'íká*.

**Яблоница:** *duš'ka*, *skl<sup>u</sup>ó*, *psíe*, *stíeška*, *č'esnužk*, *č'esnik<sup>u</sup>ú*, *č<sup>u</sup>ówník*, *č<sup>u</sup>ówníká*.

**Ч. Тиса:** *d<sup>u</sup>óška*, *skl<sup>u</sup>ó*, *psó*, *č'isn<sup>u</sup>ók*, *č'isnyk<sup>u</sup>ú*, *č<sup>u</sup>ównyk*, *č<sup>u</sup>ównyká*.

**Лопухов:** *d<sup>u</sup>šška*, *skl<sup>u</sup>ó*, *pl. psí*, *česn<sup>u</sup>ók*, *gen. česniká*, *č<sup>u</sup>ówník*, *gen. č<sup>u</sup>ówníká*.

**Р. Мокрая:** *dóška*, *sklyó*, *psý*, *časnužk*, *časnyk<sup>u</sup>ú*, *č<sup>u</sup>ównyk*, *č<sup>u</sup>ównyká*.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В Приложении 2 начинается публикация акцентологических и морфологических материалов, собранных Карпатской экспедицией.

Первая серия публикаций посвящена акцентуации существительных женского (редко мужского) рода с праслав. *a*-основами («I склонение»). Ниже приводится материал, собранный в период с 1988 по 1993 г. В этот период вследствие дефицита технических средств (обычно на каждый обследуемый говор приходилось не более двух-трех магнитофонных кассет приличного качества, магнитофон также обычно был один на всю экспедицию) все записи, кроме ответов на вопросы Краткой фонетической программы и ряда «образцовых текстов», делались вручную. Вследствие этого многие из фонетических тонкостей, выявляемые при тщательном прослушивании материала на магнитофоне, в полевых условиях упускались, и читатель не должен удивляться, обнаруживая несоответствия в трактовке фонетики в расшифровках КФП и в ниже приводимом материале. Как правило, он дается в том виде, который содержится в экспедиционных тетрадях с полевыми записями (некоторые изменения внесены лишь в тех случаях, когда, например, тот же диалектный звук в разные периоды экспедиций или разными участниками записывался различно — особенно это касается первых лет, когда не существовало ясной концепции устройства многих карпатоукраинских фонологических систем).

Материал приводится из следующих пунктов: с. Ольшаны Хустского р-на Закарпатской обл. (зап. Г. И. Замятиной, 1991 г.); с. Березники Свалявского р-на Закарпатской обл. (зап. С. Л. Николаева, 1990); с. Керець Свалявского р-на Закарпатской обл. (зап. С. Л. Николаева, 1990); с. Луги Раховского р-на Закарпатской обл. (зап. С. Л. Николаева, 1989); с. Бороняво Хустского р-на Закарпатской обл. (зап. С. Л. Николаева, 1989); с. Тúrья Пóляна Перечинского р-на Закарпатской обл. (зап. С. Л. Николаева, 1989); с. Лjóта Великоберезнянского р-на Закарпатской обл. (зап. С. Л. Николаева, 1989); с. Чёрный Пóток Иршавского р-на Закарпатской обл. (зап. Г. И. Замятиной, 1993); с. Велýтин Хустского р-на Закарпатской обл. (зап. М. Н. Толстой, 1989); с. Чáпли Старосамборского р-на Львовской обл. (зап. С. Л. Николаева, 1989; в *gen. pl.* почти всегда присутствует окончание *-iw*, причем ударение совпадает с *nom. pl.* — в материале приводятся лишь особые формы); с. Миженéц Старосамборского р-на Львовской обл. (зап. С. Л. Николаева, 1989); с. Скотáрское Воловецкого р-на Закарпатской обл. (зап. С. Л. Николаева, 1990); с. Брод Иршавского р-на Закарпатской обл. (зап. С. Л. Николаева, 1988); с. Печенýжин Коломыйского р-на Ив.-Франковской обл. (зап. С. Л. Николаева, 1990); с. Чернёво Мостисского р-на Львовской обл. (зап. А. В. Тер-Аванесовой, 1991); с. Банýлов-Подгорный Сторожинецкого р-на Черновицкой обл. (зап. Г. И. Замятиной, 1991); с. Мшанéц Старосамборского р-на Львовской обл. (зап. Г. И. Замятиной, 1991); с. Лúквица Богородчанского р-на Ив.-Франковской обл. (зап. Г. И. Замятиной, 1991; в фигурных скобках даются дополнительные варианты и формы из говора соседнего хутора В. Туровка Рожнятовского р-на, инф. Л. Тынюк).

Значение, приводимое рядом с праславянской формой, относится не к ней, а к подавляющему большинству карпатоукраинских лексем, восходящих к данной праформе; отклоняющиеся и «нетривиальные» значения оговариваются особо. Значения, как правило, не приводятся в тех случаях, когда они в целом совпадают со значением соответствующих слов в укр. литер. языке или являются «общекарпатскими» (у слов типа *poloníná/polonína*), однако зачастую отсутствие

указания на значение слова в полевых записях — следствие того, что в основном сборщики сосредоточивались на получении акцентологической и морфологической информации, а также на установлении того, «свое» это слово или «не свое» (литературное, русизм и т. д.); значение, кажущееся тривиальным в конкретном говоре, при сравнении материала различных говоров оказывается специфическим. Поэтому приводимые «акцентуационные» списки слов в основном не могут использоваться как источник сведений по диалектной семантике. В списках приводятся только слова праславянского происхождения.

\***baba** 'бабушка': Ольшаны *bába*, асс. *bábu*, pl. *bábo*; Березники *bába*, асс. -*u*, pl. *babó*; Керецки *bába*, асс. -*u*, pl. *babó*; Луги *bába*, асс. -*u*, pl. *babǎ*, gen. *babíw*; Бороняво *bába*, асс. -*u*, pl. *bábo*, gen. *bar*; Т. Поляна *bába*, асс. -*u*, pl. -*ъ*, gen. *bar*; Люта *bába*, асс. -*u*, pl. -*o*, gen. *bab*; Ч. Поток *bába*, асс. -*u*, pl. *babó*, gen. *bab'ǐ*; Чапли *bába*, асс. -*u*, pl. *babǎ*; Миженец *bába*, асс. -*u*, pl. *babǎ*, gen. *babíw*; Скотарское *bába*, асс. -*u*, pl. *babó*, gen. *bab*; Брод *bába*, асс. -*u*, pl. -*o*, gen. *bar*; Печенижин *bába*, асс. -*u*, pl. *babǎ*, gen. -*b'íw*; Чернево *bába*, num. *bábji*, pl. *babý*; Бан.-П. *bába*, асс. -*u*, pl. *babǎ*, gen. *bab'íw*; Мшанец *bába*, асс. -*u*, pl. -*ý*, gen. *bab'íw*; Луквица *bába*, асс. -*u*, pl. *babǎ*, gen. *bab'í*.

\***babъka**: Ольшаны *bábka*, pl. *barkó*, gen. *babók*; Велятин *bárka*, асс. -*u*, pl. *barkó*.

\***bajъka**: Ч. Поток *bájka*, асс. -*u*, pl. *bajkó*, gen. *bájok*; Бан.-П. *bájka*, асс. -*u*, pl. *bajká*, gen. *bájk'íw*; Луквица *bájka*, асс. -*u* 'басня'.

\***bavl'a**: Люта *báwl'a* 'детская' игра'.

\***berza**: Ольшаны *beréza*, асс. -*zu*, pl. -*zoo*, gen. *beréz*; Березники *beréza*, асс. -*u*, pl. -*o*; Керецки *beréza*, асс. -*u*, pl. -*o*; Луги *beréza*, асс. -*u*, pl. -*y*, gen. *-iw/berís*; Бороняво *beréza*, асс. -*u*, pl. -*o*, gen. *berés*; Т. Поляна *beréza*, асс. -*u*, pl. -*ъ*, gen. *berés*; Люта *beréza*, асс. -*u*, pl. -*o*, gen. *ber'íz*; Ч. Поток *beréza*, асс. -*u*, pl. -*o*, gen. *berés*; Велятин *beréza*, асс. -*u*, pl. -*o*; Чапли *beréza*, асс. -*u*, pl. -*ǎ*; Миженец *beréza*, асс. -*u*, pl. -*y*, num. *beréz'i*, gen. *beréziw*; Скотарское *beréza*, асс. -*u*, pl. -*o*, gen. *beréz*; Печенижин *beréza*, асс. -*u*, pl. -*y*, gen. -*z'íw*; Чернево *beréza*, num. *beréz'i*, pl. *berézy*, gen. *berés*; Бан.-П. *beréza*, асс. -*u*, pl. -*y*, gen. *beréz'íw*; Мшанец *beréza*, асс. -*u*, pl. -*y*, gen. *berés*; Луквица *beréza*, асс. -*u*, pl. -*ǎ*, gen. *beréz'iw/{ber'íz}*.

\***beséda**: Ольшаны *bés'ida*, асс. -*u*, pl. -*o*, gen. *bés'it*; Керецки *bés'ida*, асс. -*u*, pl. -*o*; Ч. Поток *bés'ida*, асс. -*u*, pl. -*o*, gen. *bés'it*; Чернево *bés'ida*, num. *bés'id'i*, pl. *bés'idy*; Бан.-П. *bés'ida*, асс. -*u*; Мшанец *bés'ida*, асс. -*u*, pl. -*y*, gen. *bés'it*; Луквица *bés'ida*, асс. -*u*, {pl. -*ǎ*, gen. *bés'id*}.

\***béda**: Ольшаны *b'ídá*, асс. *b'idú*, pl. *b'idoo*, gen. *b'it*; Березники *b'ídá*, асс. -*ú*, pl. *b'idoo*; Керецки *b'ídá*, асс. -*ú*, pl. *b'idoo*; Луги *bidá*, асс. *bidú*, na *bidú*, pl. *bídy*; Бороняво *b'ídá*, асс. -*ú*, pl. *b'idoo*, gen. *b'it*; Т. Поляна *b'ídá*, асс. -*ú*, pl. -*ѣ*, gen. *b'it*; Люта *b'ídá*, асс. -*ú*, pl. -*ó*, gen. *b'id'íw*; Ч. Поток *b'ídá*, асс. -*ú*, pl. *b'idoo*, gen. *b'it*; Велятин *b'ídá*, асс. -*ú*; Чапли *b'ídá*, асс. -*ú*, pl. -*ǎ*; Миженец *bidá*, асс. -*ú*, pl. *bídy*, num. *bidǎ*, gen. -*íw*; Скотарское *b'ídá*, асс. -*ú*, pl. *b'idoo*; Брод *b'ídá*, асс. -*ú*, pl. -*ó*, gen. *b'it*; Чернево *b'ídá*, асс. -*ú*, pl. *b'idy*; Бан.-П. *b'ídá*, асс. -*ú*, num. *b'id'f*, pl. *b'idy*; Мшанец *b'ídá*, асс. -*ú*; Луквица *b'ídá*, асс. -*ú*, pl. *b'idǎ*, {gen. *b'id*}.

\***běl'a**: Ч. Поток *B'íl'a* — кличка белой коровы; Луквица *B'íl'i* 'id'.

\***biba** 'рана, болячка': Березники *biba*, асс. -*u*, pl. -*o*; Керецки *biba*, асс. -*u*, pl. -*o*.

\***bliskavica**: Ольшаны *bliskavíc'a* 'молния'.

\***bliskavъka** 'молния': Бан.-П. *blǎskawka*; Луквица *blǎskawka*, асс. -*u*, pl. *blǎskawk'ǎ*, gen. *blǎskavok*.

\***blъxa**: Ольшаны *blōxá*, асс. -ú, pl. -ów, gen. *blox*; Березники *blōxá*, асс. -ú, pl. -ów; Керецки *blōxá*, асс. -ú, pl. -ów, gen. *blox*; Луги *blъxá*, асс. -ú, pl. *blъx'í*, gen. *blox/blъx*; Бороняво *blōxá*, асс. -ú, pl. -ów, gen. *blox*; Т. Поляна *blъxá*, асс. -ú, pl. -í, gen. *blъx*; Люта *blōxá*, асс. -ú, pl. *blōxí*, gen. *blox*; Ч. Поток *blōxá*, асс. -ú, pl. -ów, gen. *blox*; Велятин *blōxá*, асс. -ú, pl. -ów; Чапли *blóxa*, асс. -u, pl. *blóx'э*; Миженец *blóxa*, асс. -u, pl. -i, num. -i, gen. -iw; Скотарское *blōxá*, асс. -ú, pl. -ów; Брод *blōxá*, асс. -ú, pl. -ów, gen. *blōx*; Печенижин *blэхá*, асс. -ú, pl. *blэх'у*, gen. *blэх*; Чернево *blóxa*, асс. *blóxu*, num. *blós'i*, pl. *blóx'i*, gen. *blox*; Бан.-П. *blōxá*, асс. -ú, num. *blōx'i*, pl. *blóxu*, gen. -x'iw; Мшанец *blóxa*, асс. -u, pl. -у, gen. *blox*; Луквица *bloxá/blэхá*, асс. -ú, pl. *blóx'i/{blox'э}*, gen. *blэх*.

\***borda** 'борода, подбородок': Ольшаны *borodá*, асс. *bōrōdu*, pl. *bórodō*, gen. *borót*; Березники *borodá*, асс. *bōrōdu*, pl. *bórodō*; Керецки *borodá*, асс. *bōrōdu*, pl. *bórodō*; Луги *borodá*, асс. *bórodu*, pl. *bórody*, gen. *bórodiw/borít*; Бороняво *borodá*, асс. *bōrōdu*, pl. *bórodō*, gen. *borót*; Т. Поляна *borodá*, асс. *bōrōdú*, pl. *bórodé*, gen. *borót*; Люта *bóroda*, асс. *bōrōdu*, pl. *bórodō*, gen. *bōr'id/bōrōd'iw*; Ч. Поток *borodá*, асс. *bōrōdu*, pl. *bórodō*, gen. *bōrít*; Велятин *borodá*, асс. *bōrōdu*, pl. *bórodō*; Чапли *borodá*, асс. *bórodu*, pl. -э; Миженец *bōrōdá*, асс. *bōrōdu*, pl. -у, num. *bōrōd'i*, gen. *bōrōd'iw*; Скотарское *borodá*, асс. *bōrōdu*, pl. *bórodō*; Брод *borodá*, асс. *bōrōdu*, pl. *bórodō*, gen. *borít*; Печенижин *bōrōdá*, асс. -ú, pl. *bōrōdy*, gen. *bōr'it*; Чернево *bōrōdá*, асс. *bōrōdu*, num. *bōrōd'i*, pl. *bōrōdy*, gen. *bōr'it/bōrót*; Бан.-П. *bōrōdá*, асс. *bōrōdu*, num. *bōrōd'i*, pl. *bōrōdy*, gen. *bōrōd'iw*; Мшанец *borodá*, асс. *bōrōdu*, pl. *bórody*, gen. *bōr'it*; Луквица *borodá*, асс. *bórodu*, pl. -э, gen. *borod'iw/{bor'id}*.

\***borna**: Ольшаны *boroná*, асс. *bōrōnu*, pl. *bóronō/boronó*, gen. *borón*; Березники *boroná*, асс. *bōrōnú*, pl. *boronó*; Керецки *borozdá*, асс. *bōrōzdú*, pl. *borozdó*; Бороняво *boroná*, асс. *bōrōnú*, pl. *bóronō*, gen. *borón*; Т. Поляна *boroná*, асс. *bōrōnu*, pl. *bóronы*, gen. *borón*; Люта *bórona*, асс. *bōrōnu*, pl. *bóronō*, gen. *bóron/bōrōn'iw*; Ч. Поток *boroná*, асс. *bōrōnú*, pl. *bóronō*, gen. *bōrōnú*; Велятин *boroná*, асс. *bōrōnu*, pl. *bóronō*; Чапли *boroná*, асс. *bóronu*, pl. -э; Миженец *bōrōná*, асс. *bōrōnu*, pl. -у, num. *bōrōn'i*, gen. *bōrón*; Скотарское *boroná*, асс. *bōrōnu*, pl. *bóronō*; Брод *boroná*, асс. *bōrōnú*, pl. *boronó/borónō*, gen. *borún*; Печенижин *bórona*, асс. -u, pl. -у, gen. *bōrón*; Чернево *bōrōná*, асс. *bōrōnu*, num. *bōrōn'i/bōrōn'i*, pl. *bōrōny*; Бан.-П. *bōrōná*, асс. *bōrōnu*, num. *bōrōn'i*, pl. -у, gen. -n'iw; Мшанец *boroná*, асс. *bōrōnu*, pl. *bóronу*, gen. *bōrōn'iw*; Луквица *boroná*, асс. *bóronu/{boronó}*, pl. *bóronэ*, gen. *bóron'iw*.

\***borzda**: Ольшаны *borozdá*, асс. *bōrōzdú*, pl. *bórozdō*, gen. *boróst/bórost*; Березники *borozdá*, асс. *bōrōzdu*, pl. *borozdó*; Бороняво *borozdá*, асс. *bōrōzdú*, pl. *borozdó*, gen. *boróst*; Т. Поляна *borozdá*, асс. *bōrōzdú*, pl. *borozdé*, gen. *boróst*; Люта *borozdá*, асс. *bōrōzdú*, pl. *borozdó*, gen. *bōrōz'z'iw*; Велятин *borozdá*, асс. *bōrōzdu*, pl. *bórozdō*; Чапли *borozdá*, асс. *bórozdu*, pl. -э; Миженец *bōrōzdá*, асс. *bōrōzdu*, pl. -у, num. *bōrōzd'i*, gen. *bōrōzd'iw*; Печенижин *bōrōzda*, асс. -u, pl. -у, gen. *bōrōst*; Чернево *bōrōzdá*, асс. *bōrōzdu*, num. *bōrōzd'i*, pl. *bōrōzdy*, gen. *bōr'ist*; Мшанец *borozdá*, асс. *bōrōzdu*, pl. *bórozdy*, gen. *bōrōz'z'iw*; Луквица *borozdá*, асс. *bórozdu*, pl. -э, gen. *borozd'iw/bórozd'iw/{bor'izd}*.

\***borzna**: Луги *borozná/bórozna*, асс. *bóroznu*, pl. *bórozny*, gen. -iw; Бан.-П. *bōrōzná*, асс. *bōrōznu*, num. -zn'i, pl. -у, gen. -zn'iw.

[\***bul'ьba**]: Луквица *búl'ba*, асс. -u, pl. *bul'bэ*, {gen. -b'iw} 'картошка'.

\***bur'a** 'гроза': Ольшаны *búr'a*, асс. *búr'u*, pl. *bur'í/búr'i*, gen. *bur'*; Березники *búr'a*, асс. -u; Керецки *búr'a*, асс. -u; Луги *búr'i*, gen. -u, pl. *búr'i*; Бороняво *búr'a*, асс. -u; Т. Поляна *búr'a*, асс. -u, pl. -i, gen. *bur'*; Люта *búr'a*, асс. -u; Ч. Поток

*búr'a*, acc. -u, pl. -i, gen. *bur'* 'сильный ветер с дождем'; Велятин *búr'a*, acc. -u, pl. *bur'i*; Чапли *búrja*, acc. -u, pl. -ǰ; Миженец *búr'i*, acc. -u, pl. -i, num. -i, gen. *búr'iw*; Скотарское *búr'a*, acc. -u; Печенижин *búr'u*, acc. -u, pl. -i, gen. *bur'*; Чернево *búr'a*; Бан.-П. *búr'a*, pl. *búr'i*; Мшанец *búr'a*, pl. *búr'i*, gen. *bur'*; Луквица *búr'a/(-i)*, acc. -u, {pl. *búr'i*}, gen. *bur'iw* 'дождь с ветром, буря'.

\***бъѣла**: Ольшаны *pčolá*, acc. *pčólú*, pl. *pčóló*, gen. *pčul*; Березники *pčolá*, acc. *pčólú*, pl. *pčóló*; Керецки *pčolá*, acc. *pčólú*, pl. *pčóló*; Луги *pčolá*, acc. -ú, pl. *pčóly*, gen. -iw/pč'il; Бороняво *bžolá*, acc. *bžólú*, pl. *bžoló*, gen. *bžol*; Т. Поляна *pčolá*, acc. *pčólú*, pl. *pčólty*, gen. *pčol*; Люта *pš'olá*, acc. *pš'ólú*, pl. *pš'óló*, gen. *pš'il/pš'ol'iw*; Ч. Поток *pčolá*, acc. *pčólú*, pl. *pčýóló*, gen. *pč'ül*; Велятин *pčolá*, acc. *pčólú*, pl. *pčóló*; Чапли *pčolá*, acc. -ú, pl. *pčólǰ*; Миженец *pčola*, acc. -u, pl. -y, num. -y, gen. -iw; Скотарское *pčolá*, acc. *pčólú*, pl. *pčóló*; Брод *pčolá*, acc. *pčólú*, pl. *pčóló*, gen. *pčül*; Печенижин *pčolá*, acc. -ú, pl. *pčóly*, gen. *pčil*, instr. *pčslamy*; Чернево *pčolá*, acc. *pčólu*, num. *pčól'i*, pl. *pčóly*, gen. *pčol*; Бан.-П. *bžolá*, acc. -ú, num. -l'i, pl. *bžýóly*, gen. -l'iw; Мшанец *pčolá*, acc. *pčólú*, pl. *pčóly*, gen. *pčól'iw*; Луквица *pčolá/(bžolá)*, acc. -ú, pl. *pčólǰ/(bžólǰ)*, gen. *pč'il/(bž'il, bžól'iw)*.

\***бътjька**: Бан.-П. *bčeka*.

\***сѣпа**: Ольшаны *c'íná*, gen. -ú, pl. *c'ínó*, gen. *c'in*; Березники *c'íná*, acc. -ú, pl. *c'ínó*; Керецки *c'íná*, acc. *c'ínú*, pl. *c'ínó*; Луги *c'íná*, acc. -ú, pl. *c'íny*, gen. *c'in/c'iniw*; Бороняво *c'íná*, acc. -ú, pl. *c'ínó*, gen. *c'in*; Т. Поляна *c'íná*, acc. -ú, pl. *c'ínty/c'ínty*, gen. *c'in*; Люта *c'íná*, acc. -ú, pl. -ó, gen. *c'in'iw*; Ч. Поток *c'íná*, acc. -ú, pl. *c'íny*, gen. *c'in*; Чапли *c'íná*, acc. -ú, pl. -ǰ; Миженец *c'íná*, acc. -ú, pl. *c'íny*, num. -y, gen. *c'in*; Скотарское *c'íná*, acc. -ú, pl. -ó; Брод *c'íná*, acc. -ú, pl. *c'ínó*, gen. *c'in*; Печенижин *c'íná*, acc. -ú, pl. *c'íny*, gen. *c'in*; Бан.-П. *c'íná*, acc. -ú, pl. *c'íny*; Мшанец *c'íná*, acc. -ú, pl. *c'íny*, gen. *c'in/c'in'iw*; Луквица *c'íná*, acc. -ú, pl. *c'ínǰ*, gen. *c'in*.

\***сѣва**: Чернево *c'íva*, acc. -u, num. -vji, pl. *c'ívy* — значение?; Мшанец *c'íva*, acc. -u, pl. -y, gen. *c'íw* 'прядка'.

\***сѣвѣка**: Ольшаны *c'íwka*, pl. *c'íwkó*, gen. *c'ívók*; Луги *c'íwka*, pl. *c'íwk'ǰ*; Бороняво *c'íwka*, acc. -u, pl. *c'íwkó*, gen. *c'ívók*; Ч. Поток *c'íwka*, acc. -u, pl. *c'íwkó*, gen. *c'ívók*; Велятин *c'íwka*, acc. -u, pl. *c'íwkó*; Бан.-П. *c'íwka*, acc. -u, pl. *c'íwk'ǰ*, gen. *c'ívók*; Луквица *c'íwka*, pl. *c'íwk'ǰ*, gen. *c'ívók*.

\***сѣтjька**: Ч. Поток *c'átka*, pl. *c'atkó* 'капля'.

\***čerda** 'стадо коров; очередь': Ольшаны *čeredá*, acc. -u, pl. -ó, gen. *čeret*; Березники *čereda*, acc. -u, pl. -ó; Керецки *čereda*, acc. -u, pl. -ó; Луги *čereda*, acc. *čeredu*, pl. -y 'большое стадо коров'; Бороняво *čeredá*, acc. *čeredu*, pl. *čeredó*, gen. *čerét* 'стадо коров'; Т. Поляна *čereda*, acc. -u, pl. -ty, gen. *čerét*; Люта *š'ereda*, acc. -u 'стадо коров'; Ч. Поток *čeredá*, acc. *čeredu*, pl. *čeredó*, gen. *čerédjǰ* 'стадо коров'; Велятин *čeredá*, acc. *čeredu*, pl. *čeredó* (?); Чапли *čeredá*, acc. -ú, pl. -ǰ; Миженец *čerédá*, acc. -ú, pl. -ý, num. -ý, gen. *čerét*; Скотарское *čereda*, acc. -u 'очередь пасти скот; стадо коров, овец'; Брод *čeredá*, acc. *čeredu*, pl. *čeredó*, gen. *čerít* 'стадо коров'; Чернево *čerédá*, acc. -ú, num. *čeréd'i*, pl. *čeredy*, gen. *čerét*; Бан.-П. *čerédá*, acc. -ú, pl. *čeredy*; Мшанец *čeredá*, acc. -ú, pl. *čeredy*, gen. *čeréd'iw*.

\***čerda** 'Bidens': Березники *čeredá*, acc. -ú; Керецки *čeredá*, acc. -ú.

\***čerpan'a**: Керецки *čerpan'a* 'вид жабы/лягушки'.

\***čerpaха**: Березники *čerepáxa*, acc. -u, pl. -ó 'вид крупной лягушки (жабы?)'; Керецки *čerepáxa*, acc. \* -u, pl. -ó 'id.'; Ч. Поток *čerepáxa*, acc. -u, pl. -ó, gen. *čerepáx* — значение?; Бан.-П. *čerepáxa*, acc. -u, pl. -y, gen. -x'iw 'черепаха'; Луквица *čerepáxa*, acc. -u, pl. -x'i, gen. *čerepáx* — значение?.

\*čeršn'a: Ольшаны čerěšn'a, асс. -u, pl. -i, gen. čerěšén'; Ч. Поток čerěšn'a, асс. -u, pl. -i, gen. čerěšén'; Бан.-П. čerěšn'a, асс. -u, num. -n'i, pl. čerěšn'i, gen. čerěšn'iw/čerěšn'iw; Луквица čerěšn'i, асс. -u, pl. čerěšn'i, gen. čerěšen/{čerešén/čerešn'iw}.

\*četina: Ольшаны čatína 'еловая/пихтовая ветвь'.

\*čuma: Ольшаны čumá, асс. -ú; Березники čumá, асс. -ú; Керецки čumá, асс. -ú; Бороняво čumá, асс. -ú; Т. Поляна čumá, асс. -ú; Ч. Поток čumá, асс. -ú (болезнь свиней: zaból'ila na čumú); Велятин čumá, асс. -ú; Чапли čumá, асс. -ú; Скотарское čumá, асс. -ú 'болезнь свиней, кур'; Печенижин čumá, асс. -ú, pl. -ž, gen. čum; Чернево čumá, асс. -ú; Бан.-П. čumá, асс. -ú; Мшанец čumá, асс. -ú; Луквица čumá, асс. -ú: buw slabáj na čumú.

\*čьrta: Березники pl. čertó 'чертеж'; Керецки čertá, асс. -ú, pl. -ó 'чертеж; большая карта'; Ч. Поток čertá, асс. -ú (русизм?); Скотарское čertá, асс. -ú, pl. -ó 'черта; граница'.

\*datja: Бан.-П. dáča 'подарок'.

\*děra: Ольшаны d'irá, асс. -ú, pl. d'íroo, gen. d'ír; Керецки d'irá, асс. d'írú, pl. d'íroo; Чернево d'irá, асс. -ú, num. d'ir'i, pl. d'íry, gen. d'ir; Ч. Поток d'irá, асс. -ú, pl. -ó; Мшанец z'irá, асс. -ú, pl. z'íry, gen. z'ír'iw; Луквица d'irá, асс. -ú, pl. d'íra, gen. d'ir.

\*děrka: Березники d'írka; Луквица d'írka, асс. -u.

\*děža: Чернево d'íža, pl. d'íž'i; Луквица d'íž'ž, асс. -ú, pl. -i/{d'íž'i}, gen. d'íž.

\*děžka: Ольшаны d'íška, pl. d'íškóo, gen. d'íšók (sic); Ч. Поток d'íška, асс. -u, pl. d'íškóo, gen. d'ížúók; Бан.-П. d'íška, асс. -u, pl. d'íškž, gen. d'ížúók; Мшанец z'íška, асс. -u.

\*děsna: Керецки jasná, асс. -ú, pl. -ó; Бан.-П. jásna, асс. -u; Мшанец jásna.

\*dička: Ч. Поток díčka, асс. -u, pl. dičkóo, gen. dičúók 'дикая груша'.

\*doba: Ольшаны dobá, асс. dobú, pl. dóboo, gen. dop; Березники dobá, асс. dobú, pl. dobóo, dv'i dobóo; Керецки dobá, асс. dobú, pl. dobóo; Луги dobá, асс. -ú, pl. dóby, dvi dóby, gen. dip/g'ip/dóbiw; Бороняво dobá, асс. dobú, pl. dobóo, gen. dop; Т. Поляна dobá, асс. dobú, pl. dóbь, gen. dop; Люта dóba, асс. dóbu, pl. dobóo, gen. d'ib; Ч. Поток dobá, асс. dobú, pl. dobóo, gen. dúp; Велятин dobá, асс. dobú, pl. dobóo; Чапли dobá, асс. dóbu, pl. dóbž; Миженец dobá, асс. dóbu, pl. dóby, num. dobí, gen. díp; Скотарское dobá, асс. dobú, pl. dobóo; Печенижин dobá, асс. dóbu, pl. dóby, gen. g'ip; Чернево dobá, асс. dobú, num. dob'i, pl. dóby; Бан.-П. dobá, асс. -ú, pl. -ž, gen. dužb'iw; Мшанец dobá, асс. dobú; Луквица dobá, асс. dobú, {pl. [dobž], gen. d'ib}.

\*dol'a: Ольшаны dól'a, gen. dól'i, асс. dól'u 'счастье'; Березники dól'a, асс. -u; Керецки dól'a, асс. -u, pl. -i; Ч. Поток duól'a, асс. -u 'несчастливая судьба'; Печенижин dól'y; Чернево dól'a, pl. dól'i; Мшанец dól'a, асс. -u; Луквица dól'a/{-i}, асс. -u.

\*dol'a: Бан.-П. duól'a, асс. -u, pl. -i, gen. -iw 'земля, почва'.

\*dorga: Ольшаны doróga, асс. dorógu, pl. dorógoo, gen. doróux; Березники doróga, асс. dorógu, pl. dorógoo; Керецки doróga, асс. dorógu, pl. dorógoo; Бороняво doróga, асс. dorógu, pl. dorógoo, gen. doróx; Т. Поляна doróga, асс. dorógu, pl. dorógu, gen. doróx; Люта doróga, асс. dorógu, pl. dorógi, gen. doróg'iw; Велятин doróga, асс. dorógu, pl. dorógoo; Чапли doróga, асс. -u, pl. -ž; Миженец doróga, асс. -u, pl. -i, num. -i, gen. -iw; Скотарское doróga, асс. dorógu, loc. na dorózi, pl. dorógoo; Печенижин doróga, асс. -u, pl. -y, gen. dor'ih; Чернево doróga, асс. -u, num. dorózi, pl. dorógi; Бан.-П. doróga, асс. -u, pl. -y, gen. -y'iw; Мшанец doróga, асс. dorógu, pl. dorógu, gen. doróg'iw; Луквица doróga, асс. -u, pl. -ž, gen. dor'iy.

\*doržka: Ольшаны doróška, pl. doróškoo, gen. doróžok; Луквица dor'iška.

\***doga** 'радуга': Ольшаны *tuǵá*, асс. *tuǵú*, pl. *tuǵó* (sic); Керецки *duǵá*, асс. -*ú*, pl. *dúǵoo*; Люта *duǵá*, асс. -*ú*, pl. -*í*, gen. *duǵ'ǵw*.

\***doga** 'клепка бочки': Березники *duǵá*, асс. *dúǵu*, pl. *duǵó*; Керецки *duǵá*, асс. *duǵú*, pl. *dúǵoo*; Луги *duǵá*, асс. -*ú*, pl. -*ǵ*, gen. -*ǵw*; Бороняво *duǵá*, асс. -*ú*, pl. *dúǵoo*, gen. *dux*; Т. Поляна *duǵá*, асс. -*ú*, pl. *duǵǵ*, gen. *dux*; Люта *duǵá*, асс. -*ú*, pl. -*í*, gen. *duǵ'ǵw*; Ч. Поток *duǵá*, асс. -*ú*, pl. -*ó*, gen. *dux*; Миженец *doǵá*, асс. -*ú*, pl. -*í*, num. -*í*, gen. *dúǵǵw*; Чапли *duǵá*, асс. -*ú*, pl. -*ǵ*; Скотарское *duǵá*, асс. -*ú*, gen. *dúǵoo*; Печенижин *duǵá*, асс. -*ú*, pl. *dúǵu*, gen. *duh*; Чернево *duǵá*, асс. -*ú*, num. *duǵí*, pl. *dúǵi*, gen. -*ǵw* — значение?; Бан.-П. *duǵá*, асс. -*ú*, pl. -*ǵ*, gen. -*ǵ'ǵw*; Луквица *duǵá*, асс. -*ú*, pl. *duǵǵ/dúǵǵ*, {gen. *duǵ*} 'ручка ведра'.

\***duǵka**: Луквица *dútká*, асс. -*u*.

\***duma**: Миженец *dúma*, асс. -*u*, pl. -*y*, num. -*i*, gen. *dum*; Скотарское *dúma*, асс. -*u*; Печенижин *dúma*, gen. -*u*, pl. -*y*, gen. *dum*; Чернево *dúma*, асс. -*u*, pl. -*y*; Бан.-П. *dúma*.

\***dumka**: Ольшаны *dútká*, асс. -*u*, pl. *dumkó*, gen. *dumók*; Т. Поляна *dútká*, асс. -*u*, pl. *dumkǵ*, gen. \**dumók*; Ч. Поток *dútká*, асс. -*u*, pl. *dumkó*, gen. *dumók*; Печенижин *dútká*, асс. -*u*, pl. *dumk'ǵ*, gen. *dumók*; Бан.-П. асс. *dútku*; Мшанец *dútká*, асс. -*u*, pl. *dumkú*, gen. *dumók*; Луквица *dútká*.

\***dupa**: Чернево *dúra*, num. -*pji*, pl. *dúpy*; В. Тур. *dúra*, асс. -*u*, pl. -*ǵ*.

\***duša**: Ольшаны *dušá*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'ǵ*, gen. *duš*; Березники *dušá*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'ǵ*; Керецки *dušá*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'ǵ*; Луги *duš'é*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'i*, gen. -*iw/duš*; Бороняво *dušá*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'i*, gen. *duš*; Т. Поляна *dušá*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'i*, gen. *duš*; Люта *dušá*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'i*, gen. *duš'ǵw*; Велятин *dušá*, асс. -*u*, pl. *dúš'i*; Чапли *dušá*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'i*; Миженец *dušá*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'i*, num. *duší*, gen. *duš*; Скотарское *dušá*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'i*; Брод *dušá*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'i*, gen. *duš'ǵ*; Печенижин *duš'é*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'i*, gen. *duš*; Чернево *dušá*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'i*, gen. *duš*; Бан.-П. *duš'á*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'i*, gen. *duš*; Мшанец *dušá*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'i*; Луквица *duš'ǵ*, асс. *dúšu*, pl. *dúš'i*, gen. *duš*.

\***dušška**: Ольшаны *dóška*, асс. *dóšku*, pl. *dóškoo/doškó*, gen. *doščók*; Березники *dóščka*, асс. *dóščku*, pl. *doščkó*, gen. *doščók*; Керецки *dóščka*, асс. *dóščku*, pl. *doščkó*; Луги *dóš'čka/dóška*, асс. -*u*, pl. *doš'č'k'ǵ/došk'ǵ*, gen. *dóš'č'ok*; Бороняво *dóška*, асс. *dóšku*, pl. *doškó*, gen. *doščók*; Т. Поляна *dóš'ka*, асс. *dóš'ku*, pl. *doš'kǵ*, gen. *doš's'ók*; Люта *dóš'ka*, асс. *dóš'ku*, pl. *doš'kǵ*, gen. *doš'ók*; Ч. Поток *dóš'ka*, асс. *dóš'ku*, pl. *doš'kó*, gen. *doš'č'ók*; Велятин *dóška*, асс. *dóšku*, pl. *doškó*; Чапли *dóška*, асс. -*u*, pl. *došk'ǵ*, gen. *došók*; Миженец *dóška*, асс. -*u*, pl. -*i*, num. -*i*, gen. *dóščók*; Скотарское *dóška*, асс. *dóšku*, pl. *dóškoo*; Брод *dóš'č'ka*, асс. *dóš'č'ku*, pl. *doš'č'kó*, gen. *doš'č'ók*; Печенижин *dóšška*, асс. -*u*, pl. *dóššk'ǵ*, gen. *dóščók*; Чернево *dóš'ka*, асс. -*u*, num. *dóš'k'i*, pl. *dóš'k'i*, gen. *dóš's'ók*; Бан.-П. *dóšška*, асс. -*u*, pl. *dóššk'ǵ*, gen. *dóščuk*; Мшанец *dóščka*, асс. *dóščku*, pl. *dóščku*, gen. *doščók*; Луквица *dóšška*, асс. -*u*, pl. *došk'ǵ*, gen. *dóščok/doščók*.

\***dyn'a** 'тыква': Ольшаны *dón'a*, асс. *dón'u*, pl. *dón'ǵ*, gen. *don'*; Березники *dón'a*, асс. -*u*, pl. *dón'ǵ*; Керецки *dón'a*, асс. -*u*, pl. -*ǵ*; Луги *dán'i*, асс. -*u*, pl. -*i*, gen. -*iw*; Бороняво *dón'a*, асс. -*u*, pl. -*i*, gen. *don'*; Т. Поляна *d'ín'a*, асс. -*u*, pl. -*i*, gen. *dyn'*; Ч. Поток *dón'a*, асс. -*u*, pl. -*ǵ*, gen. *don'*; Велятин *dón'a*, асс. -*u*, pl. -*i*; Чапли *dán'ǵ*, асс. -*u*, pl. -*i*; Скотарское *dón'a*, асс. -*u*, pl. -*i*; Чернево *dún'a*, асс. -*u*, pl. -*i*, gen. *dyn'*; Мшанец *dún'a*, асс. -*u*, pl. -*i*, gen. *dyn'*; Луквица *dán'a/(-i)*, асс. -*u*, pl. *dán'ǵ/dán'i*, {gen. *dán'*}.

\***dyra**: Бан.-П. *dyrá*, асс. -*ú*, num. -*r'í*, pl. *d'ǵary*.

\***dyrka**: Бан.-П. *dárka*, асс. -*u*, pl. *dyrk'ǵ*, gen. *dyrók*.

\***dyraka**: Керецки *dráka*, асс. -*u*, pl. -*oo*; Мшанец *dráka*, асс. -*u*, pl. -*y*.

\***gaba** 'волна': Ольшаны *gabá*, асс. *gabú*, pl. *gabóo/gáboo*, gen. *gar*; Керецки *gabá*, асс. -ú, pl. -ó; Ч. Поток *gabá*, асс. -ú, pl. -ó, gen. *gab'ú*.

\***gadъka**: В. Тур. *gátka* 'мысль'.

\***ganъba**: Т. Поляна *gán'ba*, асс. -u.

\***gatje** 'подштанники': Ольшаны pl. *gáč'i*, gen. *gач*, dat. *gáčom*, instr. *gáčamí*, loc. *gáčax*; Ч. Поток pl. *gач'í*, gen. *gач'ú*; Бан.-П. pl. t. *gáč'i*; Луквица pl. *gáč'i*, gen. *gачéj*, {instr. *gачmэ*}.

\***glina**: Ольшаны *glína*, асс. -u, pl. -oo; Березники *glína*, асс. -u; Керецки *glína*, асс. -u; Луги *glána*, асс. -u; Бороняво *glína*, асс. -u; Т. Поляна *glína*, асс. -u; Люта *glína*, асс. -u; Ч. Поток *glína*, асс. -u; Велятин *glína*, асс. -u, pl. -oo; Мшанец *glýna*, асс. -u; Чапли *glóna*, асс. -u; Миженец *glýna*, асс. -u; Скотарское *glína*, асс. -u; Печенижин *glána*, асс. -u; Чернево *glína*, асс. -u; Бан.-П. *glína*, асс. -u; Луквица *glána*, асс. -u, {pl. *glaná*, loc. w *glanáx*}.

\***glista**: Ольшаны *glistá*, асс. *glistú*, pl. *glistóo* (*glístoo*), gen. *glisti*; Березники *glistá*, асс. -ú, pl. -ó; Керецки *glistá*, асс. -ú, pl. -ó; Ч. Поток *glistá*, асс. -ú, pl. -ó, gen. *glistú*; Чернево *glistá*, асс. -ú, num. *glist'í*, pl. *glisty*, gen. *glist'iw*; Бан.-П. *glystá*, асс. -ú, num. *glys'r'í*, pl. *glíasty*, gen. -s'r'iw; Мшанец *glystá*, асс. -ú, pl. -ý, gen. *glys'č'iw*; Луквица *glástá*, асс. -ú, pl. -э, {gen. *glást'iw*}.

\***gliva**: Луквица *gláva*, асс. -u, pl. -э, gen. *gláv'iw*/*gláv*.

\***gliva**: Ольшаны *glíva*, асс. -u, pl. -oo, *glíw* 'род съедобных грибов (опенки?)'; Керецки *glíva*, асс. -u, pl. -oo 'древесные грибы'; Ч. Поток *glíva*, асс. -u, pl. -oo, gen. *glíw*; Чернево *glíva*, асс. -u, num. -vji, pl. -vу 'вид гриба (серого цвета)'; Бан.-П. *glíva*, асс. -u, pl. -y, gen. -v'iw.

\***glota** 'толпа': Ольшаны *glotá*, асс. *glotú*, pl. *glótóo*, gen. *glot*; Березники *glotá*, асс. *glotú*; Керецки *glotá*, асс. *glotú*, pl. *glotóo*; Ч. Поток *glotá*, асс. *glotú*, pl. *glýotóo*, gen. *glýot*; Скотарское *glotá*, асс. *glotú*; Печенижин *glotá*, асс. -ú, pl. *glóty*, gen. *gl'it*; Бан.-П. *glúota*, асс. -u 'семья'; Луквица *glotá*, асс. -ú, pl. *glóta*, {gen. *glót'iw*}.

\***gnida**: Ольшаны *gnída*, асс. -u, pl. *gnído*, gen. *gnit*; Березники *gnída*, асс. -u, pl. -oo; Керецки *gnída*, асс. -u, pl. -oo; Луги *gnáda*, асс. -u, pl. -y, gen. -iw; Бороняво *gnída*, асс. -u, pl. -oo, gen. *gnit*; Т. Поляна *gnída*, асс. -u, pl. -ы, gen. *gnít*; Люта *gnída*, асс. -u, pl. -oo, gen. *gníd'iw*; Ч. Поток *gnída*, асс. -u, pl. -oo, gen. *gnit*; Велятин *gnída*, асс. -u, pl. -oo; Печенижин *gnáda*, асс. -u, pl. -y, gen. *gnágiw*; Чернево *gnýda*, асс. -u (sic); Бан.-П. *gníada*, асс. -u, pl. -y, gen. -d'iw; Мшанец *gnýda*, асс. -u, pl. -y, gen. *gnýdiw*; Луквица *gnáda*, асс. -u, pl. -э, gen. *gnád'iw*; Чапли *gnáda*, асс. -u, pl. -э; Миженец *gnýda*, асс. -u, pl. -y, num. *gnýd'i*, gen. *gnyt*; Скотарское *gnída*, асс. -u, pl. -oo, gen. *gnid*.

\***godovl'a**: Бан.-П. *god'íw'l'a*.

\***golozá**: Ольшаны *golúza*, pl. -oo 'прут (орешника)'.

\***golozъka**: Ольшаны *golúska*, асс. -u, pl. *goluská*, gen. *golusók/goluzók* 'прутик, веточка'.

\***golva**: Ольшаны *golová*, асс. *gólou/gólou*, loc. w *golov'í*, pl. *gólouo*, gen. *gólou*; Березники *golová*, асс. *gólou*, pl. *gólouo*, gen. *gólou*; Керецки *golová*, асс. *gólou*, pl. *gólouo*; Луги *golová*, асс. *gólou* (sic), pl. *gólouy*, gen. *gólouiv/gólouíw*; Бороняво *golová*, асс. *gólou*, pl. *gólouo*, gen. *gólou*; Т. Поляна *golová*, асс. *gólou*, pl. *gólouy*, gen. *gólou*; Люта *golová/gólou*, gen. *golovó*, асс. *gólou*, loc. na *golov'í*, pl. *gólouo*, gen. *golov'iw/gól'iw*; Чапли *golová*, асс. *gólou*, pl. *gólouy*; Миженец *golová*, асс. *gólou*, pl. *gólouy*, num. -i, gen. *golíw*; Скотарское *golová*, асс. *gólou*, pl. *gólouo*; Ч. Поток *golová*, асс. *gólou*, pl. *gólouo*, gen. *golúou*; Велятин *golová*, асс. *gólou*, pl. *gólouo*; Брод *golová*, асс. *gólou*, pl. *gólouo*, gen. *gólou*; Печенижин *golová*, асс. *gólou*, pl. *gólouy*, gen. -v'iw/gól'iw; Чернево *golová*, асс.

γόλονу, num. γόλονѣ, pl. γόλονу, gen. γόλѣw; Бан.-П. γόλονá, acc. γόλονу, num. γόλον'í, pl. γόλονу, gen. -v'iw; Мшанец γολονá, acc. γόλονу, pl. γόλονу, gen. γόл'iw; Луквица γολонá, acc. γόλονу, pl. γόλονэ, gen. γόлов'iw/γол'iw.

\*gol'vka: Ольшаны γολówka, pl. γολówkwá, gen. γολονόk; Чернево γολówka, acc. -u, pl. γολówki, gen. γολówók.

\*gol'vп'a: Ольшаны γολówn'a, acc. -u, pl. γολówn'í, gen. γολóven'/γολówn'úw; Березники γολówn'a, acc. -u, pl. γολówn'í, gen. γολówn'úw; Керецки γολówn'a, acc. -u, pl. γολówn'í; Луги γολówn'í, acc. \*-u, pl. -i, gen. γολóven; Бороняво γολówn'a, acc. -u, pl. -i, gen. -ij 'колода'; Т. Поляна γολówn'a, acc. -u, pl. -i, gen. γολóven' 'головня'; Люта γολówn'a, acc. -u, pl. -i 'головня'; Ч. Поток γόλυówn'a, acc. -a, pl. γολówn'í, gen. -ú; Велятин γολówn'a, acc. -u, pl. -i; Чапли γολówn'э, acc. -u, pl. -i 'верхушка дерева'; Скотарское γολówn'a, acc. -u, pl. -i 'головня — «nedoγorenojе»; Печенижин γολówn'у, acc. -u, pl. -i, gen. -iw; Бан.-П. γολówn'a, acc. -u, pl. γολówn'í, gen. γολóven' (болезнь растений); Луквица γολówn'í/{-i}, acc. -u, pl. -i/{γολówn'í}, gen. -iw/{γολóven'}.

\*gora: Ольшаны γорá, dat. γорí, acc. γорú, pl. γорó, gen. γур, loc. w γорax; Березники γорá, acc. γорú, pl. γорó; Керецки γорá, acc. γорú, pl. γорó; Луги γорá, acc. [na γору/]γорú, pl. γору, gen. γорiw; Бороняво γорá, acc. γорú, pl. γорó, gen. γур; Т. Поляна γорá, acc. γорú, pl. γоры, gen. γур/γор; Люта γорá, acc. γорú, pl. γорó, gen. γор'iw/γ'ir; Ч. Поток γорá, acc. γорú, pl. γурó, gen. γур; Велятин γорá, acc. γорú, pl. γорó; Чапли γорá, acc. -ú, pl. γорэ; Миженец γорá, acc. -ú, pl. γору, num. γорý, gen. γорiw; Скотарское γорá, acc. γорú, pl. γорó; Брод γорá, acc. γорú, pl. γорó, gen. γур; Печенижин γорá, acc. -ú, pl. γору, gen. -r'iw; Чернево γорá, acc. -ú, num. γор'í, pl. γору, gen. -iw; Бан.-П. γорá, acc. -ú, num. -r'í, pl. γурó, gen. γур; Мшанец γорá, acc. γорú, pl. γору, gen. γор'iw; Луквица γорá, acc. -ú, pl. γорэ, gen. γор'iw.

\*gord'a: Бан.-П. γорóζa, acc. -u, pl. -z'i, gen. γорóζs.

\*gordina: Ч. Поток γородína, acc. -u, pl. -nω, gen. γородín.

\*goba 'гриб': Ольшаны γύba, acc. -u, pl. γύbω, gen. γур 'род съедобного гриба (белый гриб?)'; Березники γύba, acc. -u, pl. -ω 'вид гриба'; Керецки γубá, acc. γύbu, pl. γύbω 'вид гриба'; Луги γύba, acc. -u, pl. -у, gen. -iw 'грибок («jis't xátu»); гриб'; Бороняво γύba, acc. -u, pl. -ω, gen. γур 'вид съедобных грибов (грузди?)'; Т. Поляна γубá, acc. γύbu, pl. γύбы, gen. γур; Миженец γобá, acc. -ú, pl. γύbu, num. γύbi, gen. γуб'iw; Печенижин γύba, acc. -u, pl. -у, gen. -b'iw 'древесный гриб'; Чернево γύba, num. γύb'í, pl. γύby/γубý, gen. γур; Бан.-П. γύba, acc. -u, pl. -у, gen. γύb'iw/γуб'iw 'вид съедобного гриба'; Луквица γύba 'белый гриб'.

\*goba 'губа': Березники γύba, acc. -u, pl. -ω; Керецки γубá, acc. γύbu, pl. γύbω; Луги γубá/γύba, acc. γύbu, pl. γύby, gen. -iw; Бороняво γύba, acc. -u, pl. -ω, gen. γур; Т. Поляна γубá, acc. γύbu, pl. -ы, gen. γур; Люта γύba, acc. -u, pl. -ω, gen. γуб'iw; Ч. Поток γύba, acc. -u, pl. γубó, gen. γур; Велятин γύba, acc. -u, pl. -ω; Чапли γубá, acc. -ú, pl. -э; Скотарское γубá, acc. γύbu, pl. -ω; Печенижин γύba, acc. -u, pl. -у, gen. -b'iw; Бан.-П. γубá/γύba, acc. γύbu, num. γύb'í, pl. γύby/γубэ, gen. γуб'iw; Луквица γύba, acc. -u, pl. -э, gen. γуб'iw.

(продолжение следует)

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Николаев С. Л. Вокализм карпатоукраинских говоров. 1. Покутско-буковинско-гуцульский ареал // Славяноведение. 1995. № 3.

2. Бушкевич С. П., Николаев С. Л., Толстая С. М. Этнолингвистические экспедиции в Украинские Карпаты // Славяноведение. 1994. № 3.





*Славянские съезды XIX—XX вв. М., 1994. 144 С.*

Рецензируемый сборник представляет обзор всех Славянских съездов, начиная с Пражского, проходившего в бурном революционном 1848 г., и кончая Белградским, состоявшимся в 1946 г. в первую годовщину после победы над нацистской Германией. Эти съезды, носившие этнонациональный характер, имели целью объединение усилий различных славянских народов для решения собственных национальных задач. Всего за сто лет съездов прошло шесть: 1848 г.— в Праге, 1867 г.— в Москве, 1868 г.— в Стромовке, 1908 г.— в Праге, 1910 г.— в Софии, 1946 г.— в Белграде. Неслучайно они происходили в переломные моменты истории славянских народов: революция 1848 г., дуалистическое переустройство Габсбургской монархии в 1867 г., боснийский кризис в 1908 г., первая годовщина победы над фашизмом.

Рассмотрение в хронологическом порядке всех Славянских съездов дает возможность проследить развитие славянской идеи на протяжении столетия, особенности ее развития в различные исторические периоды, связанные с изменением политической, экономической, социальной обстановки в славянских землях, а также внешнеполитическими событиями.

Сборник состоит из предисловия и одиннадцати статей. Предисловие написано достаточно удачно, вызывает сомнение лишь утверждение, что «идею славянской взаимности поддерживали небольшие группы славянской интеллигенции». Это вполне справедливо для первой половины XIX в., но уже во второй половине XIX — начале XX в. идея славянской взаимности становится, например, у австрийских славян частью их этнического самосознания. Первая статья, принадлежащая Л. П. Лаптевой, «Идея славянской взаимности и славянские съезды XIX в.» как бы предворяет рассказ о Славянских съездах. Автор показывает причины, способствовавшие возникновению идеи славян-

ской взаимности, раскрывает ее сущность, высказывает предположения о ее реальной действительности. Вместе с тем ряд положений статьи вызывает возражения. Так, высказывание автора о том, что ранние славянофилы не имели отношения к идее политического объединения славян, крайне спорно. В своей докторской диссертации С. А. Никитин использует «Записку» К. С. Аксакова, в которой тот накануне Крымской войны предлагал создать «прочный союз всех славянских народов под верховным покровительством русского государя». Эта «Записка» была введена в научный оборот словацким ученым Т. Ивантышиновой [1]. Подробно говорится о ней и в статье И. В. Чуркиной «Неизданная книга С. А. Никитина» [2]. Вызывает возражение и общий вывод Л. П. Лаптевой о том, что идея славянской взаимности «была в целом нереальной, хотя отдельные ее элементы, например, проекты культурного сотрудничества, могли быть осуществлены». Идея славянской взаимности в разное время играла разную роль. Часто она предавалась забвению, но в наиболее сложные периоды истории славянских народов проявлялась очень ярко. Например, в ходе революции 1848 г. хорваты, сербы, отчасти словенцы совместно противостояли немецкому и венгерскому национализму; создание в 1918 г. славянских государств Чехословакия и Югославия тоже стало воплощением идеи славянской взаимности, как и совместная борьба славянских народов против фашизма в 1941—1945 гг.

Остальные статьи посвящены отдельным Славянским съездам, из них четыре — Пражскому, три — Московскому, по одной — съездам в Стромовке, Праге, Софии и Белграде. Такое распределение статей вполне объяснимо, ибо наиболее подробно изучены в историографии именно два первых Славянских съезда. Тем более приятно, что авторы статей о них: Г. В. Рокина (Словаки на Славянском съезде 1848 г. в Праге), В. А.

Дьяков (Славянофильские тенденции в польской общественной мысли накануне и во время Славянского съезда 1848 г.), Е. П. Аксенова (Славянские съезды 1848 и 1867 гг. в освещении русской демократической печати), Л. П. Лаптева (Славянский съезд 1967 г. и участие в нем чешской делегации), О. Н. Хохлова (А. А. Майков на Славянском съезде 1867 г.) сумели найти свои подходы в освещении этих знаменательных событий, ввести в оборот новые материалы. Статья Г. Ю. Харциевой «Тайный Славянский съезд 1868 г. в Праге» посвящена малоизвестной встрече славянских политиков в Стромовке близ Праги, приехавших туда по поводу закладки здания Чешского национального театра.

Новый этап развития славянской идеи был связан с неославизмом, получившим распространение среди славянских национальных деятелей накануне первой мировой войны. З. С. Ненашева рассмотрела вопрос о Славянском съезде 1908 г. в Праге и его месте в формировании идеологии и программ неославизма. Статья С. М. Фалькович «Сотрудничество русских и польских неославистов и Славянские съезды начала XX в.» освещает съезды 1908 и 1910 гг. Любопытны наблюдения исследовательницы относительно позиции польских неославистов, их взаимоотношений с русскими и австрийскими неославистами.

Все статьи сборника отличает высокий научный уровень. Ряд выводов авторов носит новаторский характер. Так, интересен вывод Л. П. Лаптевой о том, что Славянский съезд 1867 г. в Москве являлся прежде всего культурным мероприятием и в литературе преувеличивается его политиче-

ский аспект. Заслуживает внимания мнение З. С. Ненашевой о демократической и либеральной ориентации многих неославистов. Приведенные В. А. Дьяковым материалы показывают, что в первой половине XIX в. часть польских национальных деятелей в своих политических построениях учитывала возможность установления тесного союза поляков с русскими. Таким образом, то антирусское течение польской эмиграции 1830-х годов, о котором широко известно в историографии, не было единственным направлением в польском национальном движении. Вызывает интерес статья М. Ю. Досталь, которая впервые на научной основе исследует Славянский съезд в Белграде в 1946 г. Ею приведены совершенно неизвестные материалы по данной теме. Представляется только излишним разоблачительный пафос некоторых пассажей статьи.

Спорные моменты в освещении отдельных вопросов вызывают желание дискутировать, что, несомненно, является важным двигателем их всестороннего изучения. Вышедший сборник — хороший подарок для тех, кого интересует история и идеология славянских национальных движений.

© 1995 г. Чуркина И. В.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Česi a Slovaci v ideológii ruskych slavjanofilov. Bratislava, 1987.
2. Чуркина И. В. Неизданная книга С. А. Никитина // Путь ученого. К 90-летию со дня рождения С. А. Никитина. М., 1992.



## МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «ПЕРЕХОД ОТ ЯЗЫЧЕСТВА К ХРИСТИАНСТВУ У СЛАВЯН (духовная культура, комплексное источниковедение, археология, лингвистика)»

Указанный симпозиум проводился 22—25 ноября 1994 г. в г. Звенигороде в рамках мероприятий Отделения истории Российской Академии наук Институтом археологии РАН при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований и под эгидой Международной Унии славянской археологии (МУСА). Тематика представленных докладов охватывала проблемы процесса христианизации славян, соотношения язычества и христианства в славянской материальной и духовной культуре, касалась феномена двоеверия.

Работу симпозиума открыл академик РАН *Б. А. Рыбаков* (Москва). В своем выступлении он в общих чертах изложил свою концепцию славянского язычества, а также коснулся вопросов методики и основных направлений изучения этого культурного феномена.

*П. П. Толочко* (Киев) в докладе «Язычество и христианство на Руси» затронул проблему двоеверия: с точки зрения докладчика, в сознании христиана древнерусской эпохи едва ли были совместимы представления о христианском Боге и высших языческих божествах. Богатый фактический материал был представлен в докладе *П. Корошец* (Любляна) «Проблема христианизации славян Восточных Альп». Вопрос взаимоотношения языческого мировоззрения и христианской религии на территории альпийских славян, живших в иноэтническом окружении, представляет интерес не только с точки зрения археологии и истории, но связан также с проблемой формирования славянского этнического самосознания. Доклад *М. В. Седовой* (Москва) «Язычество и христианство по материалам раскопок Суздаля и Владимира» был посвящен характеристике археологических комплексов в городских усадьбах и некрополях древнерусских городов, содержавших предметы языческого и христианского культа, а

также строительные жертвы (конские черепа под строениями и т. п.). *Б. Бабич* (Прилеп) в докладе «Соотношение символики креста славянского язычества и христианства», содержавшем особый экскурс об археологических материалах княжества Берзита с рубежа VI—VII вв. до 864 г., рассмотрел находки VII—VIII вв. на территории современной Албании. Автор охарактеризовал команскую культуру как славянскую по происхождению и связал ее с культурой племени берзитов.

Доклад *И. П. Русановой* (Москва) «Хронология Збручских святилищ» сопровождался показом слайдов с места археологических раскопок 1984—1989 гг. на территории трех древнеславянских святилищ на р. Збруч. Согласно археологическим свидетельствам (керамика, украшения, ножи, тип жертвенников), возникновение святилищ на Збруче может быть датировано рубежом X—XI вв. (что совпадает с датировкой знаменитого Збручского идола). Археологические находки позволяют установить, что каждое из святилищ, имевшее сакральную и общественную части, действовало до середины XIII в. и могло быть местом языческих молений славян об избавлении от угрозы монгольского нашествия в первой трети XIII в. Вопросы, связанные с функционированием и спецификой Збручских святилищ, были также затронуты в докладе *Б. А. Тимоцука* (Москва) «Двоеверие по памятникам Збручских святилищ». Збручский комплекс представлял собой некое ядро языческой культуры и религии славян, возникшее в период ликвидации главных святилищ в Киеве. Находки христианских предметов в святилищах (кресты, иконки, фрагменты церковной утвари) могут быть свидетельством того, что на протяжении X—XIII вв. городища на р. Збруч являлись своеобразным островом двоеверия, когда вблизи однотипных языческих «храмов», включавших в себя фигуру идола, жертвенник, жертвенный ко-

лодец, существовали поселения с деревянными христианскими храмами. Докладчик высказал предположение, что в данный период не исключалось посещение языческих капищ христианами. Особенности содержания понятия «двоеверие» посвятил свое сообщение «Специфические черты древнерусского религиозного мировоззрения» А. П. Моця (Киев). Докладчик сделал вывод о правомерности привлечения памятников народной духовной культуры для реконструкции древнерусских верований.

П. Донат (Берлин) в докладе «Восстание лютичей, ободритские князья и христианская церковь» коснулся проблем христианизации славянских племен ободритов и лютичей и связанных с этим процессом политических явлений. Взаимоотношения славян и германцев определялись отношением славянской княжеской знати к новой религии и успехами немецких миссионеров. С процессом христианизации лютичей и ободритов связаны восстания славян-язычников в X в., сопровождавшиеся разрушением христианских храмов.

Доклад В. В. Седова (Москва) «От язычества к христианству. По материалам курганов Смоленской земли» осветил особенности развития курганного обряда погребения на Смоленщине, а именно переход от обряда трупосожжения к обряду трупоположения. Датируя этот процесс серединой X в., докладчик предположил, что подобное изменение погребального ритуала не связано с извержением христианства на Руси, так как предваряет его. И позднее ингумация сопровождалась возжиганием ритуального огня, сверху насыпался курган высотой до 1,5 м (обряд предварительного очищения места погребения огнем исчезает здесь в XI—XII вв.). Археологический материал показывает, что в XI в. в Смоленской земле было очень мало городов, население в большинстве своем было языческим. Отдельные христианские захоронения встречаются вокруг Смоленска. Активная христианизация Смоленской земли начинается только в 30-е годы XII в.; постепенно сокращается число курганных могильников — их вытесняют захоронения в могильных ямах, что свидетельствует о принятии христианских обрядов населением Смоленщины.

Проблемам духовной культуры славян был посвящен доклад Л. Н. Виноградовой (Москва) «Особый статус умерших в молодом возрасте в поверьях и обрядах славян». Анализ особенностей погребения так называемых «заложных» покойников (т. е. умерших неестественной смертью, а также в раннем возрасте) показывает, что существовал особый похоронный ритуал для этой категории умерших. Обрядовые действия были направлены

на то, чтобы защититься от «опасных» покойников, которые могли наносить вред живым. Важным элементом, составляющим особенность захоронения умерших в молодом возрасте, было символическое «вступление в брак» покойника, нашедшее широкое отражение в поверьях славян.

С. Олтяну (Бухарест) выступил с докладом «Биритуальный погребальный обряд румын и славян Карпато-Дунайского региона VI—X вв.». Сравнивая особенности захоронения этнических соседей — румын и славян, анализируя типы мужских, женских, а также «двойных» погребений, докладчик сделал вывод о том, что наличие и сохранность «биритуальных» погребений свидетельствуют о достаточно толерантном отношении христианской церкви к старым языческим обрядам. Доклад В. Я. Петрухина (Москва) «Большие курганы Северной и Восточной Европы как памятники погребального обряда» был построен на сравнительном русско-скандинавском материале. Сходный тип курганных захоронений в Гнездове, Чернигове, Ладоге, а также на севере Европы и в Скандинавии позволяет говорить о сходном погребальном ритуале и его символике у Руси и ее северных соседей. Наличие в курганах ладьи, металлических сосудов (котлов), а также парадного оружия подчеркивает социальный статус умершего. Сходный тип захоронений может быть свидетельством того, что большие курганы Северной и Восточной Европы были местом погребения членов правящих династий, состоявших в родстве друг с другом.

В. Д. Баран (Киев) посвятил свой доклад «Исследования Галичиной могилы» истории открытия и изучения одного из археологических памятников Галицкой земли — захоронения на месте древнего Галича, которое считалось местом погребения основателя города. Раскопки производились в период с 1883 по 1915 г. и были возобновлены в недавнее время. В результате было обнаружено захоронение, элементами которого являлись часть долбленной лодки, боевые топоры, ножи, стрелы. «Галичина могила» может быть интерпретирована как захоронение знатного воина конца X — начала XI в.

Ж. Бланков (Брюссель) в докладе «Язычество у Герберштейна и Андре Тэвэ» познакомил слушателей с произведением малоизвестного в России французского автора XVI в. А. Тэвэ «Космография Московии». Заимствовав большую часть сведений о России из записок Герберштейна, А. Тэвэ сделал в своей книге ряд оригинальных дополнений, касающихся сравнения историко-археологических памятников России с произведениями античности. Л. А. Беляев (Москва) в докладе «К характеристике феномена „двоеверия“ по архе-

ологическим данным» затронул проблему соотношения этнографических наблюдений и археологических исследований. Описание обрядов фольклористами и этнографами «в идеале» должны были бы подкрепляться археологическими находками. На практике такая стыковка материала происходит крайне редко. Докладчик высказал мысль о возможности создания предварительного индекса предметов, используемых в обрядах, с соответствующим археологическим комментарием. Предметы, находимые в некрополях XIII—XVII вв., их соотношение друг с другом, датировка могут проиллюстрировать архетипы человеческого сознания, подтвердить наличие культурно-психологических универсалий археологическими данными.

Доклад *А. В. Чернецова* (Москва) «К изучению мифологических образов и мотивов древнерусского прикладного искусства», сопровождавшийся показом интересного иллюстративного материала, поставил проблему «прочтения» изображений мифологических существ, которые встречаются, в частности, в ornamentации предметов прикладного искусства. Проявляется тенденция к парности изображений: комбинируются мужские и женские персонажи (в том числе демонические существа), чудовища и их «двойники» (типа фигур ряженых), зафиксирован также мотив оборотничества — метаморфозы, происходящие с мифологическим персонажем (змеем). В докладе *О. В. Беловой* (Москва) «„Божии овны“ и зверь-единорог» на примере славянских народных легенд о единороге был рассмотрен вопрос о соотношении дохристианских и христианских элементов в описании и трактовке мифологических персонажей средневековой «естественнонаучной» литературы. Доклад *Н. В. Жилиной* (Москва) «Украшения со сканью и зернью как источник по изучению славянского язычества» был посвящен трансформации сюжетных композиций в чисто орнаментальные на женских серебряных и золотых украшениях и в вышивке. Композиционные сюжеты типа изображения богини с руками-крыльями, женщины с птицами, женщины и дерева постепенно переходят в орнаментальную сетку с хаотическим набором элементов. Сочетание языческих и христианских мотивов представляют оправы каменных крестов, сопоставимые с оправой амулетов. В докладе была предложена трактовка некоторых орнаментальных композиций, по мнению автора сохранивших языческую семантику.

*Н. Чаусидис* (Скопье) в докладе «Язычество славян южной части Македонии и Северной Греции — остатки культуры и процессы христиани-

зации» представил разнообразный материал в подтверждение гипотезы о существовании в VI—VII вв. в южной Македонии пантеона языческих божеств, аналогичного восточнославянским пантеонам. Археологические находки (пластины-изображения антропо- и зооморфных существ, каменный идол VII в.), а также свидетельства письменных источников не исключают возможности существования пантеона и позволяют говорить о том, что процесс христианизации затянулся здесь до XI—XII вв.

В докладе *А. А. Мединцевой* (Москва) «Письменность и религия в процессе становления древнерусской государственности» была подвергнута критическому рассмотрению точка зрения, согласно которой древнерусская письменность и государственность связаны непосредственно с крещением Руси. Были рассмотрены свидетельства того, что и письменность, и основные государственные структуры существовали на Руси до официального принятия христианства. Анализ образцов древнерусской письменности X в. (надписи на гончарных изделиях, деревянных пломбах, нагательных крестах, монетах) показывает, что кириллица как система письма была принята на Руси в княжение Ольги и Святослава, а до этого носила смешанный (греко-славянский) характер. В докладе затрагивалась также проблема прочтения некоторых древнерусских надписей.

Помимо научных докладов и общей дискуссии, в ходе работы симпозиума было проведено организационное заседание Исполкома и Постоянного совета МУСА. О современном положении и проблемах Унии рассказал *В. В. Седов*. Была подчеркнута необходимость создания новых компетентных руководящих органов, разработки новых уставных документов. В ходе обмена мнениями отмечалось, что в настоящий момент ни одна из славянских стран, кроме России, не может возглавить работу Унии; в связи с этим было предложено просить российскую сторону создать рабочую группу для организации VI Международного конгресса МУСА в России. В дальнейшем в задачи Унии должны входить установление и поддержка научных связей исследователей разных стран, осуществление координации разработки основных научных направлений. Протокол с изложением данных предложений был подписан присутствовавшими членами Исполкома и Постоянного совета Унии по завершении работы симпозиума.

## КОНФЕРЕНЦИЯ «ЯЗЫКОВАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ БАЛКАН И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ» (БАЛКАНСКИЕ ЧТЕНИЯ-3)

Названная конференция, проходившая 15—16 ноября 1994 г., была организована Институтом славяноведения и балканистики РАН при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований.

Академик В. Н. Топоров отметил в своем вступительном слове значимость для современной науки исследований в области балканистики. Поскольку первый день работы конференции был посвящен проблемам античности, Владимир Николаевич остановился на положении дел в отечественной классической филологии, с грустью констатируя, что продолжается отток филологов-классиков за рубеж. Тем не менее традиция классической науки должна быть поддержана новым поколением филологов-классиков, и способствовать этому призваны как подобные конференции, так и иные формы научного сотрудничества и сообщества, в частности, новый периодический журнал, необходимость создания которого назрела.

Большинство докладов, прочитанных в первый день конференции, было посвящено проблемам реконструкции греческих праформ. А. В. Лебедев в докладе «*Ното loquens*: к этимологии греческого ἄφρωλος и славянского *čelovekъ*» предлагает рассматривать греческое ἄφρωλος как \*ἀφρο-φωλος — 'обладающий членраздельной речью', что, по мысли автора, сходно с другим поэтическим словом, обозначающим человека, μέρολες от μέρος, μερίζω и ὄφ 'разделяющий на части или членящий речь'. Для славянского *čelovekъ* автор реконструирует исходную форму \*kelo-wek<sup>w</sup>os 'членраздельно говорящий' от \*kelom/kolom 'член, колено' и \*wek<sup>w</sup> 'речь'. Это позволяет автору говорить о существовании греко-славянской концепции человека как *ното loquens*.

Доклад Н. Н. Казанского «Γερίνιοςος ἵπλοτα Νέστωρ: и.-е. эпитет, микенский титул и греческий социальный термин» посвящен реконструкции эпитета ἵπλοτα в греческом языке. Докладчик предложил следующее развитие этого эпитета: в праиндоевропейском формульное выражение 'владыка коней' обозначало в ритуале только божество и может быть восстановлено как *dek<sup>w</sup>o-pot-* 'повелитель коней'. В ранней греческой тра-

диции эпитет употреблялся в ритуальных текстах в трех разных падежах: ном. \*ek<sup>w</sup>o-potas, voc. \*ek<sup>w</sup>o-pota, gen. \*ek<sup>w</sup>o-potasyo. В гомеровском эпосе, отражающем как изменения религиозных взглядов, так и просто фонетические изменения эпитет ἵπποτας прилагается к уже смертным людям. В дальнейшем произошли и фонетические изменения, и смысловые: термин *hippo-tas* 'всадник' стал чисто социальным термином. В тексте «Одиссеи» и.-е. эпитет \*ek<sup>w</sup>o-pot был переосмыслен и послужил основой для образования формулы Γερίνιοςος ἵπλοτα Νέστωρ, которую Н. Казанский датирует геометрическим периодом.

В докладе М. К. Трофимовой «О единстве текста «Пистис Софии» доказывается гомогенность этого известного коптского текста, принадлежащего литературе гностицизма, прослеживаются связи между началом, которое является своеобразным прологом и остальным корпусом текста. Автор приходит к выводу о единстве рукописи, проявляющемся в композиционном, стилистическом и мировоззренческом аспектах.

Н. П. Гринцер в докладе «Проблема языкового знака в античности» проанализировал ее с точки зрения самой античной традиции, начиная с досократиков (у которых языковой знак помещается в промежуточную позицию между полюсами ясного и недвусмысленного высказывания, с одной стороны, и полной невозможности интерпретации с другой) и кончая стоиками. В докладе рассмотрены идеи античных философов, согласно которым слова приобретают сигнификативную и коммуникативную способность лишь в сочетании друг с другом (ср. с этим современную теорию языковой прагматики! — Е. Л.).

Доклад Б. М. Никольского «Агональная метафора в греческой риторической теории (термины *период* и *колон*)» был посвящен этимологической интерпретации двух терминов греческой поэтики и риторики: *период* и *колон*. Для выяснения их этимологии докладчик обратился к «Риторике» Аристотеля, в которой говорится о преимуществах речи, организованной в виде замкнутых кругов — *периодов*. Термин *περίοδος* обозначал движение по кругу и возвращение к определенной точке в состязаниях по двойному бегу. В этом же контексте докладчик рассматривает и второй термин — *ко-*

лон, который являлся одной из двух частей *ле-риода*.

Круглый стол, состоявшийся на второй день работы конференции, был посвящен концепту *движения* в языковой и этнокультурной перспективе. Заседание было открыто докладом С. М. Толстой «К характеристике акционального кода традиционной народной культуры», касавшимся семиотики действий — практически не изученного аспекта в области символического языка народной культуры. Как отмечалось в докладе, действие служит ядром и минимальной единицей ритуала, подобно тому, как глагол в языке образует логический стержень высказывания. Особый интерес вызвали наблюдения С. М. Толстой по поводу способов образования общей семантики ритуального действия (представляющего собой своеобразное «высказывание»). Семантика действия является производной от семантики его составляющих — самого действия («предиката») и всех его «актантов» (субъекта, объектов, адресата, инструмента) и «сирконстантов» (временных, локативных и «модальных» знаков).

Доклад Н. И. Толстого «Некоторые формы обрядового хождения» был посвящен различным способам обрядового движения, среди которых особо значимыми являются хождение по кругу, ходьба с волочением ног (которая связывается докладчиком с обрядовым волочением, в частности волочением бадняка у сербов, колодки у украинцев и пр.) и ходьба задом наперед, которая семантически близка представлениям о «вывороченном» времени, о времени господства нечистой силы.

В. В. Усачева выступила с докладом «Движение как компонент славянского народного врачевания», в котором рассмотрела способы народной профилактики болезней и борьбы с ними. Среди действий, направленных на предупреждение болезней, наиболее важными, по мысли докладчика, являются: опаживание, ритуальный обход, перегораживание дороги, изображение знака креста над воротами, втыкание колючих, ядовитых и жгучих растений и др. Если же болезнь наступала; действия подчинялись другой идее — изгнанию недуга из тела в чужое пространство, за границу человеческого мира. Среди способов изгнания болезни особо отмечены хождение за ритуальными предметами, лекарственными средствами, омовение и окуривание больного, символическое «оставление» болезни за пределами дома.

Доклад Е. Е. Левкиевской «Языковая прагматика славянских вербальных оберегов» был посвящен способом передачи сакральной информации в апотропических заговорах. По мнению выступавшей, принципиальной особенностью тек-

стов народной культуры, в том числе и апотропеев, является косвенность выражения тех или иных значений, несоответствие того, что говорится, тому, что «имеется в виду». Косвенные речевые акты в некоторых видах текстов являются единственно возможными способами выражения иллюкутивной цели.

В докладе Г. П. Клепиковой «Мотив движения-полета в семантике карпато-балканского *striga* (*štriga*)» рассмотрены комплексы демонических представлений, обозначаемых этой лексемой в карпато-балканском ареале. Г. П. Клепикова выделяет три основных семантических комплекса, обозначаемых лексемами с корнем *\*Strlg-*: 1. Ряд мифологических персонажей, вредящих человеку; 2. Людей, обладающих демоническими свойствами и являющихся «медиаторами» между миром людей и миром демонов; 3. Пейоративные обозначения реальных людей. Особо хотелось бы отметить ту часть доклада, в которой была рассмотрена связь карпато-балканских представлений о демонической природе некоторых птиц и насекомых (совы, бабочки, стрекозы) с их названиями, образованными от корня *strig-*.

Разговор о семантике форм движения в славянской традиционной культуре продолжила А. А. Плотникова своим докладом «Слав. *\*viti* в этнокультурном контексте». Докладчица подчеркнула, что символика действий, связанных с *\*viti*, амбивалентна. С одной стороны, подобные действия символизируют зарождение, рост, *развитие*; с другой — осмысляются как вредоносный результат действия демонических сил. А. А. Плотникова подробно остановилась на продуцирующей символике действий, связанных с витьем. Многочисленные и очень интересные примеры, которыми был насыщен доклад, показали, что у славян часто уподобляются действиям витья, верчения, плетения такие концепты, как начало новой структуры, процесс сотворения, приумножения «блага» (в частности, *повивание* ребенка, *завивание* невесты).

Хотелось бы особо отметить доклад Т. М. Николаевой «„С тропинки сбилась я...“ (потеря пути в пушкинских снах)», посвященный символике пути в сновидениях пушкинских героев. Все сны, описанные в произведениях Пушкина, как считает автор, оказываются связанными в некий совокупный «сновидческий» текст, в котором особо выделяются сны о потере пути, что символизирует как потерю жизненного пути, так и кривду жизни. Однако в этих снах герою дается намек не только на ложность его земного направления, но и на возможность исправления кривды жизни.

Перемещению во времени как способу перехода

из мира человеческого в мир потусторонний было посвящено сообщение Т. Н. Свешниковой «Движение во времени в художественной прозе М. Элиаде на материале его повести „У цыганок“». Сюжет этой повести вызывает прямые ассоциации с известным мотивом славянских и европейских сказок и быличек о разной скорости течения времени в человеческом и потустороннем мире: живой человек, пребывая в потустороннем мире, как ему кажется, несколько часов, возвращается обратно в мир людей, где по земным меркам прошло много лет. Однако, и в этом принципиальное отличие повести Элиаде от фольклорных текстов, именно в потустороннем мире герой находит свое счастье, свое время, уйдя из мира людей, где он никому не нужен.

В докладе «Движение времени и функция памяти в „Дневнике невидимого апреля“ Одиссеаса Элитиса» С. Б. Ильинская приходит к выводу, что время Элитиса движется по онтологической орбите бесконечности, в связи с чем автобиографические элементы произведения являются лишь отсылками к сверхличному и сверхисторическому. Память же выполняет, с одной стороны, основную структурообразующую функцию поэмы, с другой, является этической категорией, опорой творчества.

Т. В. Цивьян свой доклад «Пастух в движении жизнь ведет» посвятила символике пастуха в славянских сказках, чьи сакральные функции становятся понятными при анализе пути пастуха, направления его движения и локосов, где это движение происходит. Движение пастуха, по мнению докладчика, направлено вдаль, к пределам и за пределы этого мира и является способом приобретения им особого знания. Движение в определенном смысле является основой получения информации: чем дальше уходит пастух или чем больше он двигается, тем больше у него шансов на встречи — прежде всего с животными, сверхъестественным существом, с человеком; от первых он получает информацию, чтобы потом передать ее человеку. Однако, поскольку пастух удален от людей, знание он хранит в себе и открывает его только тогда, когда его спрашивают встречные. Тем самым *пастух* не растрчивает свое знание, а копит его, и в этом накоплении/скрывании — основа его особой мудрости.

Доклад В. Я. Петрухина «Дунайская прародина и расселение славян» представляет собой очередную попытку приблизиться к решению сакраментальной проблемы славянской прародины. Ссылаясь на «Повесть временных лет», а также на новейшие археологические данные и лингвистические исследования, докладчик считает, что «импульсом для формирования праславянской куль-

туры Прага-Корчак послужило столкновение периферийных этнических группировок балто-славянского континуума с Византией на Дунае».

К открытию конференции был издан сборник тезисов и материалов. Необходимо особо отметить, что оперативности, с какой он был собран и опубликован, мы обязаны усилиям Т. В. Цивьян, М. И. Леньшиной, а также издателю сборника Д. Ицковичу. В этот сборник, кроме перечисленных докладов, вошли также тезисы нескольких докладов, чьи авторы по разным причинам не смогли принять участия в конференции. Среди них тезисы В. П. Казанскене «С кем делил жертву микенский Посейдон (Микенское *o-wi-de-ta-i* PU UN 718,2, [*o-wi-de-ta*] PY WA 731,2)»; П. У. Дини «О топониме *Pisa* в индоевропейской перспективе»; Т. В. Топоровой «К типологическим параллелям в области мифологии (герм. *Óðinn*, *Baldar*; греч. *Ζεύς*, *Διόνισος*)»; М. М. Евзлина «Пятое поколение людей в *Трудах и днях* Гесиода (К развитию антропогонии)»; А. А. Россиуса «ΛΕΠ-ΤΑΙ ΡΗΣΙΕΣ: структура поэмы Арата»; В. Н. Топорова «Дионис и Артемида: общее и разное»; О. В. Шиндиной «Образ Венеры в контексте античной составляющей художественного мира Вагинова»; Е. Г. Рабинович «Все изменилось (Йейтс „Пасха 1916“». Интересный материал содержится в тезисах И. А. Седаковой «Магия ходьбы и ритуальное оформление первых шагов ребенка у южных славян». Т. А. Агапкина в тезисах к докладу «Символический язык обрядового действия (*пускание по воде*)» истолковывает славянскую практику пускания по воде различных сакральных предметов (хлеб, цветы, свечи и др.) как способ пересылания этих предметов в потусторонний мир. Тезисы Л. Н. Виноградовой «Куда летает ведьма?» затрагивают проблему сезонных перемещений мифологических персонажей. В тезисах А. Е. Аникина «Несколько оговорок к русским данным в праславянских реконструкциях» рассмотрен ряд русских лексем, которые, как считает автор, являются поздними заимствованиями. Работа Н. А. Михайлова «Еще раз о словенском Куренте, некоторые параллели» носит откровенно полемический характер: автор пытается доказать реальность существования народных поверий о Куренте и возводит этот персонаж к образу некоего условного индоевропейского протодемона. В тезисах С. Г. Шиндина «К типологической характеристике персонажей восточнославянских заговоров», делается попытка (на наш взгляд несколько неудачная) выделить релевантные признаки персонажей, встречающихся в славянских заговорах. Способам передачи сакральной информации посвящены тезисы В. Л. Кляуса



«Обряды передачи заговоров и их силы у восточных и южных славян». В тезисах А. М. Ранчина «„Повесть временных лет“ и переводные византийские и славянские хроники: историософия и поэтика» прослежены принципы распределения исторического материала в славянских и византийских хрониках. А. А. Гиппиус в тезисах «Ярославичи и сыновья Ноя в „Повести временных лет“» выдвинул объяснение летописным аналогиям между сыновьями Ноя и сыновьями Ярослава. Тезисы доклада Н. В. Злыдневой «К проблеме типов и смыслов древнебалканского орнамента» содержат типологический перечень древнейших видов орнамента.

Приятно отметить, что Балканские чтения, имеющие традиционно высокий рейтинг в научных кругах, как всегда собрали на свои заседания многочисленных слушателей и почитателей. Оживленные дискуссии, возникавшие при обсуждении докладов, и вопросы, заданные их авторам, свидетельствуют, что доклады, прочитанные на конференции, весьма актуальны, а вся конференция в целом вызвала широкий научный интерес.

© 1995 г. Левкиевская Е. Е., Гринцер Н. П.

Славяноведение, № 5

## К 500-ЛЕТИЮ НАЧАЛА КНИГОПЕЧАТАНИЯ У ЮЖНЫХ СЛАВЯН

Пять столетий тому назад, в 1493 г., у южных славян была основана первая типография, призванная выпускать кириллические издания. Типография работала в Черногории, и в начале 1494 г. здесь напечатали первую книгу — «Октоих первогласник».

Пятистолетие начала южнославянского кириллического книгопечатания широко отмечалось в Черногории, Сербии и России. По инициативе Ассоциации друзей Югославии в апреле 1994 г. в Государственной Публичной Исторической библиотеке России (ГПИБ) был организован историко-литературный вечер «Черногорцы и Россия», посвященный 500-летию первой типографии на славянском Юге.

Усилиями Ассоциации, в состав которой входят Клуб друзей Черногории и Общество ученых-югославилов, был издан мемориальный сборник статей русских славистов второй половины XIX — начала XX в.: П. В. Владимирова «Начало славянского и русского книгопечатания в XV и XVI веках», П. А. Ровинского — «Очерки Черногории» и «Двухсотлетие отношений России с Черногорией», А. И. Александрова — «Торжество 400-летия Ободской типографии в Черногории».

В ознаменование юбилея черногорского и сербского книгопечатания проводилась международная научная конференция «Югославянская книга в России, русская книга на Балканах». Она работала 2—3 ноября 1994 г. на историческом фа-

культете МГУ им. М. В. Ломоносова и в Красном зале ГПИБ. В ней приняли участие ученые Югославии и России — представители университетов, институтов, музеев и библиотек. На трех заседаниях конференции было заслушано 15 докладов.

Тема конференции предполагала сосредоточить внимание ее участников на осмыслении исторического значения первых черногорских и сербских кириллических печатных изданий, а также обсудить вопросы функционирования книги в многовековом обмене культурными, духовными и научными ценностями между народами славянского Юга и России.

С приветственным словом к участникам конференции обратился Чрезвычайный и Полномочный посол СР Югославии, профессор, почетный доктор МГУ Данило Маркович.

Открывая научные чтения, директор Института сербского языка (Белград) доктор Драго Чупич в докладе «Пять веков сербского книгопечатания» подчеркнул, что первая кириллическая типография на Балканах и вторая в славянском мире появилась в условиях продолжавшейся экспансии турок-османов на многие десятилетия раньше, чем типография в России и ряде других европейских стран. Основавшие типографию правители Черногории Иво и Джурадж Црноевичи видели в печатной книге важное средство борьбы за существование своего народа. Докладчик напомнил, что в состоявшемся сто лет назад праз-

дновании 400-летия этой печатни активно участвовали русские слависты, в том числе выдающийся исследователь Черногории П. А. Ровинский.

Большой интерес аудитории вызвал доклад академика РАН, д-ра ист. наук Е. Л. Немировского «Начало южнославянского кирилловского книгопечатания». В докладе была дана уточненная по результатам последних разысканий историческая справка о времени, месте, инициаторах и участниках создания в Черногории первой государственной европейской и балканской кириллической типографии. Рассказано о ее руководителях — правителе Дж. Црноевиче и печатнике иеромонахе Макарии «от Чрние Горы» — и их предшественниках в Польше (Ш. Феоль). Охарактеризованы первые славянские кирилловские издания, особенности полиграфического исполнения и художественного оформления, наличие отдельных экземпляров в библиотеках мира. Подробный историко-книговедческий анализ четырех черногорских инкунабулов — «Октоиха первогласника» (1494), «Октоиха пятигласника» (1494—1495), «Псалтири с воследованием» (1495), «Требника» (1495—1496) — докладчик сопроводил показом этих факсимильно воспроизведенных изданий, чей полутысячелетний юбилей послужил поводом для проведения конференции.

Президент Ассоциации друзей Югославии, доцент МГУ В. П. Гудков в докладе «К изучению истории русско-югославянской библиокоммуникации» говорил о многоаспектности русско-сербских культурных связей и обосновал целесообразность разработки проблем библиокоммуникации — междисциплинарной отрасли знания, аккумулирующей сведения о распространении книжной продукции в национальной и инациональной среде, функционировании книги и последствиях (эффектах), обусловленных актуальностью книжных произведений (появление перепечаток, адаптированных изданий, присвоений, «инспираций», создание новых произведений с использованием содержательных или иных элементов инациональной книги).

Три доклада было посвящено рукописной сербской книге и ее связям с русской книжностью.

Известный палеославист, канд. филол. наук О. А. Князевская в докладе «Кодекс № 14 Типографского собрания и судьба Саввиной книги» рассмотрела вопросы эдиционной палеославистики, связанные с изданием рукописи, в состав которой входит Саввина книга — памятник старославянского языка и один из ранних образцов кириллического письма. Текст Саввиной книги сопровождается в рукописи более поздними до-

полнениями, сделанными в Древней Руси в XI—XIII вв.

Старший научный сотрудник отдела рукописей Российской Государственной библиотеки (РГБ), канд. филол. наук Т. А. Исаченко в докладе «Хилендарский медицинский сборник XIV в. и его ближайшие параллели в славянской письменности» проследила текстологическое сближение сербского Хилендарского кодекса с текстами первых русских переводных лечебников-«вертоградов» — «Травником» 1534 г. Николая Любчанина, переведенным с латинского языка для Василия III, и «Травником» 1588 г., переведенным с польского для серпуховского воеводы Ф. А. Бутурлина. В докладе приведены результаты такого сближения, особо выделен лексикографический аспект изучения.

Малоизученные моменты сотрудничества между нашими народами были освещены в докладе старшего научного сотрудника Института славяноведения и балканистики РАН (ИСБ), канд. ист. наук А. А. Турилова «Два эпизода из истории русско-сербских книжных связей XVII в.». В основной части доклада раскрыты происхождение и причины создания Карловацкого (единственного сохранившегося) списка полного текста «Сказания о письменах» Константина Костенечского. Его создание в середине XVII в. писцом Василием Софьянином связывается с поездкой в Москву в 1654 г. сербского патриарха Гавриила, одной из целей которой являлось XVII вв. черногорских, сербских, славяно-венецианских кириллических изданий явилось закономерным продолжением последнего этапа (конец XV — первая четверть XVI в.) так называемой эпохи второго южнославянского влияния. Печатные южнославянские художественно-технические и текстологические реминисценции присутствуют в ряде московских рукописей первой трети XVI в. и изданиях 1553—1565 гг., в продукции Виленской (братьев Мамоничей), украинских Стратинской и Киевско-Печерской типографий второй половины XVI — начала XVII в.

Доклад д-ра ист. наук И. И. Лещиловской «Книги из России у сербов в первой половине XVIII в.» наглядно показал, что до середины XVIII в. российский книжный фонд у сербов состоял как из рукописных сочинений, сохранившихся с давних пор, так и из печатной продукции. Его основную часть составляли богослужебные и библейские книги, значительные произведения светской литературы, оригинальной и переводной, а также учебники для начальной школы. Книги из России поступали по различным каналам, в том числе и посредством рынка. Книжные собрания формировались под влиянием потребно-

стей сербской православной церкви, вкусов многочисленных еще читателей и издательского репертуара центров российского книгопечатания. Докладчик подчеркнула, что российская книга была для сербов в XVIII в. не только источником знаний, но и средством борьбы против религиозного давления.

«Развитие черногорского книгопечатания и прессы в XIX в., связи с Россией» — тема доклада канд. ист. наук Н. И. Хитровой. В докладе было подчеркнуто, что после закрытия в 1496 г. типографии Црноевичей Черногория оставалась без своего книгопечатного станка вплоть до начала XIX в. В 1834 г. благодаря поддержке России Черногория возобновила книгоиздательскую деятельность, но в 1852 г., во время войны с Турцией, часть литер из новой Цетиньской типографии перелили на пули. Вновь «штампария» в Черногории заработала в 1860 г. В докладе описаны первые черногорские периодические издания, где публиковались и сочинения русских писателей.

На конференции «Югославянская книга в России, русская книга на Балканах» говорилось не только о русско-сербско-черногорских, но и о русско-болгарских книжных связях. В докладе д-ра филол. наук Г. К. Венедиктова (ИСБ РАН) «О печатной русско-болгарской книге» было отмечено, что Россия, после Румынии и Венгрии, стала третьей страной, внесшей вклад в начало книгопечатания у болгар. Первой книгой с болгарским текстом, изданной в России, названа «Инструкция об обязанностях сельских приказов» (Кишинев, 1821), предназначавшаяся для болгарских переселенцев в Молдавию. Небольшая по объему, эта книжка относится к числу редчайших изданий (сохранился, вероятно, только один ее экземпляр). В докладе было выдвинуто предложение о целесообразности разысканий и библиографическом описании по крайней мере редких и особо ценных книг на славянских языках, хранящихся в библиотеках России.

С ценным опытом по изучению фондов славянских книг московских библиотек познакомила участников конференции д-р ист. наук Н. М. Пашаева (ГПИБ) в докладе «Из истории русско-сербских культурных связей. Книга сербского национального возрождения в коллекциях русских собирателей XIX в.». Проведенное автором обследование позволило установить, что в центральных библиотеках хранятся десятки сербских книг эпохи национального возрождения, принадлежавших русским ученым изданию в России нескольких рукописей и в их числе и «Книги Константина Философа о письменех». Докладчик выдвинул предположения о возврате сербских рукописей на родину и о причинах неуспеха кни-

гоиздательского предприятия патриарха Гавриила (подозрительное отношение московских властей к подобным инициативам в целом, нереализованная на момент прибытия сербского посольства большая часть тиража «Грамматики» Мелетия Смотрицкого издания 1648 г.).

Новизной материала отличался и доклад старшего научного сотрудника Музея древнерусского искусства им. Андрея Рублева, канд. ист. наук О. Р. Хромова «Русские гравированные издания «Описания Иерусалима» С. Симоновича и Х. Жефаровича XVIII — первой половины XIX в.». Библиографическим открытием стало сообщение докладчика о том, что указанное в труде Г. Михайловича «Сербская библиография XVIII в.» (Белград, 1963) «второе, сербское, венское 1771 г.» издание «Описания Иерусалима» на самом деле является московской переделкой 1771 г. этой книги Симона Симоновича, впервые гравированной на меди в 1748 г. в Вене Христофором Жефаровичем. В докладе рассмотрены история издания и бытования «Описания Иерусалима» в России с 1770-х годов до конца XIX в. Докладчик проследил технологическую природу эволюции гравированных изображений в России, выразившейся в создании «Народного примитива» — московской лубочной книги «Описание Иерусалима».

Типографские сербо-русские схождения анализировались в докладе аспирантки Российской Книжной Палаты А. П. Шубарич «К изучению художественно-технических особенностей югославянского кириллического книгопечатания XV—XVII вв.». В докладе был выдвинут тезис о том, что воздействие на русскую книжность XVI — Н. П. Румянцеву, П. И. Келпену, О. М. Бодянскому, А. Д. Черткову, А. А. Котляревскому. Дарственные и владельческие надписи говорят о тесных связях сербских будителей с русскими друзьями. В докладе прослежены пути, какими сербские книги попали в московские библиотеки.

Проблеме лексического состава первых переводов научных произведений русских авторов на новый литературный язык сербов на народной речевой основе был посвящен доклад доцента Московского Государственного института международных отношений (МГИМО) Г. Г. Тяпко. В докладе «О роли перевода «Истории сербского народа» А. А. Майкова (1858) в пополнении и совершенствовании лексического фонда литературного языка у сербов» было показано своеобразие передачи русских книжных слов и специальных терминов в переводах на современный сербский язык, продемонстрированы образцы сербских многословных эквивалентов, использованных Дж. Даничичем в работе над переводом труда А. А. Майкова.

Современное состояние русско-сербских литературных связей проиллюстрировал доклад доцента МГУ С. Н. Мещерякова «Поэзия Десанки Максимович в России». Докладчик отметил исключительную популярность творчества сербской поэтессы в нашей стране. В 60—80-е годы нынешнего столетия на русский язык лучшими поэтами был переведен ряд книг Д. Максимович: в 60—70-е годы уделялось значительное внимание переводу ее любовной и гражданской лирики, в 80-е годы объектом внимания переводчиков становятся также стихи с ярко выраженной нравственной проблематикой. Лирика Д. Максимович анализировалась в многочисленных предисловиях, научных статьях и диссертациях.

В сообщении доцента Дальневосточного университета (Владивосток) В. Б. Хлебниковой «Об участии П. А. Ровинского в праздновании 400-летия Ободской печатни» было подчеркнуто, что черногорский князь Николай не случайно назначил председателем подготовительного комитета русского слависта, чей научный авторитет и из-

вестность должны были привлечь внимание широкой общественности к юбилейным торжествам. П. А. Ровинский провел большую подготовительную работу, замышляя этот юбилей как событие историко-культурного характера, подтверждающее общность судеб славянских народов. По мнению современников, с этой задачей он справился блестяще.

В рамках конференции состоялось торжественное представление югославского издания энциклопедического труда П. А. Ровинского «Черногория в ее прошлом и настоящем». Выступавшие на церемонии Д. Чупич, В. П. Гудков, директор ГТИБ М. Д. Афанасьев говорили о жизненном подвиге русского ученого, посвятившего четверть века изучению братской Черногории, создавшего беспрецедентное многотомное произведение, ныне по достоинству оцененное югославской общественностью и изданное в переводе на сербский язык.

© 1995 г. Шубарич А. П.

## НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ и БАЛКАНИСТИКИ РАН

### ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 1993—1994 гг. в Институте славяноведения и балканистики РАН вышли следующие издания:

- \* Тысячелетие введения христианства на Руси. М., 1993.
- \* Дополнения к Предварительному списку славяно-рукописных книг XV в., хранящихся в СССР. М., 1993.
- \* *Косик В. И.* Время разрыва. Политика России в болгарском вопросе, 1886—1894 гг. М., 1993.
- \* *Костюшко И. И.* Аграрная реформа 1848 г. в Австрии. М., 1993.
- \* *Шемякин А. Л.* Радикальное движение в Сербии. М., 1993.
- \* *Липатов А. В.* Литература в кругу шляхетской демократии. М., 1993.
- \* Литературный авангард. Сб. статей. М., 1993.
- \* Ян Коллар — поэт, патриот, гуманист. М., 1993.
- Натура и культура. Тезисы конференции. Москва, ноябрь, 1993.
- \* Исследования по славянской диалектологии 2. М., 1993.
- \* Символический язык традиционной культуры. Балканские чтения. II. М., 1993.
- \* Типологические и сопоставительные методы в славянском языкознании. М., 1993.
- \* МАИРСК — 26. Международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур. Информационный бюллетень.
- \* МАИРСК — 27.
- \* Проблемы развития и функционирования современных славянских литературных языков. Сб. статей. М., 1993.
- \* Политические партии и движения в Восточной Европе. Проблемы адаптации к современным условиям. М., 1994.
- Польско-советская война. 1919—1920. М., 1994.
- \* *Михутина И. В.* Польско-советская война, 1919—1920. М., 1994.
- \* *Улунян А. А.* Россия и освобождение Болгарии от турецкого ига. 1877—1878. М., 1994.
- Российское византиноведение. Итоги и перспективы. Сб. тезисов конференция. М., 1994.
- Славяне и их соседи. Греческий и славянский мир в средние века и раннее время. (Тезисы XIII конференции). М., 1994.
- \* *Фрейдзон В. И.* Судьбы крестьянства в общественной мысли Хорватии XIX — нач. XX в. М., 1994.
- \* *Костюшко И. И.* Аграрные реформы в Австрии, Пруссии и России в период перехода от феодализма к капитализму. М., 1994.
- \* *Шушарин В. П.* Крестьянская война 1514 года в Венгрии. М., 1994.
- \* Славянские съезды XIX—XX вв. Сб. статей. М., 1994.
- \* НКВД и польское подполье. 1944—1945. (По «Особым папкам» И. В. Сталина). М., 1994.
- \* Национализм и формирование наций. Теория — модели — концепции. М., 1994.

\* Очаги тревоги в Восточной Европе (Драма национальных противоречий). М., 1994.

\* Семенова Л. Е. Дунайские княжества в международных отношениях в Юго-Восточной Европе (конец XIV — первая половина XVI в.). М., 1994.

\* История. Культура. Этнология. Доклады российских ученых к VII Международному Конгрессу по изучению Юго-Восточной Европы. М., 1994.

\* Время в пространстве Балкан. Свидетельства языка. М., 1994.

\* Специфика литературных отношений. М., 1994.

\* Общекарпатский диалектологический атлас. М., 1994. Вып. 2. Миф и культура. Человек — не-человек. Сб. тезисов конференции. М., 1994.

\* Кишкин Л. С. Литература среди искусства и наук. М., 1994.

\* Книги, отмеченные звездочкой, Вы можете приобрести по адресу: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32А, корп. В, Институт славяноведения и балканистики РАН, комн. 924. Тел. (095) 938-58-83, Гурьева Маргарита Васильевна.

*НКВД и польское подполье. 1944—1945. (По «Особым папкам» И. В. Сталина).* М., 1994. 308 С.

В секретариате НКВД СССР на протяжении длительного времени формировались «особые папки» для первых лиц советского руководства. Еще недавно они хранились в Государственном Архиве РФ с грифом «секретно».

В «особой папке» Сталина отложилась довольно большая группа документов об «оперативно-чекистских мероприятиях» войск НКВД и военной контрразведки по очищению тыла Красной Армии после ее вступления в Польшу. Значительная их часть показывает механизм подавления польского вооруженного подполья, прежде всего Армии Крайовой (АК). Что касается истории борьбы с политическим подпольем, то центральным в «особой папке» Сталина является документальный блок о так называемом процессе 16-ти. Он освещает арест органами НКВД в конце марта 1945 г. политических лидеров подполья и последнего командующего АК генерала Л. Окулицкого.

Материалы «особых папок» раскрывают и некоторые другие аспекты роли советского фактора в истории Польши в конце войны.

*А. И. Пушкаш. Внешняя политика Венгрии (апрель 1927 — февраль 1934 г.)* (в печати).

*А. И. Пушкаш. Внешняя политика Венгрии (февраль 1934 — январь 1937 г.)* (в печати)

Данные книги являются продолжением исследования А. И. Пушкашем внешней политики Венгрии межвоенного периода. Основная ценность изданий состоит в использовании огромного ранее не публиковавшегося архивного материала, хранящегося в ряде стран, прежде всего в Венгрии.

В первом из них выясняются нюансы внешней политики Венгрии, возникшие под влиянием мирового экономического кризиса, показаны усиление дипломатической активности в Центральной Европе и отношения Венгрии с Австрией, Германией, Польшей. Подробно освещено установление дипломатических отношений между Венгрией и Советским Союзом.

Значительная часть второй книги посвящена Европе и Венгрии второй половины 1934 — начала 1935 г. В этот период ситуация для реализации внешнеполитических замыслов Венгрии складывалась неблагоприятно в связи с войной Италии в Ефиопии и развивавшимися отношениями между Италией, Германией, Англией и Францией.

## CONTENTS

### ARTICLES

<i>Shevchenko I. I.</i> (Camebridge, USA). To the sources of Russian Byzantynology: translations of the poems of Manuil Fila (XIV c.) by Euphymy Chudovsky	3
The Conference: The Literature of the countries of Eastern Europe in 70th—80th. The Tendences of development. The Problems of research	24
<i>Ponomareva N. N.</i> (Moscow). The Overcoming of the "bar". Bulgarian prose and playwriting of 70's—80's.	25
<i>Sereda V.</i> (Moscow). The phenomenon of the "new prose": the modification of the paradygme in the Hungarian literature in the end of 70th—beginning of 80's	33
<i>Gugin A. A.</i> (Moscow). The literature of DDR in the presentiment of the historical changes of 1989—1990	36
<i>Adelgeim I.</i> (Moscow). To the question about "variations of the meaning" in the novel of Andrzej Szczypiersky "The beginning, or beauty Mrs. Zadenmann"	40
<i>Myshko D.</i> (Moscow). The "anti-final" position of S. Lem in the science-fiction of 60's—80's novels (toward the problem of typology of the plot)	45
<i>Khorev V. A.</i> (Moscow). Sub specie of esseyisme	50
<i>Tsybenko E. Z.</i> (Moscow). The novel of Jerzy Andrzejewski "The mire" and the Polish "sublime prose"	56
<i>Fridman M. V.</i> (Moscow). Literary "struggle" at the first stage of the "Tchaushescu's era" (1965—1971)	60
<i>Mesheryakov S. N.</i> (Moscow). The peculiarity of genres of the Serbian 80's historical novel	65
<i>Sheshken A. G.</i> (Moscow). The change of narrative pattern in the modernistic and postmodernistic Serbian novel (on the example of the B. Shepanovich's and D. Kish's novels)	69
<i>Bogdanov Yu.</i> (Moscow). The interruption/uninterruption in the literary proces (the 70's—80's Slovakian literature)	74
<i>Shirokova L.</i> (Moscow). The 1970—1980's Slovakian playwriting: the place in the Slovakian literary proces	78
<i>Starikova N.</i> (Moscow). Slovakian 80's "young prose"	80
<i>Ilyna G. Y.</i> (Moscow). Critical principles in the 70's Croatian prose	84
<i>Sherlaimova S. A.</i> (Moscow). Genre's variety in the Chekh 70—80's novel	89

### COMMUNICATIONS

<i>Danish M.</i> (Bratislava). The Slovacs in the houssar's regiments of Russian Army during second half of XVIII c.	94
--	----

### MATERIALS OF CARPATHIAN EXPEDITIONS

<i>Nikolaev S. L.</i> (Moscow). Carpathoukrainian vocalism. I. Pokutje — Bukovina — Guzul area (continuation)	101
---	-----

### REVIEW — ARTICLES AND REVIEWS

<i>Churkina I. V.</i> (Moscow). Slavonic conferences in XIX—XX cc.	128
--	-----

### SCIENTIFIC LIFE

<i>Belova O. V.</i> (Moscow). The International symposium "The transition from paganism to christianity of Slavs (spiritual culture, historiography, archeology, linguistic)"	130
<i>Levkyevskaya E. E., Grincer N. P.</i> (Moscow). The Conference "Linguistic and ethnocultural history of Balcan and Eastern Europe" (Balcan Reading-3)	133
<i>Shubarich A. P.</i> (Moscow). To the 500 anniversary of the Beginning of the Printing at the Southern Slavs	136
The New Books of the Institute of the Slavic and Balkan Studies	140
<i>Makovetskaja T.</i> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">Vesela Aleksandrova Chichovska</span>	143

## Весела Александрова Чичовска

Умерла Весела Александрова Чичовска — яркий и талантливый человек, видный болгарский историк. Это с опозданием пришедшее в Москву известие еще потрясет многих из тех, кто знал ее, а нам, ее друзьям и коллегам из Института славяноведения и балканистики РАН, остается лишь учиться привыкать к тому, что Веселы уже нет в живых. Такое кажется нереальным, невозможным, несовместимым с образом энергичного, жизнелюбивого, целеустремленного человека, очень утонченной, остроумной, с абсолютным чувством юмора, красивой и всегда элегантно женщины.

Весела умела трудиться, верить, любить, терпеть. Она была прекрасной матерью, сестрой, женой, дочерью, и еще самоотверженным и преданным другом, в чем некоторым из нас было дано убедиться.

В. Чичовска служила своему делу до самозабвения. Доказательством тому — десятки ее статей, публикаций, участие в редколлегиях множества научных изданий, шефство над аспирантами и соискателями, руководство сектором Института истории БАН — всего не перечислить. И, наконец, она написала две монографии, последняя из них — «Международна културна дейност на България. 1944—1948», выполненная уже в области истории культуры, — стала ее докторской диссертацией.

Многое из того, что могла бы сделать только Весела Чичовска, останется неосуществленным и незаполненным в болгаристике. Могла бы.., но о воплощении некоторых ее замыслов еще недавно не могло быть и речи, это хорошо знают ее близкие, те, кому был знаком образ и склад ее мыслей, мир ее ценностей. Когда же такие возможности стали открываться, то по горькой иронии судьбы оказалось, что Веселе отмерен слишком малый срок.

Будучи крупным специалистом в области отечественной истории, она ревниво следила за тем, что говорилось и писалось о Болгарии за рубежом, а для нас, своих иностранных коллег и друзей она открывала такую Болгарию, не полюбить которую было невозможно. Сколько времени, сил, себя тратила Весела на то, чтобы помочь кому-то из нас попасть в архив, часто даже за пределами Софии, встретиться с кем-то из болгарских исследователей или участников событий, посмотреть тот или иной спектакль. Разве можно в скорби и отчаянии все вспомнить и перечислить, да и неуместно это делать сейчас, но сберечь в памяти нужно обязательно.

Весела была образованным человеком. Она свободно говорила по-русски, хорошо знала нашу литературу, особенно интересовалась литературой русского зарубежья, была знакома со множеством произведений опальных советских писателей и исследователей.

Невыносимо говорить, а тем более писать о Веселе в прошедшем времени. Страшно оскорбить ее светлую память традиционным набором ритуальных фраз. Но ее кончина горько отзвучит в сердцах многих наших настоящих и бывших соотечественников, а потому огласить такую скорбную весть необходимо. С



Веселой Чичовской ушла светлая и хороша часть жизни многих из тех, кто знал и любил ее, был рядом с ней. И оставаясь в этом мире без Веселы, сохраним в душе все доброе, что она нам оставила, чтобы она продолжала жить в наиболее достойных наших человеческих проявлениях.

Прости и прощай дорогой, бесценный друг, для многих моих коллег — добрый и хороший товарищ, умный и интересный собеседник.

*Маковецкая Т.*

Технический редактор *В. М. Пахомова*

---

Сдано в набор 09.06.95	Подписано к печати 25.08.95	Формат бумаги 70×100 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>		
Офсетная печать	Усл. печ. л. 11,7	Усл. кр.-отт. 9,6 тыс.	Уч.-изд. л. 14,0	Бум. л. 4,5
Тираж 802 экз. Зак. 2878				

---

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32а. Телефон 938-01-20  
Московская типография № 2 РАН, 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

4370 р.  
каталожная цена

1950 р.  
Индекс 70891

*УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!*

**Журналы Российской академии наук можно выписать в любом почтовом отделении России по сводному Каталогу Федерального управления почтовой связи (“ФУПС”). Академические журналы объявлены в этом каталоге в разделе “АРЗИ”.**

Обращаем Ваше внимание!

Подписку можно оформить и непосредственно в редакции журнала с любого очередного номера. Это избавит Вас от значительной части расходов: цены редакционной подписки существенно ниже! К тому же вышедший номер Вы сможете получить в редакции сразу после выхода его из печати.

*Пользуйтесь предоставленной Вам возможностью льготной подписки!*